Кр 2467 - 95
П 14

В. И. ПАЛЬМАН

«КОЛЬЦО САТАНЫ»

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Почему автор так назвал свое произведение? Мы не узнаем никогда, ибо В.И.Пальман ушел из жизни в 1995 году, так и не увидев опубликованным свой главный творческий труд. Но хотел увидеть, и был согласен на публикацию хотя бы отдельных глав в различных московских изданиях и в Магадане. Но жизнь, и не только жизнь, распорядилась иначе… «Кольцо Сатаны» состоит из двух частей: первая «За горами, за долами» повествует о колымских лагерях 30-40-х годов, вторая — «Гонимые» рассказывает о жизни автора на Колыме после освобождения, и опять же о лагерях. В.И.Пальман был реабилитирован Военной коллегией Верховного суда СССР 17 июня 1958 года (справка о реабилитации № 4н-2719/58). Книга «Кольцо Сатаны» вышла в свет в том виде, в котором была тайно написана автором еще в 70-80-е годы, без каких-либо изменений и дополнений со стороны издателя. Издание осуществлено Ягоднинским обществом «Поиск незаконно репрессированных» при финансовой поддержке Фонда Гражданских Свобод.

- Пальман В. И. Кольцо Сатаны: Роман. Часть 1: За горами — за морями
  -
  - От издателя
  - К ВЕЛИКОМУ ИЛИ ТИХОМУ
  - МОРЯ НЕ ВИДНО — ОНО ЗА СОПКОЙ
  - МОРСКАЯ ОДИССЕЯ
  - НА СЕВЕР, НА СЕВЕР…
  - ОСЕДЛАЯ ЛАГЕРНАЯ ЖИЗНЬ
  - «НЕЗАМЕТНЫЙ»
  - ШАГ К ИЗБАВЛЕНИЮ
  - АНТОН ИВАНОВИЧ
  - УТРЕННИЙ ВЫЗОВ
  - РОБКИЕ ШАГИ ПО ДУКЧЕ
  - УРОКИ ПОЛЕВОЙ ПАРТИИ
  - ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
  - СНОВА НА ДАЛЬНЕМ ПОЛЕ
  - ГОРОД ИНВАЛИДОВ
  - СТАРЫЕ ДРУЗЬЯ
  - ВЬЮЖНЫЕ ДНИ ПЕРЕД МАРТОМ СОРОКОВОГО
  - С ПАСПОРТОМ НА РУКАХ

Пальман В. И. Кольцо Сатаны: Роман. Часть 1: За горами — за морями

«Милосердие и сострадание — буржуазные предрассудки, отрыжка абстрактного гуманизма.

А ненависть — форма любви на переходном этапе от капитализма к коммунизму».

Из газет 30-х годов

Издание осуществлено Ягоднинским обществом «Поиск незаконно репрессированных» при финансовой поддержке Фонда Гражданских Свобод.

От издателя

Уважаемый читатель!

Уж, коль ты прочел эту первую строчку, то уверен, что с интересом прочитаешь и всю книгу. Прочитаешь потому, что должен, обязан знать историю своей Родины (особенно это касается тех, кто родился и жил на Колыме — в краю суровом и холодном, но тем не менее родном и милом)…

Вячеслав Иванович Пальман знаком многим читателям, особенно колымчанам, по таким произведениям, как “За линией Габерландта”, “Кратер Эршота", “Песни черного дрозда”. Да, мы с интересом читаем книги, зачастую не зная биографии автора. Да и нужно ли нам знать о его жизни? Может быть, и не надо, может быть…

В руках у тебя, читатель, уникальная книга “Кольцо Сатаны”. И в этом ты убедишься сам, начав ее читать. Тебя обязательно заинтересует тот факт, что в краю, где всего два месяца лето, а в апреле и сентябре морозы доходят до 30 градусов, выращивают капусту, помидоры, огурцы и другие овощи. Правда, сегодня — на много меньше, чем, к примеру, в 50-70-е годы. Как начиналось освоение вечной мерзлоты? Прочтешь — узнаешь.

Почему автор так назвал свое произведение? Мы не узнаем никогда, ибо В. И. Пальман ушел из жизни в 1995 году, так и не увидев опубликованным свой главный творческий труд. Но хотел увидеть, и был согласен на публикацию хотя бы отдельных глав в различных московских изданиях и в Магадане. Но жизнь, и не только жизнь, распорядилась иначе…

“Папа рассылал части и главы романа по разным издательствам и журналам, — так пишет в письме дочь Вячеслава Ивановича Татьяна Вячеславовна Кружкова, ныне живущая в Москве. — *Когда-то папа отсылал книгу и в Магадан. Рукопись вернули с замечаниями и предложениями, но у папы уже не было сил работать над ней. Я предлагала издателям распоряжаться рукописью на их усмотрение, но ответа так и не получила…”*

Жаль, конечно, очень жаль, что магаданские литераторы не сочли нужным “повозиться” с рукописью. В книге ведь речь идет о Колыме: совхозах “Дукча”, “Эльген", “Сусуман”, поселках Дебин, Спорное, Оротукан, Ола, Тауй и других…

И вот теперь Татьяна Вячеславовна, по просьбе Ягоднинского общества “Поиск незаконно репрессированных”, прислала рукопись отца в Ягодное и разрешила распоряжаться ею так, как мы сочтем нужным.

“Кольцо Сатаны” состоит из двух частей: первая “За горами, за долами” повествует о колымских лагерях 30-40-х годов, вторая — “Гонимые” рассказывает о жизни автора на Колыме после освобождения, и опять же о лагерях. Сейчас, читатель, ты держишь первую часть книги. Вторая тоже попадет к тебе в руки, если ты, конечно, прочтешь первую.

И все-таки почему “Кольцо Сатаны”? Колымчане это поймут без труда, прочитав выдержку из романа. Поймут и те, кто откроет атлас СССР (или России) и найдет поселок Ягодное (Дебина на многих картах нет — маленький поселок, — но на Колыме он всем известен, ибо знаменит тем, что расположен на берегу реки Колымы, через которую в 30-е годы заключенными был построен уникальный мост протяженностью более 300 метров. Этот поселок в те годы еще называли и Левым Берегом).

«…Если поставить на карту Северо-Востока страны ножку циркуля между поселками Дебин и Ягодный и обвести круг диаметром в тысячу — тысячу двести километров, то внутри этого страшного кольца размером едва ли не с Западную Европу окажутся все «дальстроевские» прииски, шахты, рудники, стройки, автобазы, лесозаготовки, сотен пять или шесть, если не больше, лагерей, лагерных пунктов, инвалидных «командировок», тюрем, секретных каторжных территорий, закрытых воинских зон, не считая охранников НКВД, которые мельтешили всюду, как тараканы в избе. Общее число людей в этом адовом кольце надо было считать на сотни и сотни тысяч.

Это гнездовья, где живых людей превращали в трупы. Именно здесь с 1932 по 1953 годы Лубянский Сатана творил свое чудовищное дело — в дальней дали от людских дорог и все замечающих глаз. До сих пор никто не знает ни имен погибших, ни точного числа их. Велико это число. Страшная тяжесть свершившегося и поныне давит чуть-ли не каждую семью, где поминают без вести пропавших…»

Думаю, что комментарии излишни.

В заключение хочу сказать, что герой романа Сергей Морозов — Вячеслав Иванович Пальман. Что он за человек, как жил и работал на Колыме, читатель узнает из этой книги. И не только о нем, но и о десятках судеб таких же, как он — незаконно репрессированных в годы сталинского террора и добросовестно осваивавших необъятные просторы Колымы. Не только работавших, но и друживших по-настоящему, несмотря на каторгу, любивших необъяснимой чистой любовью, веривших в светлое будущее Родины…

Добавлю, что В. И. Пальман был реабилитирован Военной

коллегией Верховного суда СССР 17 июня 1958 года (справка о реабилитации № 4н-2719/58).

Книга “Кольцо Сатаны” вышла в свет в том виде, в котором была тайно написана автором еще в 70-80-е годы, без каких-либо изменений и дополнений со стороны издателя.

И. Паникаров,

председатель Ягоднинского общества “Поиск незаконно репрессированных”, Магаданская обл.

К ВЕЛИКОМУ ИЛИ ТИХОМУ

Не голос памяти правдивой,
таит беспамятность беду…

А.Твардовский

Дни были долгие, чаще светлые и теплые, только иногда облачные, с дождями. Менялись пейзажи. Чем ближе к Красноярску, тем меньше широких степей, больше лесов. Нередко возникали холмы, горушки, все реже деревни и города. Красиво и вольно смотрелась впервые увиденная Сибирь. И возникала щемящая тоска: все дальше от родных краев, от привычной и родной России. Если бы ехали по своей воле, без колючей проволоки перед глазами, без замков на двери, без ночных стуков снизу, чтобы проверить, нет ли пропила в полу для побега…

Эшелон двигался быстро, но зато и останавливался часто, где-нибудь на заросшем травой запасном пути. Пропускал товарные и пассажирские поезда. Транссибирская железная дорога в те годы еще далеко не везде была двухпутной, хотя на ней уже работала сотня тысяч заключенных, строившая эти самые вторые пути. Из своего зарешеченного окошка Сергей видел немало работяг с лопатами и кирками, карьеры, откуда тянулись бесконечные тачки со щебнем, видел в стороне бараки и ограды в колючей проволоке. Подобные пейзажи в иной день не исчезали из поля зрения ни на час. Наверное, каторжная Сибирь еще не видела такого многолюдства.

Их везли дальше.

Необычной приметой Сибирского пути были и следы частых крушений. Под откосом валялись то разбитые вагоны, то откатившиеся в черноте пожара цистерны, то паровоз, упершийся грудью в плотную массу сосен со следами пожара.

— К Иркутску подходим, — сказал сосед, железнодорожник Иван Алексеевич. — Бывал тут не раз. Вечная пробка. И нам постоять придется. Пиши письма своим.

Правдой и неправдой заключенные добывали бумагу, карандаши: на остановках, когда не дрожала рука, писали родным и близким, особым манером складывали листки в виде треугольничка, тут же адрес и слезную записку неизвестному человеку, которому выпадет судьба усмотреть белый треугольник. К этому неизвестному человеку обращались с просьбой запечатать письмо в конверт, надписать адрес. И опустить — можно и доплатным — в почтовый ящик.

С правой стороны каждого вагона, в полу, была дыра, ее закрывали круглой крышкой: уборная. Письма бросали в эту дыру непременно на подходе к станции или после отправки со станции. В таких местах людей ходит больше.

Святое и доброе дело сотворили те тысячи людей, что подняли на Великом Сибирском пути белые треугольники с хлебной коркой и не убоялись запечатать и надписать адреса. Сколько матерей и жен с благодарностью и слезами перекрестились, получив вес-точку от своих кормильцев! Жив их отец, муж или брат. Жив!.. И крепла надежда на встречу, на благополучный конец всеобщей российской трагедии.

…Вагон вихлялся, мимо проплывали товарные составы, шире расходились пути, их поезд забирал правее, перешел на второй путь и остановился почти у самого красноватого здания вокзала. На третьем пути уже стоял такой же состав с заключенными, из окна в окно начались расспросы, переговоры, крики охранников «молчать!», но кто их слушал! Другой сосед Сергея, бывший подполковник Виктор Павлович спрашивал: нет ли военных, и военные находились, передавали одну и ту же весть о Ярославском политизо-ляторе, о «Бутырках» и «Крестах». И все хотели узнать, куда их везут.

— Не знаем! — кричал Виктор Павлович. — А вас?

— Есть слух, во Владивосток. Оттуда на Колыму…

Это слово впервые прозвучало в вагоне и уже не уходило из памяти. О Колыме ходили легенды, будто там заключенные роют золото и ходят вольно, что кормят их «от пуза», поскольку без хорошей еды и спирта работать на Севере невозможно. Теперь и в Сергеевом вагоне заговорили об этой неизвестной Колыме. Вспоминали Джека Лондона и его Клондайк.

Составы все стояли. Какие-то поезда грохотали по четвертому, дальнему пути, под вагонами лазали конвоиры со своими молотками, бегали составители с флажками и свистели. И только пер-ими путь оставался свободным. Там по перрону уже расходились пассажиры, носильщики с вещами, было как-то непривычно пустынно и торжественно. Пропускали скорый.

Когда паровоз прокатился мимо окна, Иван Алексеевич посмотрел на синие и густо-красные длинные вагоны. Сказал:

— Транссибирский экспресс…

Спальный вагон остановился против окна, в которое смотрел Морозов. Верхние фрамуги спального были открыты, в коридор из купе выходили хорошо одетые пассажиры и, сбиваясь у окон, оживленно переговаривались. Слышалась нерусская речь. Возникли два японца с фотоаппаратами в руках. Сергей не успел отпрянуть назад, как щелкнули и раз, и второй.

Иван Алексеевич оттеснил Сергея:

— Знаешь, попадет твое фото в газеты и пойдет гулять по миру. Вот они, русские, за колючей проволокой… Нам с тобой одной беды хватает.

Экспресс стоял минут пятнадцать. Много фотоаппаратов нацелилось на окна эшелона, на конвоиров с винтовками, речь в международном оживилась. Наконец вагоны мягко тронулись, и транссибирский отбыл на восток.

Заспешили разносить селедку, кипяток. У приоткрытой двери возник знакомый хлюст, ловко задвинул сложенные газеты между казенными хлебами и, приняв трояк, успел перебросить еще две пачки папирос «Пушка». В этих хлопотах не заметили, как с третьего пути ушел их братский состав. За ним тронулся товарняк с четвертого пути. Их состав продержали в Иркутске часа два, Морозову хорошо запомнился и вокзал, и перрон, и край площади за вокзалом. В голове вертелась старинная песня «Славное море, священный Байкал!», было в его душе и что-то торжественное, и щемящее чувство неизвестности, и мысль о том, что до рязанской земли отсюда почти пять тысяч верст…

Сергей спустился со своих нар вниз, взял у Виктора Павловича, выбранного старостой, свою пайку, селедку, поставил рядом остывающую кружку. Рядом с Морозовым сидел другой сосед по пересылке — отец Борис. Спросил тихонько:

— Говорят, где-то здесь знаменитый Байкал. Не видел сверху?

— Будем проезжать. Так, Иван Алексеевич?

— Да, теперь скоро. Там по берегу семьдесят тоннелей и акведуков. Поляки строили в давно минувшие годы. Их привозили сюда таким же манером, как и нас. Но те хоть после восстания…

— Нет мира на земле, — вздохнул отец Борис. — Насилие, отверженное милосердие самого Спасителя дико празднует победу.

Промолчали. Отец Борис опять сказал:

— У меня дома двое вот таких, как ты, юноша, с матушкой остались.

— Учатся?

— Работают. Не пришлось им при таком отце поучиться. Из шестого класса изгнали. Лесорубами стали. У нас много лесов. Дубовые, красоты истинной. Не эти, колючие, что здесь.

И показал за окно, где проплывали верхушки сосен.

Опять кто-то заговорил о Колыме. Все время молчавший подавленный партработник Николай Иванович вдруг громко, чтобы все слышали, сказал:

— Перед моим арестом в «Правде» была статья Берзина, начальника Дальстроя. Это тот Берзин, что командовал артиллерийским дивизионом в Кремле. Охранял Владимира Ильича. Латыш, боевой командир. Интересно пишет о Колыме, запомнилось. За пять лет, с тридцать первого там добыли золота в четыре раза больше, чем за все годы работы Севзолота. Дороги построили, город Магадан возводят, совхозы создают, чтобы свежие овощи… В статье мне запомнились слова о том, что «ни одна человеческая жизнь не была принесена в жертву за эти годы на Колыме». Сказано со значением. И еще: «люди, нашедшие на Колыме свой новый родной край, любят его и не думают о возвращении». Вот, примерно, так. Статья запомнилась.

— А чего думать о возвращении, если за плечами десятка и полета уже прожито? — отозвался Виктор Павлович. — Конечно, пока не отбудешь и все выдержишь, разве тогда… Или досрочно. Вот наш молодой друг Морозов может думать о возвращении. У него меньше трех лет осталось, так, Сережа?

— Боюсь вперед заглядывать, — сказал Сергей. — Сколько не хвали Колыму, а там все-таки не рай, если приходится везти заключенных из всех краев России.

— И все-таки хочется верить, что Берзин друг Владимира Ильича…

Николай Иванович как-то сразу оборвал свою мысль и задумался. Он понимал, что все связанное с Лениным сегодня подвергается остракизму; почти все близкие к Ленину люди погибли или на пути к гибели. За ними стали исчезать и те люди, которые помогали Сталину уничтожать ленинцев-большевиков. Впервые эта мысль возникла у него, партийного функционера, когда узнал об аресте старого, уважаемого коммуниста в районе. Тогда он пригласил к себе начальника райотдела НКВД и в резких выражениях сказал о своем возмущении арестом члена бюро горкома без обсуждения его поступков на бюро. На это начальник НКВД с какой-то нехорошей усмешкой заметил:

— Арестовываю, кого прикажут, будь он хоть трижды старым большевиком. Времена меняются, уважаемый Николай Иванович.

Спустя всего три дня после этого разговора московские сотрудники НКВД уже рылись в его доме, а потом допрашивали, о чем он, Верховский, разговаривал с Крупской, когда был в Москве, и при каких обстоятельствах оказался в гостях у личного секретаря Рыкова, у человека, с которым вместе учился в Промакадемии. Уже арестованный, Верховский крепко-накрепко уверовал, что проводится борьба если не с самим Лениным, то со всяким человеком, оставшимся верным идеалам вождя большевиков. Явился, окреп новый вождь, — и да исчезнут все,

кто связан со старым…

Страшные «дела» усилились едва ли не сразу после таинственной смерти Михаила Васильевича Фрунзе — народного комиссара по военным делам молодой Советской республики. Спустя два года после этой смерти вышла книга Бориса Пильняка с названием «Повесть о непогашенной луне», в которой — пусть и вскользь, туманно, но проглядывалась фигура настоящего убийцы Фрунзе, соперника в борьбе за неограниченную власть. Автор книги исчез.

Так что же теперь? Второй раунд все той же борьбы? Или уже третий, если вспомнить об убийстве Кирова, которому Владимир Ильич считал возможным вверить пост Генсека партии? И почему Николай Бухарин, «любимец всей партии», как говорил Ленин, вдруг объявляется шпионом, изменником, «реставратором власти помещиков и капиталистов»?

Есть о чем поразмышлять Верховскому, коммунисту с 1917 года, чернорабочему партии, который прошел путь от мастера заводского цеха до секретаря горкома в Тамбовской области. Он побывал и на высоких постах, и в деревне. И об этом не раз вспоминая, гнал от себя такие думы, гордился всем, что достигнуто в стране, верил, что Сталин ведет страну по ленинскому курсу. До начала коллективизации не испытывал ни малейшего сомнения в происходящем. Даже разгром деревни и голод в стране он посчитал делом врагов партии. И лишь позже, сопоставляя события и факты, фразу и деятельность человека, спокойно принимавшего звание «вождя всех времен и народов», ловил себя на мысли, что происходит переворот, если не сказать контрреволюция. Гибли лучшие кадры партии, самоубийство Орджоникидзе тому свежий пример. Страдают миллионы людей, которых приучают жить в бесконечных лишениях. Возрастает прослойка руководителей, живущих в роскоши, — правящий класс уже без Ленина в голове, с Лениным только на стягах и в Мавзолее…

Он, партийный деятель, ужасался этим своим мыслям, боялся их, как боялся и потерять веру в светлое будущее. Выступал перед рабочими и колхозниками, убеждал в правильности курса, по которому идет партия. Но слово «Сталин» как будто забывал, язык не поворачивался. И по этой, едва заметной детали, Николая Ивановича взяли на заметку. Но арестовали не за это. Сперва были обнаружены какие-то упущения в работе, а после ареста следователи начали требовать признания в преступных связях с уже арестованными «врагами народа», на допросах его дважды избили до потери сознания, он пытался повеситься — успели вынуть из петли, и один из следователей совсем дружески

выговаривал ему: «Ну, зачем же вы так? Из-за каких-то пустяков…»

Сидел долго. Суда над ним не было. Зато ежедневно приносили бумагу и ручку-самописку: «Вдруг вы сочтете возможным признаться, тогда напишите, и мы вас выпустим на радость семье и близким».

Николай Иванович понимал, что это ловушка для простаков. На бумаге он не написал ни одного слова, а через два месяца за ним пришли, повели к начальнику тюрьмы и тот, не глядя, положил перед ним постановление Особого совещания НКВД, где были такие, уже не поразившие его слова: «За контрреволюционную троцкистскую деятельность — восемь лет исправительно-трудового лагеря».

Он расписался, спросил:

— И это — суд?

— Это больше, чем суд, — недовольно буркнул начальник тюрьмы. — Вы поймете, когда будете в лагере.

Осужденный понял раньше. Даже сегодня жене его и детям неизвестно, где он, что с ним, жив или нет? Из тюрьмы сразу на этап, и где-то впереди уже маячит золотая, лучезарная — если верить Берзину — Колыма, «откуда люди не думают возвращаться».

Вот такие грустные мысли.

Николай Иванович сидел на нарах, свесив ноги. Его интеллигентное, давно небритое лицо уже сделалось прозрачно-белым, взгляд остановился, было в нем что-то трагическое, потерянное — такое далекое, что возвратиться из этой дали, казалось, уже невозможно. Мысли о семье были безрадостны. Конечно, выселили из дома. И осталось одно прибежище — квартира его матери. Или сестры, она живет недалеко от города Фрунзе. Послать бы письмо, посоветовать…

И тут он встретил взгляд Виктора Павловича:

— На вас лица нет. Переживания?

— Сижу и думаю, как известить своих? Представляю их тревоги, состояние.

— Известите, как это сделали все вокруг вас.

— Не верю, что получится…

— Не получится, если ничего не делать.

Командир вытащил из свертка карандаш и бумагу:

— Пишите не торопясь, при такой тряске трудновато, лучше печатными буквами. Или на остановке. Для верности — два письма. Опустим вот в тот ящик.

И показал на круглое отверстие в полу. Не очень чистое отверстие, но ветром обдуваемое и потому сухое.

— Берите два конверта, отведите душу. Чего страдать и ничего не делать? Мы все отправили, один вы не решаетесь.

Иван Алексеевич закричал от окна:

— Вот он Байкал, друзья!

Полезли на нары, по очереди смотрели на широкую водную гладь. При въезде в тоннели жмурились от острой темноты. Летний Байкал — голубоватый, безмятежный — ласкался к невысокому берегу, в нем отражались скалы и лес на береговых уступах. Он уходил куда-то в дальние дали. Сила и мощь, неоглядная сибирская краса. Смотреть на озеро сквозь колючую проволоку казалось святотатством, столь же страшным, как вход в разрушенный и заколоченный досками храм.

В молчании уступали друг другу место возле двух окошек, со вздохом сползали вниз и уже более отчетливо понимали, как ужасна несвобода, как унизительна для человека отделенность от всего мира. Лишение свободы рядом с природной красой казалось унизительным, рождало контраст, от которого сжималось сердце.

Поезд нырял из тоннеля в тоннель, картины менялись, все ближе подходил восточный берег со скалами и зеленой одеждой хвойного леса.

Николай Иванович побывал у окна, затем сел и написал свое первое письмо в никуда. Закончив, он посмотрел на командира. Тот деловито пришил к треугольничку корку хлеба, проверил, есть ли адрес. Вскинул голову:

— Сережа, как будет поселок, крикни нам.

— Вот поселок, шесть домиков!

— Бросайте! — скомандовал Черемных.

Николай Иванович, присев на корточки, что-то прошептал и опустил письмо. Ветер подхватил его. Вдруг он почувствовал желание перекреститься, но устыдился и только вздохнул. Отец Борис улыбчиво глядел на него с ближних нар:

— Доброе дело благословенно. Дойдет ваше письмо!

— Да будет так! — отозвался Черемных.

На другой день они уже ехали через пустынные холмы Читинской области с редкими лесами, большими открытыми пространствами. Над ними бежали облака, тень от которых то и дело накрывала эту многострадальную, неприветливую землю. Керченск и Шилка всплывали в памяти. Очень боялись: вдруг высадят здесь, на одном из полустанков без деревьев, без укрытия, на волю всех ветров.

Стало холодно, в окна дуло, их попробовали занавесить чем придется, хотя бы с одной стороны. Но дуло и с пола, в рассохшиеся стены. Жались один к другому, страдая и от постоянного грохота, и от стука молотков на остановках. Жизнь

вдруг стала не просто унылой, но и страшной в таком состоянии, когда ты не распоряжаешься собой, лишен всякой возможности улучшить положение. Фантастическим казалось то время, когда можно было одеться, как удобней, идти, куда хочешь, искать обстановку, наиболее пригодную для тебя. Мир сузился до размеров товарного вагона, и чтобы с тобой не случилось, из этого мира ты выйдешь не раньше, чем дозволено начальством.

Разговоры не вязались. Все замкнулись, и только отец Борис еще старался поддержать своих спутников то добрым словом, то тихой молитвой, то осенением, крестным знамением украдкой. Добротой и кротостью светились его глаза на побледневшем лице с ввалившимися щеками.

Как назло, состав подолгу стоял, пропуская другие поезда; И почти все время, вблизи и вдали, они видели ярко освещенные в темноте лагерные зоны, а днем возле пути — бригады молчаливых работяг, строящих вторые пути. В прохладные дни августа проехали долгую каторжную Читинскую область, справа по ходу стали возникать поблескивающие водные пространства, гадали-думали — что это такое?

Иван Алексеевич коротко сказал:

— Амур-батюшка. Китайская граница местами посредине реки.

Еще через день они выехали на берег великой реки и долго ехали по самому урезу, задумчиво поглядывая на тот дальний берег в тумане. Там тоже страдают люди, там война. И вообще, есть ли на земле счастливые страны и народы? Такие, где можно спокойно жить и работать? Конечно, есть. И мы могли, если бы… Россия, что произошло с тобой, коль заточаешь ты под замки и за проволоку бесчисленный человеческий род, ничем не провинившийся перед обществом, перед природой и сотоварищами-предками, открывшими для нас вот эти обширные земли?

В Хабаровске-товарном простояли очень долго. Прицепляли несколько таких же зарешеченных вагонов; из ближних вызывали по фамилиям, усаживали на землю плотными группами таких же бедолаг в грязной, домашней одежде, подводили к вагонам других. Вот тогда весь вагон убедился: да, этот состав предназначен для Колымы. Идет последняя сортировка, выводят безнадежно больных, пополняют состав другими заключенными.

Связной блатарь передал Виктору Павловичу вместе с обедом три газеты и три пачки папирос. О новостях скучали, газет не удавалось получить больше двух недель. И как только состав тронулся, как проехали по удивительно долгому мосту через Амур, все сбились в кучи возле трех читающих — с надеждой на

какую-нибудь добрую весть, на перемены. Ведь будет же конец той опричнине, что охватила страну несколько лет назад?..

Но страницы по-прежнему пахли неутихающей яростью и разоблачениями, со всех полос веяло подозрительностью. Статья Берия, вдруг вынырнувшего из неизвестности и ставшего уже первым секретарем ЦК КП(б) Грузии, состояла из призывов к бдительности. Продолжалось разоблачение «врагов народа» на Украине, где «кто-то занимается рассылкой на места полупровалившихся врагов». Снова статья Л. Берия о великой роли Сталина, еще в конце минувшего века руководившего сплочением революционного крыла социал-демократии Кавказа. И снова о Сталине, который вместе с Ладо Кецховели создал еще в 1901 году подпольную типографию в Баку и пролетарскую газету «Брдзола». Эта великая личность всюду успевала и все вершила.

В другой газете — разоблачение «врагов народа» в ЦК ВЛКСМ. И в двух номерах подряд «о подрывной деятельности фашистских разведок» — с продолжением, которое в вагон не попало. Здесь же Указы о награждении чекистов — одиночками, вроде некоего С. А. Гоглидзе, группами — членов Верховного суда, прокуроров Вышинского, Роговского, Матулевича, Розовского, Рычкова… Статья о «врагах народа» в Узбекистане, награждение следователя Шейнина. «Враги народа» во Владивостоке, к которому подъезжал их поезд. И еще о грузинском шпионском центре, разоблаченном теми же самыми Берия и Гоглидзе.

Нет мира над страной. К чему все это приведет?

«Правда» писала о небывалой жаре в Москве, «до 30,6 градуса», Молотов яростно громил вредителей Наркомтяжпрома.

Разоблачали Бруно Ясенского, Киршона, шпиона Белла Илеша. В Испании шли тяжелые бои у Мадрида, а Вышинский вдруг выступил с речью на Сессии ЦИК СССР и говорил о правах граждан СССР!

В вагоне никто не смеялся. Уж очень энергичный перехлест. Заключенным просто страшно, мороз по коже. Ведь этот «прокурор», пославший на смерть лучших военачальников страны, тоже получил свой орден Ленина «за успешную работу по укреплению революционной законности и органов прокуратуры!» Не до смеха…

Шелестели в руках газетные листы. Заглядывали через плечо, читали, не веря глазам своим. И сидели потом в глубоком молчании. Нет комментариев. Не слышно громко высказанного личного мнения. Читали и вздыхали. Вот статья о летчике Леваневском. он полетел по чкаловскому маршруту в Америку и

пропал где-то на Аляске. Ищут, но вряд ли… Это печально, это обсуждают. А колеса стучат и стучат, везут все дальше от родных краев, все ближе к тому неизвестному, что впереди.

Обнаружили, что повернули на юг, солнце светит наискосок, во второй половине дня оно освещает за проволокой лицо Сергея. У него уже заметны светлые усики, по щекам и подбородку русые мягкие волосы, коротко остриженная голова слегка потемнела отросшим волосом. Он бледен, под глазами заметны мешки: сидячий образ жизни, без воздуха, с тяжелыми мыслями на душе. Тоска все чаще наваливается на него. Жизнь исковеркана, самые радостные годы — в тюрьме. Судьба? А что она сделает с ним дальше?.. Что там с мамой, с девушками, одна из которых могла стать самым близким человеком? До них отсюда семь тысяч километров. И все больше накручивается.

Виктор Павлович лежал рядом, не спал. То хмурил брови, то вздыхал. Поднявшись, огладил заросшее лицо, посветлел.

— Все любуешься? — спросил Сергея. — Страна велика и обильна, но… — И, помолчав, спросил: — Споем, дружище?

Не дождавшись ответа от смущенного Морозова, негромко, хорошо так начал:

— Глухой неведомой тайгою, в сибирской дальней стороне…

— Бежал бродяга с Сахали-иииина, — подхватил Сергей и улыбнулся.

Запел и отец Борис, за ним Иван Алексеевич очень хорошим тенором. Верховский прокашлялся, извинительная улыбка появилась на его лице, начал тихонько подтягивать. И скрылась за пест ней опостылевшая тоска, не осталось места для гнетущих дум. Песня не казалась старой, напротив, была очень созвучной их положению.

Иван Алексеевич вдруг начал другую:

Вечерний звон, вечерний звон!
Как много дум наводит он.
О юных днях в краю родном,
Где я любил, где отчий дом,
И как я с ним, навек простясь,
Там слышал звон в последний раз!

Подпевали все, отец Борис особенно усердно, он вел песню, зная слова. Когда кончился куплет, он же и сказал:

— Теперь сначала, братие. Кто не знает этих добрых слов, запоминайте. Душа человека раскрывается в песне.

Потом завели «Песню узника» полузабытого Федора Глинки:

Не слышно шума городского,
На черной башне тишина…

Она казалась совсем родной. С особенным нажимом, душевно прозвучал куплет:

Откуда ж придет избавленье,
Откуда ждать бедам конец?
Но есть на свете утешенье
И на святой Руси Отец!

Отец Борис вытирал слезы. Песню повторили.

— Декабристами навеяно, — сказал он после. — Такая вот история.

На остановке лязгнул запор, отодвинулась дверь. Возникла голова конвойного. Он оглядел всех, приказал:

— Петь не дозволено, ясно? — И перед тем, как задвинуть дверь, задумчиво добавил: — Отпелись вы, мужики. Вот так-то.

— А если про товарища Сталина? — спросил кто-то с нар.

Конвоир растерянно помедлил, осерчал и рявкнул:

— Не разговаривать!

И задвинул тяжелую дверь.

Через сутки арестантский состав миновал по каким-то обходным путям Владивосток. Почти весь светлый и теплый день неспешно шел уже берегом Японского моря, изворачиваясь у причудливых больших заливов Петра Великого, и к вечеру остановился на покатом к морю склоне с рыжеватой сухой травой и редкими деревьями — ни дать, ни взять африканская саванна, которую Сергей когда-то видел на картинке. Это был конечный арестантский пункт на восточном берегу великой Евразии. Вроде бы дальше уже некуда.

Великий или Тихий океан — вот он, рядом.

МОРЯ НЕ ВИДНО — ОНО ЗА СОПКОЙ

Таких больших лагерей никто до 1937 года не видел. Бесконечный склон полого уходил в распадок, до которого было километра два. И в ширину столько же — со склоном в два других распадка, по дну которых бежали ручьи. Эти ручьи в зону не вошли, видимо, по настоянию санитарной инспекции: они могли вынести на «вольную» территорию лагерные стоки.

За двойной стеной колючей проволоки, ограждающей весь огромный участок, стояли большие, скорее всего военно-санитарные палатки. Брезент был обшит по бокам свежими досками. Бараки четырьмя строгими армейскими рядами спускались к распадку. Между ними стояла «бытовка», тоже крупное здание с высокими трубами. Как выяснилось позже — душевая с пристройкой для кухни.

По углам проволочной зоны и посредине ее угрожающе, как бы из-под бровей, посверкивали окна вышек с зоной обстрела в 200–250 метров. Промахнуться трудно…

В самом облике этого пересыльного лагеря и еще двух или трех, едва видных за ручьями, была какая-то жутковатая бездушность, тюремная педантичность, страшно далекая от простых человеческих понятий о соразмерности и пользе. От лагерных зон веяло не казарменной казенщиной, а какой-то смертельно опасной жутью. На воротах каждой из них можно было повесить фанерку с дантевской фразой: «оставь надежду, всяк сюда входящий».

Сколько таких зон находилось на этих пустынных и безлесных светло-коричневых буграх, сказать невозможно. Отсюда не виделось море, однако чувствовалось его близкое влажное дыхание. Построенная с размахом, не на недели-месяцы, а на годы, рассчитанная не на тысячи, а на десятки тысяч людей перед их отправкой на дальний север, каторжная зона была обжита. Словно муравьи перед своим муравейником, там передвигались и суетились люди.

Эшелон разгрузился в тупике, паровозик, жалобно пискнув, пошел назад к какой-то станции. Охранники сгрудили разгрузившийся народ в кучи, усадили, а сами отошли метров на двадцать и стали вокруг с винтовками. Видимо, ждали разрешения загонять в одну из зон.

Сергей, как и его вагонные друзья, сперва сел, а потом и лег на жесткую и теплую измятую траву. Заложил руки за голову и рассматривал голубое небо с проплывающими в вышине белыми облаками. Небо и здесь было прекрасным, как в Рязани, в Москве.

Тело, измученное почти двухмесячной тряской, неподвижностью в четырех стенах тюрьмы и вагона, отдыхало и напитывалось покоем земли, такой теплой и ласковой. Откуда-то пришли волны влажного и теплого воздуха, они баюкали так сладко, как не приходилось ощущать и в детские годы.

Конечно, он почти сразу уснул, презирая всяческие условности заключения. И почти все его братья по несчастью либо прикорнули сидя, либо во все глаза разглядывали мир, доселе неизвестный им. В считанные минуты, откинув устойчивый страх и тяжкую подчиненность, люди вдруг почувствовали спокойствие простой жизни, некоей беспечной детскости, когда полностью счастливы и душа и тело. Блажен, кто изведал это чувство среди житейских забот, горя и придавленности, среди бесчеловечного диктата, когда ты ничто, раб с изъятой душой.

— Па-а-дымайсь! — раздалась команда, подкрепленная милицейскими свистками. Команда растревожила, растрепала и легкий сон, и блаженство отрешенности. Все огромное лежбище тел, безликих человеческих образов зашевелилось. Люди натягивали за спину рюкзаки, сворачивали свои мешки и, толкаясь, переступая} «ачали образовывать более или менее сбитые галдящие квадраты. Матерщина и удары прикладом пришлись на долю непонятливых, строптивых, старых.

— Вперед за ведущим, а-а-рш!..

Ведущими являлись две темноспинных овчарки на поводках в руках молодых, самоуверенных, переполненных тщеславием лейтенантов НКВД. Новые уроки уже не тюремного, а лагерного страха и безоговорочной подчиненности снова напоминали заключенным, что они не люди, способные шутить, мыслить или смеяться, а учтенные единицы в реестре нарядчика, существа низшего разряда, коих обязаны слушаться и помалкивать — ровно столько лет, сколько определено каждому приговором суда или Особого совещания.

Колонна, просчитанная сперва конвоирами, потом крикливыми нарядчиками у ворот,‘ потянулась к зданию с трубами, из которых выплывал синий дымок. В душевую входили партиями по двести человек. За дверями душевой во всю хозяйничали наглые уголовники, они сразу превратили раздевалку в некое чистилище, где вещи и белье, оставленные заключенными, подвергались осмотру с одной только целью: отобрать и забрать все ценное, что привез человек за тысячи верст. Малочисленные дежурные, оставляемые в раздевалке, тотчас подавлялись. Начинался шустрый шмон и вынос добычи — не без указки нарядчиков, куда и сколько.

А голые тела протискивались через двери — с кусочком мыла

размером в спичечную коробку — и оказывались в огромной душевой, стороны которой не проглядывались из-за густого пара. Пятнадцать минут на процедуру. И это после долгого пути по пересылкам и дорогам! Мылись на скорую руку, старались не потерять друг друга из виду. Все знакомые по вагону, среди них и пятерка сдружившихся, сумела забрать с собой и свертки, и мешки с одеждой, где оставалось что-то из домашнего, пусть и мокрого, но уцелевшего. Все они чуть не первыми покинули душевую, отбились от наглеющих грабителей, оделись на мокрое тело и выскочили на воздух без ощутимых потерь.

Здесь их снова строили, притирали ряд к ряду. Менялись местами, если оказывались не со своими. Так овцы, с приподнятыми головами, с глазами, выражающими отчаяние и ужас, суетятся в стиснутом стаде, гонимом собаками, чтобы оказаться в середине, подальше от острых клыков.

Сергей и Николай Иванович поддерживали под руки отца Бориса, сильно ослабевшего ногами. Его почти волокли, а он тихо упрашивал:

— Да бросьте вы меня, Христа ради! Умаялся я, душа моя дьяволом ужаленная, не дойду до Голгофы…

Раз за разом раздались два, потом еще три выстрела. В кого, где? Колонна прибывших медленно текла, вниз и вниз по рыжей почти начисто вытоптанной траве. Лишь немногие видели как падали сраженные пулями те, кто нечаянно отошел от остальных на пять шагов. И это в зоне! Охранники брезгливо, как мертвую скотину, переворачивали сраженных лицом вверх и оттаскивали в сторону. Через две-три минуты шестеро заключенных рысью привезли телегу, тела забросили и увезли.

Наглядное пособие для живых…

С головы колонны по цепи конвоиры зычно напоминали:

— Шаг вправо, шаг влево, стреляем без предупреждения! Считается побег!

Привели к бараку, еще мало заселенному, и предоставили каждому выбирать себе место на нарах. Они были в четыре этажа. Пятерка сдружившихся заключенных устроилась внизу, близко к еще нетопленой печке. Хоть просушить вещи можно, когда затопят.

Началась почти лагерная жизнь. Подымали в шесть, гнали к пищеблоку с засаленными столами, с грязью под ногами, куда выливали малосъедобные щи, чтобы опорожнить миски для каши, проворно ели и выходили в другие двери. И опять в барак, где дежурил кто-нибудь из группы, ему приходилось бегом бежать в столовую, чтобы успеть. Только так можно было сохранить домашние вещи, драгоценные, как потом выяснилось, вещи —

носки, варежки, шапки и все другое, что семейные успели передать своим несчастным.

Трудно себе представить эту зону в осеннее, а тем более в зимнее время, когда низкие тучи опрокинут на землю лавины приморского дождя или сыпучего, резкого снега. Пока стояла золотая осень, все здесь было, как и в обычной тюрьме, только без стен, с видом на бугры, где ни разу не удалось заметить человеческую фигуру. Видно, эта местность являлась запретной зоной. Поселок Находка, по рассказам знающих людей, был где-то близко, но никакого движения на дорогах к зоне не замечалось.

Счастье, что стояла чистая и солнечная осень. Даже поздняя, она одаривала заключенных теплом и светом, возле бараков многие сидели на солнышке, блаженно призакрыв глаза.

Сергей в один из дней просидел кряду часа три, дремал, клонился во сне, но не падал. К вечеру друзья сказали ему, что он загорел.

— Широта Черноморского побережья, — заметил Виктор Павлович Черемных. — Но Черноморьем здесь и не пахнет, если не считать солнца. Вон там, чахлые деревца, даже не узнаешь, что это такое. На Дальнем Востоке и летом может вернуться зима. И зимой бывают длительные оттепели, хоть зерно или сою высевай. Приспособились и к такому климату, живут, ничего себе. Проживем и мы.

— Тут и женщины дожидаются отправки на Колыму, — сказал Иван Алексеевич. — За нашим туалетом слышу сегодня голоса. Женщины спорят. И так громко, что все слова доходят. Одна доказывает, что на Колыме только поселения, люди живут вольно и даже зарплату получают. А другая твердит, что обычные лагеря, очень страшные, ее родственница оттуда письмо передала через добрых людей. Работают мужчины на приисках по двенадцать часов, в морозы, в дождь и слякоть.

— Но мы же читали статью Берзина, — вмешался Верховский. — Там тоже разговор о поселениях…

— Что морозы там до пятидесяти и выше, это правда, слышал в одной из лекций, — вошел в разговор Черемных. — Климат наиболее жесткий по стране. А золота, действительно, много, среди геологов у меня приятели. Сказывали.

— Ну, золото, так золото, нам все равно. — И Верховский в отчаянии махнул рукой.

— Женщин-то зачем в этакую страсть! — снова начал Иван Алексеевич. — Они вряд ли могут с кайлом или тачкой управиться.

— Это уже за пределами понимания, — Верховский, наверное, вспомнил свою жену, детей. Вдруг и их тоже на край

света, на Колыму… Неужели этого золота нет в других, более благополучных районах страны!

* * *

Сибирь издавна славится золотоносными районами. Драгоценный металл добывали на Восточном Урале, в Башкирии, а по мере освоения Сибири золото стали все больше добывать на Енисее, на Алтае и за Байкалом. Одна Восточная Сибирь в прошлом веке давала в год до тонны драгоценного металла, а в иные годы и больше.

К началу нашего века Россия получала со своих приисков от трех до десяти тонн золота за год, тогда как в Южной Африке при самом примитивном способе добычи получали по 15 тонн в год, а в США и по тридцать (Клондайк).

В России добыча золота велась до двадцатых годов только старательским способом — одиночками или артелями. Они же, в сущности, являлись и первооткрывателями золотоносных районов. Правда, известная экспедиция Черского, прошедшая через северо-восток Сибири в 1891-92 годах, нашла уже первые приметы золота и в этом страшном по суровости климата регионе. Экспедиция С. В. Обручева проводила изыскания в 1926 году едва ли не по маршруту И. Д. Черского, исследовала бассейны рек Индигирки и Колымы и подтвердила данные о возможности продолжения здесь аляскинского «золотого пояса», особенно на территории Колымского нагорья.

Но как добраться до этих необжитых мест? Как организовать в тяжелых климатических условиях настоящую разведку на золото? Тем более устроить в отдаленных на тысячи километров от обжитых мест прииски, поселки, как снабжать золотоискателей и добытчиков всем необходимым? И надо ли?..

Еще как надо! В стране резкая нехватка благородного металла.

К 1925-26 годам «золотая лихорадка» на Алдане подходила к закономерному концу. Запасы разведанного золота резко упали. Закрывались прииски. Приморские, приамурские, прибайкальские производства давали все меньше этого металла. И хотя молодой, талантливый геолог Юрий Александрович Билибин в те же годы сумел по-новому организовать поиск золотоносных месторождений (в местах с недавно изверженными вулканическими породами) и нашел перспективные на золото места, вдохнуть жизнь в затухающее Алданзолото и другие прииски не смог и он со своим открытием.

В стране, только что вышедшей из гражданской войны, с разрушенной и сломленной экономикой, как раз в эти годы требовалось закупить много индустриальных машин и всякой другой техники за рубежом. Для этого нужны были валюта, золото.

На какое-то время валютой стали произведения русского искусства, ювелирного мастерства, национализированные у аристократии и буржуазии, из царского двора. Даже иконы и утварь из закрытых храмов. Но сколько же можно обкрадывать собственные кладовые?

А старые золотые прииски, прежде всего на Алдане, все больше угасали. Акционерное советское общество «Союззолото» теряло свой блеск, плохо пополняло государственный золотой фонд.

Алданские геологи П. Шумилов, Ю. Билибин, В. Бертин, Н. Шило все чаще и с более возрастающим интересом обращали взоры на северный берег Охотского моря, на Колымское нагорье, довольно близко подходящее к этому берегу.

В 1926 году руководителем нового акционерного общества «Союззолото» правительство назначило А. П. Серебровского, показавшего себя энергичным руководителем. Он за короткий срок восстановил разрушенные смутой Бакинские нефтяные промыслы.

Серебровский скоро и точно оценил ситуацию в золотодобыче, согласился с мнением — пока еще мнением! — искателей и геологов Бертина, Шило, Билибина о возможности продолжения «золотого пояса» из Аляски на наш Северо-Восток, имеющий схожие с Аляской геологические условия. И организовал экспедицию в 1928 году под руководством молодого и опытного Ю. А. Билибина.

— Ищите золото по всему этому загадочному краю, — сказал Серебровский, накрывая ладонью на карте весь Северо-Восток. — Можете рассчитывать на всестороннюю помощь со стороны наркома тяжелой промышленности товарища Серго Орджоникидзе.

Надо сказать, что несколько раньше этого разговора, на Колыму, как пчелы на мед, уже слетелись старатели-одиночки, целые артели. Зов драгоценного металла осиливал все трудности проживания на побережье и в глубине Колымы. Множились слухи о богатейших месторождениях, о находке крупных самородков в речных долинах горной Колымы. Тропы в глубину нагорья начинались с Охотского побережья, чаще всего от поселка Ола.

Именно возле Олы — места прелестного, тогда еще закрытого лесами, с рекой, полной рыбы, и с лугами возле реки — в теплое

время 1926 года высадилась и группа поиска во главе с молодым начальником Юрием Александровичем Билибиным.

Это был уже опытный, серьезный геолог, знакомый едва ли не со всеми, довольно многочисленными гипотезами образования месторождений, хорошо осведомленный обо всех мировых центрах золотой промышленности! человек дела, высокой научной дисциплины и уверенности в успехе — с качествами, просто необходимыми для важнейшего государственного дела.

К этой экспедиции особенно внимательно присматривались на Лубянке такие деятели, как Ягода и его заместители по ГУЛАГу — Берман, Фирин, Фриновский. Создатели и обладатели бесчисленного, все более растущего клана заключенных и раскулаченных, они намеревались строить лагеря для них возможно дальше от густонаселенных мест, как можно выгоднее использовать дармовой труд и при этом не придавать своим, в общем-то, бесчеловечным, преступным деяниям даже малейшую огласку.

Билибин и его товарищи об этом обстоятельстве тогда еще просто не ведали. Зная характер начальника экспедиции, его врожденное дворянское благородство и высокую нравственность образованного человека, можно было предугадать, что он способен отказаться работать на ведомство, которое своей бесчеловечностью не могло ни быть, ни стать близким, тем более родственным социализму — государственному лозунгу новой власти.

Заметим, что подобных людей тогда было уже мало… Очень мало.

Полтора года, проведенные в верхнем течении реки Колымы с ее притоками, позволили сделать главный вывод: золота в этих районах, пожалуй, самых холодных, жестких, всего в двухстах километрах от полюса холода Оймякона, — достаточно для самой широкой промышленной добычи. Твердое убеждение геологов о находке «клада», естественно, достигло и до ведомства Ягоды.

А в Ленинграде, куда уже вернулся Билибин и его удачливая команда, началась камеральная обработка экспедиционных материалов; прикидывалась возможность всестороннего освоения края, создание приисков и, конечно, постройка автомобильной дороги от Охотского побережья в глубь тайги хотя бы на пятьсот километров. Исподволь готовилась вторая экспедиция для уточнения первых геологических прогнозов, для пополнения оставленной на Колыме постоянной геологической базы.

Весной 1931 года энергичный Юрий Билибин и более ста молодых решительных геологов снова отправились в глубинные районы Колымы. Эта их работа привела к открытию новых

перспективных месторождений золота и созданию научной системы геологии местности.

Время сомнений прошло. Наступило время действий.

Союззолото к началу тридцатых годов уже оттеснялось от событий, разворачивающихся на Колыме. Сам А. П. Серебровский, неожиданно даже для Серго Орджоникидзе, оказался не у дел, а **всё** проблемы, связанные с освоением Колымы, перешли, по решению Совета Труда и Обороны, к специальному тресту «Дальстрой НКВД СССР», начальником которого был назначен известный деятель партии, латыш-чекист Эдуард Петрович Берзин.

Он сразу же поехал в бухту Находка в Приморье, где была намечена база треста, а оттуда, уже морем, в бухту Нагаева, удобную для строительства порта. Недалеко от бухты, у реки Магаданки, началось строительство города с названием Магадан.

Еще стояла зима 1932 года, мартовское солнце никак не осиливало крепких морозов, а Берзин уже выехал в поселок геологов Ягодный. И там встретился с Билибиным, назначенным главным геологом Дальстроя.

Встреча этих двух лиц, двух мировоззрений и характеров, проходила напряженно. Берзин вдруг узнал, что «бешеного» золота здесь не будет, что и первая экспедиция, и Колымская геологоразведочная база при уточнении проб и карт пришли к выводу, что месторождения золота разбросаны в пространстве и не так богаты, как того хотелось бы. Что придется строить не одну трассу с нанизанными на нее приисками, а целую сеть дорог в разные стороны на сто и двести километров, где предполагалось строить прииски.

Вероятно, чекист Берзин был взбешен. От него требовали золото немедленно и как можно больше золота, а тут еще дороги, поселки, тогда как из пересыльных лагерей возле Находки на Север уже движутся пароходы с людьми. С заключенными, естественно, людьми.

Билибин с некоторым опозданием понял, что его открытия дали простор, базу для использования каторжного труда. Это никак не укладывалось в душе очень порядочного и воспитанного человека. Он понимал, что последует, когда в Нагаево из трюмов вывалят — и уже вываливают! — первые десятки тысяч подневольных. И если Берзин был взбешен «ошибкой» первооткрывателей, давших повод для постройки одного-двух поселков и для разработки компактного и богатого месторождения, то Билибин был расстроен не в меньшей степени, оскорблен и недоволен, что труд его товарищей используется теперь для такого безнравственного эксперимента, более

подходящего для средних веков…

Кажется, именно из этого несоответствия взглядов складывались все дальнейшие отношения Берзина и Билибина. Начальник Дальстроя позволил себе высказать главному геологу неудовольствие и даже угрозу. Тот ответил холодным отчуждением…

Вскоре недоразумения, связанные с оценкой богатства края, лишились всякой почвы. Кроме Среднеканского месторождения, казалось бы незначительного, здесь же были обнаружены золотые клады в десять раз богаче алданских. За сим последовали крупные находки на Хатыннахе, Ат-Уряхе, в районе Оротукана, Сусумана, Неры… Только успевай строить дороги, поселки и, конечно, зоны.

Но ни Берзин, ни Билибин уже не искали путей от сердца к сердцу. Слишком разные были люди, каждый по-своему оценивал события и их нравственный уровень.

В 1933 году Билибин уезжал в отпуск на «материк». Стояла солнечная, быстротечная осень. Встретившись с Берзиным, главный геолог сказал:

— Я не думаю, что мне надо возвращаться после отпуска.

Берзин промолчал.

— Я прощу уволить меня из Дальстроя. Свой вексель я еще не оплатил, хотя золота вам хватит на десятилетия, сколько бы заключенных сюда ни привозили.

Берзин ответил не сразу. Пожалел, что сам воздвигнул стену между этим талантливым, чистым человеком и собой.

— Я не возражаю против вашего увольнения, — ответил он коротко и резковато.

И пошли годы, когда о Колыме старались говорить как можно меньше и как можно тише, как у постели тяжелобольного. Пароходы продолжали возить в бухту Нагаева десятки тысяч заключенных за каждую навигацию. Северо-Восточный лагерь ГУЛАГ а становился самым крупным и самым страшным лагерем НКВД.

Странно и трагично зазвучала фраза из ранней (1936 г.) статьи Берзина в «Правде» о Колыме, о «людях, которые и не думают о возвращении…»

Где уж там возвращаться!

Ведь даже А. П. Серебровский, идейный вдохновитель Союззолота, был уже расстрелян…

МОРСКАЯ ОДИССЕЯ

…Колонна вновь прибывших медленно двигалась вдоль бараков. Сергей то и дело поглядывал на шагающего рядом Виктора Павловича. Наконец Черемных сказал:

— Это первый случай, когда убивают в открытую. И где? Внутри зоны. Похоже, для охраны такие выстрелы — один из методов запугивания. После него уже хочется не ножками ходить, а передвигаться на всех четырех, по-собачьи, не подымая головы. Докатились, в общем.

Их ряды уже втягивались в черный зев очередного барака. Дверь была нараспашку. Тепло.

Жизнь в пересыльном бараке с первого дня получилась неладной, люди выглядели подавленными, мало разговаривали. Появились и понуждали к молчанию какие-то новенькие, очень шустрые, осведомленные, они поворачивали разговор с любой темы на опасные, бездонно-болотные, где запросто можно уйти с головой.

Один из таких, скромненький молодой человек, два дня кряду вертелся возле пятерки друзей, присаживался на нары, скорбно вздыхал, ввязывался в разговор и слишком уж очевидно подталкивал к скользким темам. Однажды, после мирного молчания, он вздохнул и произнес в пространство:

— Если бы товарищ Сталин знал, что тут делается!

Никто его мысли не поддержал. Иван Алексеевич вдруг спросил:

— Как самочувствие, отец Борис?

— Да вроде лучше. По утрам, правда, ноги как ватные. А потом расхаживаюсь, сегодня страсть как далеко ходил. До самой уборной.

— Никому и дела нет до страданий наших, — опять вмешался новичок.

И опять ему не ответили, разговор пошел о погоде, она и впрямь стояла превосходная, «тепло и солнце, день чудесный».

Разговорчивый гражданин вдруг скис и покинул приглянувшихся ему людей.

— Нашел дураков, — грубо высказался Черемных. — Сексот несчастный. Находятся же такие. Все ищет, кого бы продать, заложить. Братцы, будем бдительны! Нам вполне хватит одного срока.

Дни в приморской пересылке были похожи один на другой, как близнецы. Спать давали вволю, но все подымались в шесть, чтобы к семи занять очередь в котлопункте — так называли здесь

столовую под навесом и многооконную стенку кухни, откуда выбрасывали жестяные тарелки с порцией все той же перловой каши и пайку хлеба с двумя кусочками сахара. Кипяток брали из больших кипятильников.

Позавтракав, шли в барак или на прогулку по зоне, оставляя одного при вещах. Наблюдали нехитрую жизнь, подолгу стояли у собачьего двора, где содержались служебные овчарки, они рвались и хрипели от злобы, едва увидев поблизости заключенного. По духу определяли, что ли?

Особой приметой этого лагеря был разгул воровства, обманов, ночных грабежей и даже убийств. Вся лагерная обслуга находилась в руках блатарей, организованных в шайки с наводчиками и исполнителями, которые нередко и приканчивали несговорчивых. Противостоять этим мерзавцам политические не могли. Бараки по ночам становились местом расправы. Наводчики заранее определяли людей с деньгами или с хорошими вещами, отводили в сторону и предлагали сдать столько-то вещей или денег. Несговорчивого в глухой час ночи накрывали брезентом, били и попросту отнимали все, даже брюки. Соседи, естественно, делали вид, что ничего не видят и не слышат. Охрана жалоб на грабежи не принимала.

— Они с бандитами заодно, — заявил Иван Алексеевич. — Я видел у вахты главаря шайки, беседа там шла мило и весело.

— Делятся награбленным, — согласился Черемных.

Но даже организованные воры опасались трогать заключенных, которые успели создать устойчивые сообщества. Такое сообщество представляла и дружная пятерка. Военный человек Черемных, не утративший сил Иван Алексеевич Супрунов и Сергей Морозов, даже Николай Иванович Верховский были вместе и начеку, могли ответить ударом на удар. Потому и подсылали к ним сексотов, чтобы выхватить одного-двух, передать оперчеку и ослабить группу. Не вышло.

За эти дни Николаю Ивановичу Верховскому удалось наладить почтовую связь с женской зоной. Две зоны разделялись плотным деревянным забором с колючкой поверху. По ночам вдоль забора с обеих сторон по натянутой проволоке бегали овчарки, днем собак забирали. Верховский написал письмо с просьбой поискать среди женщин Надежду Семеновну Верховскую и Анну Васильевну Черемных, ответ просунуть в ту же щель между тремя и четырьмя часами. Несколько дней он прогуливался у щели, на пятый, кажется, день увидел на земле ниткой сшитую четвертушку бумаги. Дрожащими от волнения пальцами Николай Иванович развернул бумажку и увидел: «В трех бараках нет женщин с такими фамилиями. Будем искать

дальше. Вас просим поискать в зоне Андрея Никифорова, Авеля Корадзе, Исаака Левина. Через три дня придем к забору».

Все друзья приняли участие в этом поиске, оставив в бараке только отца Бориса. Ходили по баракам и выкрикивали фамилии. И в первом же к ним бросился бородатый человек с сумасшедшими глазами: «Я Исаак Левин! Я — Левин!» Верховский вышел с ним во двор и спокойно объяснил, что ему делать.

Никифорова и Корадзе так и не обнаружили. В назначенный срок Николай Иванович, вроде бы прогуливаясь, просунул в щель письмо Левина и поднял с земли бумагу. В ней сообщалось, что ни Верховской, ни Черемных в зоне нет.

Пудовая тяжесть упала с сердца двух людей. Впрочем, это не означало, что дома у них все благополучно: ведь были и другие лагеря и ссылки…

О Колыме, сколько не расспрашивали, никаких сведений собрать не удалось.

А вскоре пошли слухи, что на рейде уже стоит пароход. Видимо, за ними. Слегка притупившийся страх возник с новой силой. К пересыльному лагерю уже привыкли' режим здесь не казался хуже тюремного, одни прогулки под солнцем для них, утомленных каменными мешками, много чего значили. И кормили все-таки лучше, чем в тюрьме, так что слух об этапе вызвал не радость, а огорчение. Неизвестно, что ждет их на Севере.

Дни все еще стояли теплые и тихие, хотя уже заканчивался октябрь, мелкие деревья и кусты пожелтели, при порывах ветерка с них летел сухой лист. Запах моря ощущался все явственней.

Прошло еще два дня. После завтрака, на третий день в пяти первых бараках было объявлено:

— Выходи с вещами! Строиться по четыре!..

И началась карусель.

Едва ли не все блатари из пяти первых бараков тотчас перебрались в другие бараки, из которых заключенных пока не брали. Колонна строилась под крики, ругань и побои. У каждого десятого конвоира на поводке бесилась, овчарка.

Знакомый двойной пересчет у вахты, команда «садись!» за вахтой, ожидание последних из пятого барака. И снова «подъем! Шагом а-арш», шарканье ног вдоль склона по пыльной, желтой дороге, затем крутой поворот вниз, десять раз повторенная фраза «шаг вправо, шаг влево — стреляю без предупреждения!» И выстрелы, но без жертв, только в качестве угрозы.

На какой-то вынужденной остановке, оказавшись рядом с серым валуном, Сергей без размышления вскочил на камень и

огляделся. Он увидел внизу туманную гладь синевы, у которой не было предела. Море… Он впервые смотрел на близкое это чудо, величавое и спокойное в своей безбрежности, со скальными островами, вокруг которых тонким кружевом белели волны прибоя. В километре или двух от берега стоял корабль, другой шел, кажется, тоже сюда. От причала первого к его борту ходили и швартовались или отваливали карбасы или как их там… Шла погрузка. Голова их колонны терялась за редким лесом. А сзади, скрываясь за высоткой, темнел хвост бесконечного потока. Тысячи людей двигались от лагеря к берегу моря. Там начинался далекий путь на Колыму.

Кто-то рывком сдернул Сергея с камня. Он упал, сразу вскочил. Черемных с покрасневшим лицом выговаривал ему:

— Тебя предупреждал конвойный. А ты стоял, как идол. Он уже патрон в патронник загнал. Оглох, что ли?

— Не слышал, виноват, — проговорил Сергей. Он и в самом деле был так увлечен новой для него картиной, что мог стать жертвой конвоира. Понял это с опозданием. И признательно, с чувством пожал руку Виктору Павловичу.

Колонна продвигалась, часто останавливалась, Сергей шел и думал о той массе людей, которым предстоит отправиться в неведомую даль. За две-три минуты, пока он удерживался на камне и окидывал взглядом картину передвигающихся масс, в его воображении возникла и не отходила одна строгая мысль: вся эта мрачночерная людская лента, которая целиком будет проглочена корабельным чревом, состоит из чьих-то отцов, дедов или детей; что тут есть работяги, военные профессионалы, ученые, наверняка найдутся артисты и поэты, быть может, гении и национальные герои, словом, гордость русского народа. В этой гуще, конечно, немало и гадкой накипи человеческой. Всегда разделенные, далекие друг от друга, они смешались здесь в однородную массу, уравнялись по образу жизни, по виду, словом, стали рабами, как становились ими в давние времена древнего мира, когда властвовали над государствами диктаторы или временщики вроде озверевшего Суллы или неудавшегося поэта, ставшего, императором Нероном.

Тяжкие мысли бродили в его молодой голове. Почему это произошло в стране, потянувшейся к небывалому еще светлому социализму? Писали, что суровые наказания есть один из методов подхода к социализму, чуть ли не обязательное «очищение» страны от мешающих социализму. Как на волне гуманнейшей революционной переделки поднялись и выросли волчьи нравы? Разве нужен великой стране такой социализм, при котором гибнут невинные, просто заподозренные, как отец Борис,

Виктор Павлович, Иван Алексеевич, Николай Иванович, как он сам, Сергей Морозов? Всех их назвали «врагами народа», засадили за прочные стены, окружили овчарками-людоедами и теперь везут… Куда везут? Зачем везут? Наверное, затем, чтобы в этом далеке просто извести всех собранных, чтобы сгинули они в безвестности.

Сергей и сам удивился своим мыслям, доселе не возникавшим в его юношеской голове. Удивился и испугался. И вдруг почувствовал на щеках соленое. Плакал. Безмолвно, тихо катились слезы, он их слизывал, отворачивался от идущего рядом Виктора Павловича. Это были слезы жалости ко всем бредущим вниз. И к себе.

— Сережа, возьми себя в руки, — строго произнес Виктор Павлович. — Отчаяние не лучший способ бороться за жизнь. Как раз этого и хотят… Чтобы мы сами разбивали себе головы. Не поддавайся горю, сынок!

Уже темная ночь скрыла от людей и смутные кусты, и море, и колонну; уже слышались редкие выстрелы где-то позади и впереди, а они шли, шли в молчании и жути, пока не достигли берега. Здесь стоял длинный, наспех сколоченный дебаркадер. Гнали на него. Люди, взявшись за руки, спускались по двое в уже набитую почти до отказа большую баржу. Плыли, покачиваясь на мелкой волне, берег удалялся, а судно с черными бортами все ярче светилось огнями. На носу и корме все отчетливее виделось слово: «Кулу». Никто не знал значения и происхождения этого слова, оно произносилось на выдохе, как окрик лешего в глухом лесу.

Так называлось одно из семи судов — плавучих тюрем — в тот памятный, 1937 год, которые перевозили «врагов народа» за две с лишним тысячи километров — к северу от Владивостока и от пересылки на берегу с именем «Вторая речка».

Стараясь не отстать друг от друга — Николай Иванович Верховский впереди, Черемных сзади Сергея — друзья поднялись из баржи по шатким мосткам с поперечными брусьями-ступеньками на палубу «Кулу». Подгоняемые усталыми и потому озверевшими вохровцами, которые образовали два коридора до открытых люков в трюмы, заключенные даже мельком не смогли осмотреть палубу, ярко освещенную сильными лампами, и тут же оказались перед широким зевом. По доскам, придерживая друг друга и прежде всего отца Бориса, спустились до белого пола из свеженарезан-ных сосновых половиц. Далее, повинуясь окрику, оказались перед вторым спуском, потом перед третьим. Пароход оказался внутри многоярусным. Только на четвертом, значительно суженном настиле им приказали тесно усаживаться

на пол. Без права подыматься и ходить.

Сергей и Виктор Павлович были прижаты к влажному и холодному железу с выступающими ребрами. По ту сторону обшивки равномерно, как метроном, раздавались гулкие удары тяжелой волны. Сидели молча, отходили от нервного и физического потрясения. Ныли ноги. Ныло сердце. Чувствовали, что здесь, в самом нижнем ярусе, им придется провести нелегкие дни.

После тяжелого перехода и погрузки почти все узники «Кулу» быстро уснули. Но еще долго, даже во сне, до Сергея доносились крики команды сверху, стоны и плач в трюмах. Охранники и уголовники, взятые ими на подмогу, все еще гнали по трюмам нескончаемый поток заключенных, пока весь этап не оказался в чреве судна. Вот так же, наверное, в 16–17 веках перевозили рабов из Африки на американский континент. Правда, колодок на шею теперь не одевали. Все-таки век цивилизации.

Когда Сергей проснулся и огляделся, он увидел своего соседа на коленях: отец Борис молился, довольно внятно повторяя: «Спаси и помилуй, Господи. Спаси и помилуй!» Никто к нему не прислушивался. Вокруг, куда видно, все спали, кто свернувшись в колечко, кто, сидя, как и Сергей, только теперь отвалившийся занемевшим боком от мокрого и грязного железа. Было сыро и душно. Далеко наверху, заслоняя небо, у трюмного входа просматривались фигуры с винтовками: часовые. Они казались огромными. Корабль до тошноты медленно раскачивался с боку на бок. О железо с внешней стороны сильно била вода. Трюм спал. Кто-то стонал, кто-то вскрикивал во сне.

Проснулся Николай Иванович, попробовал глубоко вздохнуть, сказал:

— Ужасно душно. Попросимся в этот, как его? Гальюн…

— А пустят?

— Не под себя же… Должны пустить.

И стал подыматься по доскам с перекладинами.

— По нужде, — сказал, словно пропуск, как только голова его оказалась на уровне сапог конвойного. — Мы вдвоем. Где это самое?..

— Вправо, на корме. По быстрому, три минуты.

— Как получится, — заметил Николай Иванович. — Не часы точного хода.

— Без разговоров!

Палуба клонилась вправо, влево, вперед, назад. Теплый воздух, такой живительный, чистый, полный аромата еще не остывшего моря, сам собой вливался в легкие. Кружилась голова — и от этого чудного запаха, и от качки, которая уже давала себя

знать.

Они не торопились. Взявшись за руки, шли «вправо, на корму», навстречу им тоже шли, больше по двое, переговаривались, жадными глазами охватывали и небо в дождевых низко несущихся тучах, и горизонт, куда доставала вода. Там угадывалась только темная горбатая линия. Земля, которую покинули вчера.

Гальюн — три длинных настила метров по двадцать, с множеством круглых дыр, установили впритык к ограждению палубы. Вода из насосов непрерывно смывала из-под настила нечистоты. Удалось умыться из-под сильного крана и от этого стало легче. Теперь уже непрерывная ленточка заключенных двигалась в две стороны — от трюмов к корме и обратно.

Сергей показал глазами на большую якорную лебедку:

— Посидим за ней? Не по счету выпускают…

До лебедки было пять шагов. Охранники не заметили, железная махина укрыла двух человек. Тут была подветренная сторона, еще теплей, еще чище морской воздух. Они стояли, опершись локтями на ограждение, и смотрели как бурлит вода, раскрученная винтами. Белая дорожка уходила назад, сужаясь и принимая окраску бескрайнего моря.

— Мы похожи на вербованных, — сказал Сергей. — Едем в дальние края. На казенный счет. Когда мы в последний раз ели? Вчера в полдень. А есть что-то не хочется. А вам?

— Забыл, когда ел. Все это из-за переживаний. Наверное, меня уже укачало. Подташнивает. Морская болезнь, что ли?

В гальюне они видели заключенных, которых буквально выворачивало. При пустых желудках это огромное мучение.

Сергея стошнило за борт неожиданно, он даже не успел испугаться. Николай Иванович сказал:

— Не смотри на воду. От этого еще хуже. Смотри вдаль, на небо, дыши глубже. Пройдет.

Словно пьяные — и от морской болезни, от голода, от этого чудного воздуха, пошли они в свою тюрьму, в свой четвертый круг ада. Навстречу им двигалась цепочка измученных людей, торопились наружу. Шел Иван Алексеевич, вел под руку слабого отца Бориса, у которого были какие-то безумные, ничего не видящие глаза., и,.

Из трюма выносило тяжелый запах блевотины: щˆаждый успел выйти со своей бедой на палубу. г

Разгородив часть досок и уплотнив заклкиˆещшх, матросы опускали в трюмы длинные брезентовые рукава метрового диаметра. Хватились, когда десятка полтора больных и пожилых людей уже вынесли без сознания на палубу. По брезентовым

рукавам в трюм с гудением понесся плотный морской воздух. Стало легче дышать. Явилась и раздача. Выбрасывали из мешков четыреста-граммовые куски хлеба и соленую кету, ведрами спускали вниз кипяченую воду. Конечно, боялись заразных болезней, повальных смертей. Колыме нужны рабочие руки, а не инвалиды.

Как прошли еще четыре дня плавания Сергей помнил плохо. Морскую болезнь он переживал тяжело. На бортовом железе то и дело охлаждал ладони и прикладывал их ко лбу, к сердцу. Испачканный ржавчиной, он выглядел уже краснокожим, возникшим из романов Фенимора Купера. Его теплая куртка из темно-синей сделалась черно-красной. Не доставало сил для разговора, тем более, для шуток. Еще хуже выглядел отец Борис. Больше он не выходил из трюма, лежал и тяжело, как выловленная рыба, дышал, изредка осеняя себя мелким крестом. Через день Николаю Ивановичу удалось уговорить пароходного фельдшера, и больного взяли в лазарет, набитый сверх меры.

Впереди по носу стала просматриваться туманно-синяя земля. Она не была плоской, она горбилась большими и малыми горами, за первыми где-то вдали проглянули другие горы, со снеговыми шапками на вершинах. Колыма открывалась издали, как суровый и холодный край. Вход в Тауйскую губу прикрывали два острова-Завьялова и Спафарьева. Так говорили матросы.

В эту огромную губу пароход входил ночью. В трюмах кто-то заметил, что притихла утомительная качка. Значит, уже не было тяжелой волны, пароход шел по спокойному заливу. Сильнее гудели машины, пароход пошел быстрее, нагоняя потерянные при погрузке часы. На мачты и надстройки обрушились стаи чаек, их крик отчетливее всего оповещал о скором конце пути.

На палубу не выпускали. Лишь изредка прорывались самые настойчивые. Вышел и Сергей, удивляясь своим непослушным ногам. В глаза бросился вход в округлую бухту. В конце бухты подымались дымы из труб, темное облако висело над дымящим городом. Вот он, Магадан…

Мягко стукнувшись бортом о причал, пароход затих, заглушил главную машину. Прогремели якорные цепи. На палубе живей забегали охранники:

— Не подыматься на палубу! С места не сходить! Не толпиться! Ждать приказа!

В забытые брезентовые трубы тянуло теперь не теплым духом Японского моря, а прохладным, по-осеннему жестковатым воздухом сурового моря Охотского.

Всё. Прибыли.

Разгружали по тысячам. Сверху — первая тысяча, их спускали

на берег, строили и уводили. За ней тоже тысячу из второго трюма. Так что очередь до четвертого дошла лишь в конце третьего дня. Задержка дала возможность Виктору Павловичу и Сергею «вытащить» из судового лазарета несколько окрепшего отца Бориса. Когда стали разгружать их трюм, все пятеро снова были вместе. Сжились-свыклись за долгий путь. Позади осталось больше десяти тысяч километров, четверть земного экватора.

Пересыльный двор в самом Магадане представлял из себя целый городок больших бараков на четыреста мест в каждом. Здесь был и карантин: никто из магаданцев не хотел, чтобы завезли к ним холеру, тиф или какую-нибудь другую заразу.

День и ночь работала душевая с горячей водой. Выдали мыло, по рубахе и кальсонам, приказали постирать личную одежонку. И не ограничили временем: мойся вволю.

— В один узел, в один! — Черемных собрал всю одежду, обувь, связал веревкой и положил так, чтобы из душевой видеть общее добро. Догляд обязательный: среди новых прибывших уже вилась обслуга, прибиравшая все, что не разграбили на пересылке «Вторая речка».

С Сергея Морозова, испачканного пароходной ржавью, лилась красная вода. Он дважды намыливался, пока не обрел естественный цвет. Торопливо стирали брюки, пиджаки, другое верхнее, выжимали и так, сырьем, выносили. Никто этому не препятствовал.

На пороге душевой каждому выбрасывали шапку с меховыми ушами, теплые рукавицы, телогрейку, ватные штаны и портянки. В соседнем прилавке получали валенки и новенькие черные или белые полушубки армейского типа. Удивительная щедрость, за которую хотелось благодарить. Такая экипировка, кроме того, напоминала, что они на Севере, что вон там, за мелкими сопками, покрытыми лесом, уже белеют снежные вершины, что близко, совсем близко зима.

Нагруженные теплыми, добротными вещами, распаренные и словно заново родившиеся, заключенные шли в бараки второй зоны, еще полупустые, гулкие, занимали нары, стараясь оказаться ближе к печам. И блаженно ложились отдыхать. Все здесь после ужасного и долгого переезда казалось раем, все хвалили Берзина, который не очень обманывал, когда писал о Колыме в распрекрасных тонах. Выспавшись, с дрожью вспоминали долгую дорогу сюда. Вместо обеда всем прибывшим выдали по восемьсот граммов хлеба, по половинке соленой кеты и по горстке сахару. Кипяток в ведрах стоял у горевших печей.

Никто не командовал, не орал, казалось, что здесь и не лагерь вовсе, а сборный пункт рабочих, прибывших на серьезный

золотой промысел.

Виктор Павлович Черемных, человек высокий и представитель-" ный, в новой одёже, вместе с Иваном Алексеевичем Супруновым ушли на разведку. Сергей, отец Борис и Николай Иванович Верховский остались сторожить сушившуюся на проволоке личную одежду. Уркачей в бараке было немного и они как-то притихли, растворились в массе людей, где преобладали интеллигенты, молчаливые сторожкие крестьяне и бывшие военные. Особняком расположились группы узбеков, туркмен и таджиков. Им оставили личную одежду — стеганые халаты и мохнатые папахи.

Как только солнце зашло за сопку, сразу и резко похолодало. С дальних гор прилетел ветер. Лужицы воды через час уже покрылись корочкой льда. Чистое небо выглядело зеленоватым и каким-то отчужденным, опасным. Колыма показывала свой норов. Даже не сама еще Колыма, а ее входные ворота.

Возвратились Черемных и Супрунов. Они обошли всю громадную зону, послушали бывалых людей, на лицах их просматривалась некая растерянность.

Все пятеро уселись на нижних нарах, сдвинулись головами.

— Ну, что там? — спросил Николай Иванович. — Златые горы?

— Там остро не хватает транспорта, вот такая проза. У Дальстроя мало машин, чтобы развозить тысячи заключенных. Завтра ждут второй теплоход, «Джурму», такой же, как наш незабвенный «Кулу». Лагерь переполнен, в комендатуре суматоха. Но уже отправляют в крытых машинах. Когда дойдет наша очередь — сказать трудно. Будем отсыпаться. Торопиться на прииски нет резона. Там, сказывают, не мед. Вот такие дела.

— Добыча золота никогда не была делом легким, — заметил Супрунов. — И всегда этот металл находили в местах малодоступных и ненаселенных. Колыма — одно из таких мест. Говорят, что трассу довели уже до Ягодного, поселка километров четыреста отсюда. Есть дороги и в сторону от главного шоссе. Зимой машины часто ходят по целику, если не глубокий снег, и даже по замерзшим рекам. Что-то не тянет меня в эту глубинку. А куда отправят — секрет за семью замками. Приисков уже десятка три. И всяких иных лагпунктов, лесозаготовительных, строек, даже совхозов. Один из совхозов — вот тут, поблизости. О питании старожилы по-разному говорят — где хорошо, где на малой пайке.

— Берзин все еще здесь? Не узнавал? — спросил Николай Иванович.

— Говорят, здесь, но неуверенно говорят. Будто бы из Москвы

прибыл новый заместитель. То ли вместо, то ли помогать Берзину. Вообще, суматоха — так сказал мне один мужик, что истопником при каком-то учреждении работает. Суматоха, говорит. А почему суматоха, какие перемены — не знает или говорить боится.

НА СЕВЕР, НА СЕВЕР…

Теперь на «берзинских» заключенных, одетых в полушубки и валенки, посматривали как на аристократов. И не только посматривали, но и следили за ними с великой тщательностью, постоянно ожидая оплошки, чтобы воспользоваться ею и «увести» из-под носа хорошую одёжу.

Ночами кто-нибудь из пятерых не спал. А чтобы ненароком не уснуть, к бодрствующему присоединялся еще один — в разговорах и долгая ночь не казалась очень утомительной. И оплошности не произойдет.

Прошли те времена, когда по зоне заключенные ходили свободно и даже пользовались возможностью выходить в город. Из разных мест Колымы приходили сведения, что последние так называемые поселения, где жили относительно вольно, превращены в зоны со строгой охраной, что работать стало трудней, а еда хуже. Павлов и Гаранин «наводили порядок».

— Здесь все пришло в соответствие с духом времени, — тихо говорил в кругу своих Николай Иванович. — Нас уже перестали числить людьми. Мы стали рабами. Нас не хотят просто расстреливать или держать в тюрьме, по нынешним временам это кажется неким милосердием — тюрьма, койка, трехразовое питание. Нет. Удел другой: не просто расстрелять или замучить в тюрьме, а заставить работать до тех пор, пока человек не упадет в бессилии. Казнь трудом и морозом.

— Тихо, тихо, Николай Иванович! — Черемных обнимал его за плечи. — В ваших суждениях есть несоответствие. Для Дальстроя нужна рабочая сила. И золото. Кто бы ни был руководителем этого филиала НКВД, он обязан поддерживать заключенных в рабочей форме. Мы ведь еще должны оправдать расходы по содержанию тюрем, охраны и следователей. Так что обстоятельства вынуждают местных руководителей создавать для колымчан условия жизни. — И, задумавшись на минуту, добавил: — Интересно, есть ли в Магадане обком партии, советская власть, или все это сосредоточено в самом Дальстрое?

Разговор утих. Потрескивали в бочке лиственничные поленья, от белья над печкой подымался пар. Барак выглядел полупустым. Большинство заключенных с «Кулу» уже отправили в глубь Колымы. И часть следующего этапа, прибывшего с «Джурмой», одетого в черные бушлаты, уехали вслед за ними. Лишь сотня-другая «полушубков» остались по недосмотру в пересылке.

Иван Алексеевич оглядывался — не слышал ли кто Верховского? Чужих рядом не было. Тщательно скрываемая

правда была высказана без недомолвок, та самая правда, которая ходила в народе, не мешая этому народу славословить Сталина, выкрикивать осанну в честь «вождя всех времен и народов», заглушая немного сердечную тоску и мысли о том, куда приведет их жестокий и циничный деспот.

И Сергей понял, наконец, по какой такой причине с ним обошлись как с преступником: он откровенно высказал слова поощрения тем, кого расстреляли или посадили, ведь они были соратниками Владимира Ильича, более близкими к Ленину, чем Сталин! Что за время, что за жизнь, если все ленинское отодвигается на задний план истории, а над народами страны светит ослепляющее и сжигающее солнышко? «Сталин — это Ленин сегодня!» писали на плакатах.

Ужас какой-то!

В теплом бараке на полтысячи человек они прожили еще около десяти дней. Ходили по зоне, вызывались сами идти за дровами. Вот тогда Сергей и увидел город Магадан, вернее, единственную улицу из кирпичных трех-четырехэтажных домов, которая начиналась от перевальчика между парком и бухтой Нагаева и уходила вниз до здания почты и телеграфа, за которым текла речка Магаданка и начинался первый километр Колымской трассы.

По обе стороны от главной улицы, конечно же, имени Сталина, ветвились боковые улицы из деревянных домов и бараков. Недалеко стояла высокая кирпичная школа, а ниже и правей подымалось новенькое четырехэтажное здание Дальстроя, за которым туманилась морозная низина. Там распластался на многие гектары пересыльный лагерь за колючей проволокой ограждения с мрачными угловыми вышками. Рядом с зоной чернел угрюмо приземистый «дом Васькова», тюрьма, известная всем как место, откуда не выходят. В тюрьме расстреливали или просто умирали от пыток и голода.

На окрестных сопках, покрытых темно-зеленым стлаником, уже улегшимся на землю и кое-где присыпанным снегом, стояли высокие, сильно изреженные лиственничные леса, иные деревья были неохватно толсты. Здесь пилили дрова. Отсюда город внизу выглядел большим и дымным таежным поселком, который только-только прижился в неродимой стороне. Место, впрочем, удобное и по-своему красивое. Покатая к востоку ровная площадка, две округлые сопки по краям — сразу за перевальчиком; наконец, бухта, похожая сверху на удлиненную каплю воды, узким проходом соединенная с морем. А восточнее города — река и темная от леса долина, убегающая к поселку Ола, где высаживались первые партии геологов-поисковиков.

Пока еще мало затронутый лиственничный наряд покрывал подножия сопок, забирался выше, уступая там место стланику.

По Колымскому шоссе почти непрерывно в оба конца шли автомашины, среди них много крытых фанерой «перевозок», в кузовах которых, плотно сжавшись, сидели три десятка заключенных. Машины шли на северо-восток, навстречу им бежали другие — груженные рудой-касситеритом, деталями машин, требующими ремонта, бревнами, дровами. Все, что морем доставляли теплоходы «Н. Ежов» (бывший «Г. Ягода»), «Кулу», «Джурма», «Индигирка», «Дальстрой» и несколько небольших судов, порт принимал и отправлял в город и на трассу. Все золото, что добывалось на Колыме, вывозилось либо на военных кораблях, либо самолетами. Морской путь во Владивосток проходил проливом Лаперуза, мимо японских берегов.

Ноябрьское солнце еще светило, но уже не грело, в природе преобладали белые и серые тона, наводившие грусть при одном воспоминании о том, как далека отсюда родина, Россия, оставшаяся в памяти теплой и светлой. Лежала она за морями, за горами, и от этого становилось еще тяжелей. Тем более что впереди была жуткая неизвестность и каторжная работа.

Ближе к вечеру, когда Сергей, нагруженный дровишками, возвратился в лагерь и был принят охраной вместе с двумя десятками других заключенных, в глаза бросилось новое возбуждение: много бегающих заключенных, озабоченные лица, скорые — на ходу — переговоры — все это являло собой наступление каких-то перемен. Охрана была на редкость строга и подтянута, несколько вохровцев со своими помощниками-уголовниками загоняли всех в бараки, хотя до темноты оставалось не меньше часа. Уже шли на ужин первые группы, но не вразброд, не толпой, как всегда, а партиями и с охранниками. Казалось, даже воздух стал более жестким, нормированным, как хлеб и баланда. Скорей, скорей в столовую! И так же быстро назад.

Черемных, Супрунов, Верховский и отец Борис кучно сидели на нарах и разговаривали вполголоса, постоянно осматриваясь, словно заговорщики.

Сергей с ходу спросил:

— Что это все такие суматошные? Случилось что?

— Больше по дрова не пойдешь, — сказал Супрунов. — С нашими статьями из лагеря ни шагу. Приказ нового начальства.

Он сел — голова к голове. И тогда Черемных сказал, что подтвердились слухи о том, что Берзина арестовали. И всю головку Дальстроя. Новое руководство прибыло из Москвы. Пайку урезали сразу на двести граммов. Срочно готовят списки на этап,

уркачи видели на автобазе как сбивают фанерные укрытия. На подходе еще теплоход, для заключенных освобождают пересылку. Так что, прощай Магадан!

Ночью из соседнего барака, где жили в основном ленинградцы, увезли всех до одного, это были люди, прошедшие за два года все тюрьмы и лагеря в разных концах страны, измученные и мало приспособленные к работе на приисках.

Спать в бараке ложились встревоженные. По проходу то и дело проходили наряды вохровцев с расстегнутыми кобурами наганов: видно, для быстроты действия кобура у каждого была не на боку, а почти на животе. Подъем по свистку проходил на час раньше, в пять утра. В шесть в их бараке уже выкрикнули сто пятьдесят фамилий и увели с вещами. Свободные нары сразу же опрыснули карболкой, ее удушающий запах надолго повис в бараке. Оставшимся разрешали выходить группами по двадцать пять человек до уборной и обратно. Такой же порядок сохранялся и во время завтрака.

А к середине дня зону стала заполнять новая толпа с теплохода. Тысячи заключенных, шатающихся от долгого и голодного путешествия, пропускали через душевую, одевали в ватное и заталкивали в бараки.

На улице заметно похолодало. После нескольких дней оттепели, когда ветер дул с моря, установилась подозрительная тишь и открылось небо. Сверху на землю свалился мороз, крепкий и еще влажный. Чувствовалось, что зима берет погоду в свои руки.

Прошло три, потом пять дней. Ежедневно всех выгоняли к вахте, с возвышения выкрикивали фамилии, названные отходили в сторону и садились. Кто не отзывался, тех искали и после били на виду у всего лагеря. От железных ворот через короткие промежутки времени отходили полные (по тридцать человек) машины.

— Мужики, — командирским тоном сказал Черемных, — при первом намеке на этап — не потеряться в многолюдстве. В списках мы должны быть рядом. Но все может случиться. Домашние адреса у всех запрятаны? Через родных будем искать друг друга, как договорились.

— Если Господь сподобит, не потеряемся, — отозвался отец Борис.

У него успела отрасти борода, усы. Голубые глаза с нескрываемой болью осматривали лица друзей. Хотел запомнить навсегда.

Начали разгружать их шестой барак. Супрунов, что-то подсчитав, сказал:

— Сегодня до нас не дойдет. С того конца начали.

Сергей на нарах спал крайним слева. Дальше места занимала группа туркменов, их привезли позже. Русский язык среди них знали лишь двое. В своих лохматых папахах и в черных стеганых халатах с бушлатами поверх, они громко разговаривали по-своему, суетились, переодевались, а потом вдруг обратились все на восток и стали на колени. Молились, проводя ладонями по лицу и груди. Молитву им закончить не дали. Нарядчик подошел ближе, сказал «ваш черед» и стал выкликать, а знающий русский язык — повторять фамилию. Названный отходил за спину нарядчика и садился.

Друзья Сергея прощались друг с другом и с ним. Сейчас и их тоже… Но вызовы вдруг прекратились. Часть туркменов уже шла к выходу. Им кричали оставшиеся, размахивали руками, пытались идти за единородцами, вохровцы грубо остановили. Загалдели протестуя, так не хотелось расставаться с земляками. Охранники бесцеремонно вытолкали названных наружу, одному в кровь разбили лицо.

До вечера Сергей и его спутники, как и оставшиеся туркмены, не вышли за зону и вернулись в барак. До утра, это понимали все.

Когда перед сном четверо из друзей пошли в уборную, на дворе, на черном и чистом небе светились какие-то особенно мохнатые, большие звезды. Луна выкатывалась из-за сопки — светло-зеленая, равнодушная к горестям земным. Подувал настырный северный ветерок, мороз пощипывал лицо и руки.

В темноте огнями светился только многоэтажный дом Дальстроя. И подведомственный ему Севвостлаг. Судьба (жизнь или смерть заключенных) на обширном северо-востоке страны зависела сейчас и в предвидимом будущем только от этих сидевших в кабинетах людей, старательно исполнявших приказы своих начальников Павлова и Гаранина.

Утром, когда в бараке раздался свисток и заключенные, как овцы, опережая друг друга, бросились в уборную, чтобы потом успеть наскоро умыться, на улице было еще совсем темно. Луна, сделав обход неба, скрылась за высокой сопкой Марчекана. На земле лежал толстый слой изморози, казалось, что из глубин земных вымораживается последнее жизненное тепло. Дул сердитый северный ветер, он обжигал лица и руки. Ранняя зима…

Наскоро справившись с утренним обрядом, простояв долгие полчаса в очереди к раздаче и жадно выпив через край миски перловой баланды, приберегая пайку хлеба на день, заключенные скорым шагом возвращались в бараки. А через полчаса туда уже ввалились нарядчик с вохровцами, чтобы продолжить прерванный вечером вызов на этап.

Туркмены тревожно и громко переговаривались. Они толпились около нарядчика и, услышав свою фамилию, чуть не бегом бежали к выходу, похоже, надеясь, что еще смогут увидеть, догнать своих, увезенных вчера.

Отец Борис не таясь перекрестил Сергея. Все пятеро перецеловались друг с другом. У Николая Ивановича на глазах блестели слезы. Еще раз договорились при всякой возможности писать. Нарядчик как раз выкрикнул имя последнего туркмена и сложил было списки, но охранник, считавший людей, сказал ему:

— Двадцать девять…

— Как так? Тридцать!

— Вчера одного лишнего прихватили.

— А, черт!..

Он вернулся под свет лампы, стал листать списки. Все замерли. Сейчас он назовет тридцатого, чтобы заполнить машину.

— Морозов! — с какой-то злостью крикнул нарядчик.

Сергей медлил. Может, ошибка?

— Морозов! — все более раздражаясь, снова крикнул нарядчик.

— Я! — произнес Сергей машинально.

— Заспался, что ли? Имя?

— Сергей.

— Бери шмутки. Быстро!

Свет померк в глазах Сергея. Отделили. Одного. Он оглядел потерянные лица друзей, жалкЬ улыбнулся, обнял стоящего рядом отца Бориса и пошел за туркменами. Что делать?..

Как по бараку шел последним, так и в машину забирался, когда все скамьи были заняты. Свободным было лишь одно место справа у заднего борта. Он сел, охранник опустил брезентовый полог, навинтил гайки на болты и пошел в кабину. Еще пять-семь минут, машина загудела и, подскакивая на мерзлых комьях, пошла по улице и оказалась за почтой, на Колымском шоссе.

Сергей крепился. Не плакал. Он сидел, прищурившись, крепко сжав зубы. Он был в таком взбешенном состоянии, что мог убить всякого неосторожного, посмевшего сказать ему что-нибудь насмешливое или оскорбительное. Один среди чужих.

В машине царила тупая тишина. Покачивались мохнатые папахи. Сосед слева все ниже опускал голову, пока не заснул. Спал, несмотря на холод, врывающийся в щели по краям брезента. Сергей всей спиной ощущал, как, завихряясь в кузове, под его полушубок проникал морозный ветер. А не все ли равно — замерзнуть где-нибудь на прииске или сейчас! В уме почему-то проносилось горьковское «человек — это звучит гордо!», и все отчаяние, вдруг окаменев, обратилось в презрительное

равнодушие к почитаемому писателю. Какой издевкой звучали эти слова на Колыме…

* * *

Как в дантовом аду, в Северо-Восточном лагере существовало несколько кругов страданий для заключенных, оказавшихся за 64-й параллелью северной широты.

Немногочисленные ныне здравствующие и все давно погибшие сходились тогда во мнении, что нижний, самый страшный круг обозначался золотыми приисками в любом из пяти управлений, поделивших территорию Колымы. В самом конце 1937 года, когда теплоходы, трудясь на трассе Вторая речка (Владивосток) — бухта Нагаева (Магадан), успели переправить на Север около двухсот тысяч заключенных, и не меньше чем семеро из каждой десятки обязательно оказывались в этом нижнем круге. Прииски Дальстроя называли «основным производством», а все другие производства — дорожное, автомобильное, лесозаготовительное, речное и морское, рыболовецкое и совхозное — все они работали на «основное производство», которое и приносило главный продукт- золото или касситерит, то есть олово.

ОСЕДЛАЯ ЛАГЕРНАЯ ЖИЗНЬ

Вероятно, Сергей Морозов родился под счастливой звездой. На «основное производство» он поначалу не попал. Помогли туркмены.

В учетно-распределительном отделе и на пересылке в Магадане уже знали, какими никудышными работниками оказывались на Севере жители жарких стран. И не стали дразнить начальников приисков и горных управлений посылкой туркменов. Машину с ними адресовали на строительство большой казармы возле моста через реку Колыму на пятисоткилометровом расстоянии от Магадана.

Едва под колесами крытого грузовика с полуживыми от холода пассажирами прогремели гулкие доски мостового настила, как машина сбавила ход и повернула с трассы налево, а вскоре и остановилась у ворот лагеря.

Была ночь, светила половинка луны, вокруг зоны лежал мятый-перемятый грязный снег, дали занавесились темнотой и только около ворот и вокруг зоны было светло от прожекторов. Они вырывали из тьмы большой квадрат за колючей проволокой.

— Вылазь! Становись по четыре! Плотней, плотней! — покрикивал конвоир, стараясь ускорить сдачу партии «новеньких» и убежать в теплую казарму.

Скоро не получилось. Сергей хоть и спрыгнул первым, но сразу повалился на снег: ноги одеревенели, не слушались. Большинство его спутников тоже не устояли на ногах в своих ватных бахилах. Как позже выяснилось, у троих были серьезно обморожены ступни, они катались по снегу и стонали, что-то выкрикивая гневное и дикое.

Из вахты вышли двое заспанных дежурных, подскочил лекарь, немощных поволокли в зону. Сергей поднялся, сделал несколько неуверенных шагов. Ноги щипало, они затекли от долгого сидения и холода. Своим ходом прошел через вахту, нарядчик принялся перекликать новеньких по фамилиям, матерился, отталкивая одного за другим в сторону, наконец, сверил со списком и повел в барак.

Распахнулась утепленная дверь, обитая поверх сена мешковиной. Подтаявший лед по краям двери посыпался вниз, от порога в темный барак повалил морозный туман, кто-то на нарах отвел душу трехэтажным матом. Торопливо протиснулись — и сразу к теплой печке с трубой, там едва горели последние головешки. Туркмены окружили печь, совали к железу руки, снимали папахи. Сергей рас-шуровал золу, положил пяток

поленьев, приготовленных к утру. В трубе загудело, бока бочки малиново засветились.

Слева от входа трехэтажные нары были свободны. Ни тюфяков, ни подушек. Но и голые доски в теплом и смрадном помещении после холодного кузова показались пушистым ложем. Сергей постелил полушубок, под голову тюфячок с одеждой и лег в валенках, а через минуту снял и валенки, чтобы сделать из них подобие подушки. В следующие пять минут он уже спал. Ни возбужденный говор туркменов, ни беспокойные движения соседей по нарам не могли разбудить его после утомительной дороги, за время которой все его тело, казалось, пропиталось холодом. И во сне он дрожал и сжимался калачиком. Но не просыпался.

В шесть утра, когда еще стояла глубокая ночь, в лагере раздались резкие удары железа о рельсу. Звуки не сразу доходили до сознания спавших. Сергей вскинулся, сел и никак не мог понять — где он и что с ним. Вокруг, молча, суетились тени, светились под крышей лампочки, печки гудели, распространяя тепло. Возле каждой плотно стояли или сидели на корточках молчаливые люди. Кто сушил над самым железом портянки, носки, кто-то блаженно охал от жары, хлопала дверь и тогда видно было как ползет в помещение морозный туман. По скорости этого потока определяли насколько холодно на дворе.

Ругались, молча оттесняли друг друга от печки, на нарах постанывали, шевелились те, кто не мог подняться. А у вахты, через небольшие интервалы, продолжали бить молотком по рельсе, каждый резкий звук заставлял вздрагивать. Полчаса на сборы, полчаса на завтрак — и всем построиться около вахты.

Вновь прибывших на работу не вызвали. После семи, когда в бараке остались только больные, туркменов и Сергея повели в столовую, за пять минут они проглотили перловку с запахом соленой рыбы. Триста граммов хлеба запили теплой подслащенной водой.

Уже в бараке поняли, что у них выходной. Сергей устроился сушить портянки, рядом с ним освоили места еще человек десять. Дров оставалось мало, и дневальный, разбитной мордастый мужик, затрубил тоном приказа:

— Черномазые, которые ночью приехали, после бани — за дровами, понятно? Топоры дам. И провожатого. А то ведь как: у печки все, а за зону никого. Ты с ними? — спросил у Сергея.

— С ними, из Магадана.

— Ну что там? Как новое начальство?

— Не знаю, не встречался.

— Твои по-русски кумекают?

— Двое или трое. А что?

— А то, что тебя определят в бригадиры, понял? Работники они, вижу, квелые, так что все шишки покатятся на тебя.

— Не впервой…

В бане им выдали желтое и грубое белье, полчаса ушло на мытье и стирку. Сюда же заглянул лекпом, молодой фельдшер, и троих назначил в стационар: ступни у бедняг посинели и опухли. Обратился к Сергею:

— Ты, вроде, посмышленей. Забери их прямо отсюда. Из каких краев сам-то?

— Рязанский.

— А статья?

— Дрянная статья, пятьдесят восемь-десять. Особое совещание

— Это хуже, парень. Раз Особое совещание, значит, только общие работы.

— Знаю. Растолковали по пути.

— Ты вот что. Просись к бетонщикам. Не на холоде все же.

— Спасибо, попробую. Худо здесь?

— А то… И все-таки лучше, чем на приисках. Там уже по двенадцать часов вкалывают. На полный износ. У нас пока десять часов осталось. И то больных уже девать некуда. В день одного-двух жмуриков вытаскиваем.

— Жмуриков?..

— Ну, покойников, значит. А я почти твой земляк. Тульский я, город Белев, знаешь? Прямо из медтехникума и сюда. Спецколлегия судила, пять годочков. Ну, будь! Заглядывай, потолкуем.

Вот так для Сергея Морозова началась уже не пересыльная, а оседлая лагерная жизнь. Засыпая вечером, он привычно подсчитал: осталось ему два года и полтора месяца. Семьсот восемьдесят четыре дня.

В тот день его вызвали к нарядчику.

Молодой и крепкий мужичок, как потом выяснилось, сверхсрочный старшина, из армии, с пятью годами за изнасилование, он оглядел Сергея с ног до головы и усмехнулся:

— Тебя обмундировали, как на парад, а твоих чучмеков оставили в холявах, кое-как. Бригадиром у них будешь, ты в одном списке. Котлован под фундамент рыть. И построже с ними, чуть что — в рыло. Ты кто по специальности? Агроном? Ну, здесь полей-огородов нема. Хотя с твоей статьей и брагидиром-то…

— А я не пойду бригадиром. Я работать буду как все. Приходилось когда-то и бетонщиком, — соврал Сергей. — А бригадиром к туркменам назначайте из них, там трое по-русски

говорят. Им сподручнее и в рыло, и все такое.

— Ну, смотри. У бетонщиков тоже не мед. Я хотел помочь тебе. Деньги есть? Дай пятерку взаймы.

Сергей дал, хотя у самого осталось четырнадцать рублей. Понял, что нельзя не дать, от этого ухаря много чего зависит. Наверное, он уже привык обирать всех и каждого.

Этапники отдыхали до обеда. После рыбного перлового супа, ложки перловой каши и четырехсот граммов хлеба на обед и ужин сразу же погнали за дровами. Все ближние сопки уже стояли голые, идти пришлось километра за два, конвоир знал, где остался лесок, туда уже наторили тропу в глубоком снегу. Рубили молодые лиственницы, свалили одно старое дерево, разделали, каждому балан на плечо или бревно на двух.

У входа на вахту у них отобрали половину дров. Тут были свои порядки, не поспоришь.

Все бригады возвращались к шести часам, уже потемну. И по тому, как входили, как сразу кидались к печкам, как готовы были горло перекусить за место у тепла, Сергей понял, каково пробыть десять часов на морозе. У всех лица в белом, лед нарастал на бровях, усах, на небритых щеках, под носом тоже натеки льда. Никто не произнес и слова, пока не разморозили лица, пока не унялась дрожь в настуженном теле. Грели в консервных банках воду, жадно глотали горячее, обжигая руки и рот. И после разговаривали мало. Все были чужими друг другу, боялись сказать что-нибудь такое… Сидели на нарах, вздыхали и тупо глядели перед собой. Каторга.

Бытовиков в бараке оказалось десятка полтора. Они устраивали в своем углу нескончаемый шум, дрались за теплые места, скидывали с нар старых и больных интеллигентов. Завладев местом у печки, садились играть в карты, гоготали, матерились, сил хватало, поскольку все блатные места в лагере принадлежали им. «Классовое расслоение», — невесело подумал Сергей.

Его притягивали к игре, считали за своего: молодой, крепкий, еще не успевший истратить силы на лагерной работе, не превратившийся в «доходягу». Он отказался и раз, и другой, и третий, после чего блатные оставили его в покое, хотя и не без зависти продолжали посматривать на валенки и полушубок. Берегись, Морозов!

Он пошел к бетонщикам. Большую половину времени они находились в утепленном помещении, где крутились две небольшие бетономешалки. Здесь оттаивали горы мерзлых песков и гальки. Сергей как ухватился с первого дня за тачку, работу тяжелую, но подвижную, так и катал ее первые десять дней, возил

песок и гальку из мерзлых куч в помещение. Тяжело, конечно, десять часов — с малым перерывом — держаться за груженую тачку. На его счастье, бетономешалки то и дело выходили из строя, и тогда работяги отдыхали возле большой печки из железных листов. Десятник у них был тертый калач, в нарядах делал бессовестные приписки и «вытягивал» на сто-сто десять процентов. А это уже девятьсот граммов хлеба и баланда погуще.

К этому времени всю Колыму накрыл обычный зимний антициклон, термометр опустился до отметки в 48–53 градуса мороза. Если было 49, то работали. Замотанные по самые глаза лица, каменеющие ноги, пар изо рта вырывается с шипением, слезы замерзают, не успев выкатиться, — но работали. Стоять нельзя, превратишься в ледышку. Из этого тяжкого испытания многие выходили уже калеками. Чаще всего обмораживали руки, уши, щеки, хуже — когда легкие: верный конец. Другие лишались пальцев, ходили с черными пятнами на щеках.

Надзиратели все в теплых полушубках, ватных штанах, валенках и меховых рукавицах с отдельно отшитым указательным пальцем, чтобы нажимать на спусковой крючок винтовки, не снимая рукавицу, они, как нарочно, подолгу держали бригады на входе и выходе у вахты. — В темном предрассветье, в поздний вечер застывали, коченели люди в строю, пока их пересчитывали, впуская и выпуская, пока назначали конвойных, которые не слишком торопились. Тепло одетые, они выходили из натопленных помещений и, кажется, даже испытывали некое удовольствие, задерживая промороженных заключенных на лютом морозе. В этой неспешности было что-то садистское, ощущение высшей власти над интеллигентами особенно, которые и оказывались «врагами народа»… Они были полностью в распоряжении молодых и не обремененных моралью парней.

Уже достаточно наглядевшись на жестокость в тюрьме и на этапах, Сергей как-то очень по-взрослому стал думать — а не с таких ли вот сцен низменного издевательства и начинается воспитание палачей высокого и низшего ранга? Не отсюда ли начиналось скорое продвижение по служебной лестнице новой касты для укрепляющейся диктатуры даже в нашей, в общем-то, милосердной российской стороне? Как они быстро возникли — способные к убийству и садизму, без малейшего колебания или угрызения совести!

Несчетно следователей, тюремщиков, надзирателей, охранников Сергей уже видел во время этапа и вот здесь, в первые месяцы пребывания в лагере. Что это был лагерь невероятно тяжелого труда — понятно. Но причем тут исправительный? Разве дикость, злоба и постоянная угроза смерти исправляли

когда-нибудь человека, тем более ни в чем невиновного? Зло способно рождать только ответное зло, но никак не исправление, не доброту. Злобой к «врагам народа» была пронизана вся жизнь в первом из колымских лагерей, куда попал Морозов. Он уже нагляделся, как вывозят из лагеря на санях «жмуриков», чаще всего старых и больных людей, с которыми охрана была особенно безжалостна, хотя эти застывшие лица и могли напомнить им собственных отцов и дедов.

Сергею вспоминались слова отца Бориса, сказанные в вагоне поезда, когда речь у них шла обо всем происходящем в тридцатые годы. Кажется, он пересказывал слова какого-то мудрого философа: «не соучаствовать в торжествующей несправедливости есть нравственная обязанность каждого порядочного человека».

Теперь он часто вспоминал четырех заключенных, с которыми подружился на тюремных этапах. И возникало что-то особенно горькое в том почти мгновенном, неожиданном прощании, происшедшем в магаданской пересылке. Он не успел сказать и слова благодарности этим добрым людям, идущим на смерть, да, на смерть! — ведь у Николая Ивановича Верховского в деле, где полагалось назвать статью из уголовного кодекса, стояли четыре буквы Особого совещания: КРТД, означавшие, как он теперь знал, только работу на «основном производстве» с двенадцатичасовым рабочим днем. И у остальных трех протяженные сроки в восемь и десять лет, какие не мог вынести не один крепкий здоровьем человек. Значит, ехали на верную смерть…

Где эти славные люди, что с ними? И будет ли так милосердна судьба, чтобы послать радость новой встречи?

Только на втором плане у Дальстроя значилась хозяйственная задача: пока колымские лагерники «доходят», они должны успеть «выгрести» из мерзлых недр сколько-то тонн золота. Все поступки больших и малых подчиненных Ежова, какими бы ни были они бесчеловечными, оправданы подобной доктриной. И тем золотом, которое добудут узники Севвостлага.

В первые месяцы 1938 года сумрачные и несколько сумбурные мысли Сергея Морозова, которыми он не мог поделиться ни с одним человеком, получили еще одно доказательство: в бараках заговорили о скором этапе на золотые прииски. Видно, потери в людях там были настолько велики, что постоянно требовалось пополнение, а с юга Дальстрой этого пополнения получать зимой не мог. Оставалось одно: сократить все подсобные предприятия на самой Колыме.

Слух подтвердился. Яро-морозным предутренним часом две крытые машины были нагружены каменщиками и землекопами, которые готовили фундамент под второе крыло казармы.

Лагерь охватила тревога. Около нарядчика, этого всемогущего распорядителя, выдвинутого непременно из стукачей, продолжали увиваться люди, шептались, совали ему в карманы деньги. Он одобрительно кивал, улыбался, делал на клочке бумаги обнадеживающие записи и всячески поощрял раскошеливаться. А через два дня на разводе выкрикнули тридцать фамилий, приказали через полчаса быть у вахты с вещами; в их число попали и все хитрованы. Нарядчик не замечал ни их самих, ни намеков, он просто хотел поскорее отделаться от обманутых людей.

Может быть, этими машинами этапы и завершатся? Так думали, так надеялись. И продолжали работать. Морозов возил свою тачку, ладони его даже под рукавицами покрылись не то чтобы твердой кожей, а прямо-таки сплошной сухой мозолью. Бригада бетонщиков получала высшую категорию питания — девятьсот граммов хлеба. Сильный голод, томивший Сергея в первые недели, притих, молодой организм приспособился и к работе, и к однообразной пище. Пусть бы так…

На Колыме погода отпустила. Повис теплый атмосферный фронт, мороз упал до 28–30 градусов, небо закрыли толстые облака. Днем стало пасмурно, часто шел крупный мохнатый снег, как в средней России, дым из труб не уходил кверху, а стелился. Краснели и смягчались обожженные морозом лица. У вахты уже не было суеты, бригады ожидали выхода спокойно.

Туркмены, с которыми приехал Сергей, стояли в колонне первыми. И тут раздалась необычная команда:

— Первая бригада — в сторону! Быстро в барак за вещами!

Лагерное начальство подсчитало туркменов, чего-то забеспокоилось. Вдруг нарядчик вспомнил и выкрикнул:

— Морозов!

Сергей вышел из строя бетонщиков, еще не понимая, что это значит.

— Ты чего прячешься? — Разводящий был сердит. — А ну, за вещами! Пять минут сроку!

Выскочил бригадир бетонщиков, завопил:

— Это наш, он в моей бригаде, гражданин начальник. Ошибка у вас. — Бригадиру вовсе не хотелось терять хорошего работягу. — Вы уж, пожалуйста, увольте, парень нам вот так нужен. И зачем ему с чужими?..

Все эти разговоры задерживали развод, начальник стройки имел привычку встречать бригады на месте и за малейшее опоздание мог наказать и начальника лагеря («Что у вас за дисциплина? Бардак!»), и начальника охраны. Поэтому разводящий только сердито огрызнулся на бригадира:

— В карцер запросился? У нас это мигом…

Морозов побежал за вещами. Туркмены, в списке которых он все еще значился, уже подсаживали один другого в кузов, подозрительно оглядывались. Сергей получил тычок в спину от охранника и полез в наполненный кузов. Тут он окончательно пал духом. А не все ли равно, где свалиться!..

Снег все шел, густой и мягкий, шоссе укрылось под его пеленой, машина шла осторожно. Выехав на прямой отрезок, шофер включил фары, прибавил, было, ходу, но при первом же торможении почувствовал как заносит и снова сбросил газ.

Сергей развернулся на скамье, сел лицом назад. Через щели в брезенте он смотрел на убегающую дорогу, провожал встречные машины, хранил фантастическую мысль, возникшую у него, когда переезжали мост через Колыму: оказывается, они едут назад, в сторону Магадана! Уж не к лучшему ли это? Освоился с мыслью, что чем северней, тем холодней…

Через десяток километров остановились. Впереди случилась авария, две машины с людьми и с лесом зацепились бортами и развалили кузова. На дороге валялись бревна, между ними и под ними лежали люди. Уцелевшие бегали, стаскивали на обочину тела неподвижные и стонущие. С двух сторон подходили, останавливались машины, бензовозы. Крики, грохот, вой моторов — все вязло в густом снегопаде.

Сергей первым спрыгнул, чтобы помочь, но тут же возник конвоир, вскинул винтовку и крикнул:

— Назад, застрелю! В кузов, мать-перемать!..

— Помочь хочу, гражданин боец. Люди же…

— Назад, или стреляю!

Сергей увидел его округлившиеся по-совиному пустые глаза и полез в кузов. Такой застрелит и глазом не моргнет,

Авария задержала их часа на три. Промерзли. Дрожь никак не унималась, холод пробирал до костей. В кузове кашляли, громко чихали, с какой-то вопросительной интонацией тихо разговаривали. Конвоир так и стоял возле задка машины. Его не касалась беда с чужими машинами. Он отвечал за своих двадцать девять чучмеков и русского.

Наконец, тронулись, теперь в бесконечном скопище машин, когда не обогнать, не прибавить скорости нельзя. Снег все еще шел, сбоку наскакивал ветер — предвестие снежной бури. Она не заставила себя ждать. Вскоре под колесами уже ощущались переметы.

Так дотащились до поселка с названием Спорный. Кое-как привалили к лагерной зоне, выскакивали быстро, надеясь на теплый барак. Из разговора конвоира с шофером Сергей понял,

что отсюда им ехать в сторону, уже по зимнику, который теперь, конечно, заметен. Придется ждать, пока тракторы расчистят ненадежную дорогу. Люди, стуча зубами и ежась на ветру, пошли в зону, потом в полупустой барак, где сразу же, с криками на своем непонятном языке, оттеснили от двух печек старожилов барака и окружили печи, чтобы отогреться.

— Откуда свалились? — спрашивали Сергея.

Он сказал и в свою очередь попытался узнать, куда им ехать из Спорного.

— В сторону, говоришь? — переспросил пожилой заключенный. — Тут две дороги за поворотом, влево и вправо, обе чуток назад, откуда вы приехали. Одна на временный лагерь, где лесозаготовки — эта будет влево. Другая — на прииск, там километров двадцать по времянке. Не завидую, если туда.

Распространяться он не хотел. Прииск есть прииск. Наслышаны. Хочешь или не хочешь, а поедешь.

Ужина не дали. Спали вповалку, поскольку гости нежданные. Утром, после развода, повали в столовую, там стоял собачий холод, на полу лед, хоть катайся, пар из кухни, ничего не видно. Сунули им по двести граммов хлеба и подслащенный морковный чай. С тем и вернулись.

Больше их не беспокоили. Можно отсыпаться. Но голод отгонял сон. Туркмены требовали пайку, завтрак. Прошло больше часа. Наконец, их увели в столовую, там дали кашу, еще по двести граммов хлеба — только утолить голод.

Явился местный нарядчик, оглядел туркменов, остановился против Морозова.

— По-русски кумекаешь?

— Еще не разучился.

— Айда со мной, поработаешь. И поешь по-человечески. Сегодня вас не отправят. Метель.

Он вывел Сергея за зону. Шли против ветра, отворачивая лицо. Жутко завывало, в воздухе висела сплошная муть, тропа только угадывалась. Перешли шоссе, миновали штакетный забор, из мглы выплыло какое-то большое помещение. Вошли в жарко натопленную кухню. Тут царили щекочащие запахи жареной рыбы и картошки.

— Садись к мешкам. Это мерзлая картошка, только что из Магадана. Ты ее в холодную воду бросай помаленьку, как сверху помягчеет, так чисть и сразу в котел с водой, а то черная сделается. Ясно? Ты, небось, голодный? Сейчас принесу «на зубок». Будешь сидеть до вечера, трудись, я зайду за тобой.

Чудеса какие-то. Ни конвоя, ни мороза. Сергей разделся, засучил рукава. Парень забежал, положил перед ним горку

нарезанного хлеба — пайки три! — миску жареной кеты и каши, поставил кружку горячего чая.

— Где я нахожусь, кореш? — спросил Сергей.

— В шоферской столовой. Никак не справляемся сами, пособляй, чем мерзнуть в бараке. Ты сперва поешь, я там за перегородкой, в буфете.

Рай, да и только!

Сергей ел и работал. Работал и ел. Картошка чистилась хорошо, руки к холодной воде привыкли, покраснели. Много картошки этой перечистил. И много поел — все, что принес буфетчик.

Тот зашел посмотреть, удивился:

— Ты гонишь как заправский повар. А рубаешь как волк. Еще принести?

— Не откажусь, — сказал Сергей. — Наголодался на баланде.

— Сам все пережил, пока не устроился на этом барском месте.

— Устрой и меня…

— Ты по какой?

— Особое совещание. Три года.

— У-у-у… Не выйдет. Первый же оперчек застукает меня, как пособника врага народа, понимаешь? Сам-то я до Колымы в торговле был. Ну, то-сё, погорел. А ты отхватил по-крупному. Эти три года тебе полной десяткой покажутся. Прииск тут за перевалом, недалеко. Туда все возят и возят народ, а оттуда никого. Понимаешь? «Незаметный» называется. Так что наедайся, там не больно жалеют.

Поздно вечером буфетчик отвел Сергея в зону, хвастался, что у него здесь все начальнички в друзьях: спиртик в буфете водится, то-другое. Потому его просьбы — закон. Вот у тебя Особое совещание, а он выводит за зону.

— Завтра вы не уедете, я за тобой опять приду. Отсыпайся. Почти три дня Морозов отъедался, даже мяса попробовал. Ел так, что ходить было тяжело, в сон потягивало. Но эта удача оказалась короткой. Метель стихала, на чистку дороги вышли трактора.

Буфетчик пришел утром, сунул тяжеловатый сверток в мешковине:

— Спрячь, это жратва. Ешь втихую, а то други твои разнесут — не спросятся. И будь здоров, вашу повозку уже заправляют.

Машину подали к вахте через полчаса. Отдохнувшие туркмены лениво полезли в кузов. Сергей сел на свое место, свертки с вещами и подарком держал у живота, сам был сыт, чувствовал легкое опьянение этой сытостью. И только мысль о страшном прииске, «куда везут и откуда не вывозят», вызывала

нарастающее чувство страха.

Ехали долго, два раза их машину вытаскивал трактор. Кругом стоял засыпанный снегом мелкий и редкий лес, чувствовался подъем. Небо прояснялось, на землю сваливался крепнущий мороз. Миновали какую-то грустную, словно бы нежилую зону с четырьмя огромными бараками. Дымок подымался из труб, меж бараков согнутыми тенями передвигались редкие люди. Никакой разработки или забоя вблизи не было. Отсюда дорога пошла вниз, по сторонам стояли белые сопки почти без растительности, потом возник распадочек, дорога зазмеилась и открылась перспектива безлесного и холодного пространства, навевающего тоску. Дикий север…

Со второго крутого виража проглянул поселок. Он открылся весь на две-три минуты: огромный четырехугольник зоны, внутри восемь или десять огромных бараков с дымками над ними, а в стороне — зияющий острыми черными стенами карьер и высокие конусы отвалов с лебедками поверху. Над карьером висела синяя мгла, там мельтешили черные фигурки. Забой. Так его описывали соседи по дебинской стройке, уже побывавшие на приисках, так просто и страшно описал буфетчик: сюда везут, отсюда вывозят…

Машина стала у ворот вахты. Откинули полог. Снизу на заключенных смотрели трое военных в белых командирских полушубках.

— На кой черт! — произнес один, рассмотрев халаты и лица туркменов.

— Бери, что везут, — отозвался другой.

— Отбросы сваливают. Уже не впервой, — злобно сказал первый и, повернувшись, ушел.

Выползали из машины как скованные, разминали не гнувшиеся ноги. Один замешкался — и тут же хлестким ударом был сбит, папаха отлетела.

Туркмены, захлебываясь, закричали все сразу, но кто их слушал! Конвоир вскинул винтовку, перевел затвор.

— Садись! — крикнул свирепо.

И все присели на корточки. Выстрелит…

Выдержав минут пять, конвоир приказал встать, построиться. И показал на зону, на барак. Рассовали всех по одну сторону, кто пробовал поменять место, получал отработанные удары по чем попало. Здесь хозяйничала барачная администрация, четыре крепких сытых уголовника.

— Скажи своим чучмекам, — заявили Сергею, — пусть сдают деньги сразу. Нам. Отыщем сами — головы не сносить, понял?

— У них денег нет. Не из Магадана, а со стройки, там почистили.

Не поверили, с ног до головы обыскали первых двух, убедились, что поживы нет, и потеряли к новеньким всякий интерес.

Явился нарядчик, проверил по списку. Посмотрел на Сергея, еще раз в список, сказал:

— Бригадиром будешь.

— Не могу, — Сергей покачал головой. — У меня Особое совещание.

— Не радуйся.

— *Я* не радуюсь, просто, чтобы вы знали.

— Подъем в пять. — Нарядчик не удостоил Сергея даже взглядом.

«НЕЗАМЕТНЫЙ»

Зона была большая, таких Сергей еще не видел.

Лагерь и прииск находились в низине, со всех сторон окруженной близкими сопками и далекими горами. Большое пространство с однообразным белым покровом вызывало вполне понятный озноб: саван… Лишь у подножия отдаленных гор можно было увидеть темные полоски леса.

И тишина.

Со стороны лагерь выглядел, наверное, столь же странно, сколь и чужеродно. Огромный квадрат был отгорожен двойной стеной из колючей проволоки. В этом квадрате стояли бараки, простые брезентовые палатки, каждая с одним выходом. Крыши у бараков были черными — от внутреннего тепла снег на них постоянно таял, они не высыхали даже при сильном морозе, только дымились паром. Казалось, что эти крыши висят в воздухе! Стены бараков были толсто обложены снегом и облиты водой. Матово-белые ледяные стены без окон сливались со снегом на земле. Из труб над бараками, над помещением кухни-столовой, над домом лекпома, над рубленой из бревен вахтой день и ночь стояли сизые дымы. Широкие, тысячами ног протоптанные тропы сходились к столовой, еще шире была дорога к вахте. И совсем узенькая — к лекпому. Внушительные марсианские вышки на четырех ногах стояли по углам. Стекла поблескивали под низко нависшими досками; оттуда следили за всеми передвижениями по зоне.

Сейчас зона выглядела пустой, заключенные работали в забое, этот забой был почти рядом — большой карьер глубиной метра в четыре с черными, рваными стенами. Над карьером висела дымка — от теплого дыхания тысяч работающих, от редких костерков. Там приглушенно гремело железо, повизгивали тросы и цепи. Они втягивали на два конических отвала деревянные короба с пустой породой, с торфами, как называли на открытых разработках грунты над золотоносным слоем. До троса у отвала короба тянули вручную. Короб цепляли к тросу, он подымал их наверх, там опрокидывался и возвращался пустым.

Из всех темных и тоскливых ощущений, владевших Морозовым, пока он осматривал то, что называют золотым прииском, опаснее всех была его полнейшая беспомощность перед событиями, которые делали его рабом в полном смысле слова. Он, как личность, уже ничего не значил, каждый его шаг диктовался надсмотрщиками с властью казнить или жаловать. Здесь размашисто орудовал механизм насилия, против него ни

воля, ни руки Морозова ничего не могли поделать. Он прожил немного, но и эти годы успели воспитать в его душе и собственную значимость, и какие-то деловые качества, и мораль. На прииске все это человеческое оказывалось ненужным, здесь годилась только его физическая сила. Эту природную ипостась из него выдавят до конца, хочет он того или не хочет. Взнузданный, в хомуте и оглоблях, мерин…

Все понятия о труде оказывались перевернутыми. «От каждого по способностям, каждому по труду» — так любил говорить товарищ Сталин. Что бы сказал он о колымских работягах?..

Сколько может продержаться физически крепкий Сергей, если будет работать по двенадцать часов в день, а получать пайку и перловку? Дней на пять у него есть еда, подаренная добрым человеком. А потом? Превратившись в отработанный скелет, в «доходягу» он либо тихо замерзнет в углу забоя, либо кончит свою жизнь в домике фельдшера, откуда путь только в отработанный карьер.

Как в жутких романах, кровь и золото здесь снова перемешивались, потом золото отмывалось от крови, ну а дальше из него можно было отливать монеты с чеканным профилем вождя; можно отлить самый большой в мире памятник, чтобы своей азиатской роскошью затмить монументы всех тиранов — Суллы и Нерона, Чин-гис-хана и Батыя, Ивана IV с его опричниной и Гитлера с его гестапо, как у всех присных, запятнавших грязью и убийствами историю человеческой цивилизации.

Бороться за жизнь? А с кем и как бороться? Ведь НКВД — карающая рука народа. Значит, с самим народом? Такое и в голову не придет. Писать жалобы? Немедленно окажешься в бетонном карцере, откуда тебя вытащат уже безнадежным. А жить надо. И, как писали древние, «не соучаствовать в торжествующей несправедливости», что и есть духовная необходимость, выражение нравственных поступков любого порядочного человека.

Сергей замерз, дрожь охватила его. Спина одеревенела. И он вошел в барак, где его туркмены спали, тесно прижавшись друг к другу.

Ближняя печка едва теплилась. Он открыл дверцу, подбросил три полешка и полез на нары. Полежал, согреваясь, в полушубке, потом снял его, укутался, прижал руки к бокам. И тоже уснул.

Разбудил его безголосый шум движения. То и дело хлопала дверь, морозный пар стелился по полу и пропадал в дверце печи.

Шаркали холявы. Кашляли. Становились стеной у печки. Он

сел на нарах и посмотрел вниз. Входили заключенные, все в черных бушлатах и таких же штанах. Они грудились у печки, чуть не садились на нее, стараясь впитать как можно больше тепла. Никто ни с кем не говорил, лишь вспыхивали короткие злые споры — толчки за место. Нехотя отваливались от печки, шли к своему месту, падали на нары в грязных холявах, с грязными руками, видимо, даже умыться не было ни сил, ни желания. Кстати, в умывальниках не было воды.

К печке подходили другие, сдирали с лица, с замотанных платков, с небритых щек потускневший лед, плитки его, хранившие черты лица, как маски, падали на горячее железо и печь сердито шипела. Все чего-то ожидали.

— Уже пора. Когда же? — раздавались нетерпеливые голоса.

— Пятая бригада — на ужин! — хрипло прокричали от двери. — Шестая, седьмая приготовиться!

Усилился проворный ворох одежды, говор, споры. К двери шли, оттискивая друг друга. Выходили в считанные секунды. Минут через пять ушла шестая, потом и седьмая бригады. Из глубины барака возник и вальяжно встал перед бригадой Сергея староста барака. Брови его гневно сошлись:

— Без жратвы решили? На запасах? А ну, по-быстрому! Ты что, детка, распустил своих черномазых? Выкатывайся. Кухня закроется, ждать не будет.

Сергей соскочил, потянул за ноги одного, другого. Туркмены задвигались, папахи на головах, сонные глаза уставились на Сергея. И с опаской на старосту.

— А ну, рысцой, гвардия!

В переполненной столовой толкались, стояли, сидели за столами, ругались, в углу кого-то били и вытаскивали за попытку получить ужин по второму разу. Четыре раздатчика работали как автоматы: две ложки каши — бросок, черпак супа — бросок, кружка чая и пайка — еще бросок. Следующий! Многие ели стоя, ложек не хватало, суп пили через край, макали хлеб, вылизывали из мелкой тарелки остатки каши. Двое служителей-блатняков выталкивали из столовой тех, кто пристраивался к очереди, били с животным наслаждением.

Мало чего людского оставалось в этой толпе, уже лишенной привычных человеческих качеств: достоинства, уважительности, внимания к окружающим. Лишь алчное, агрессивное проглядывало в этих людях, отброшенных на грань смерти, почувствовавших ее холодное дыхание. Немногие тихие, сохранившие человечность, не замечались, на них глядели как на ненормальных.

Морозов получил ужин одним из последних, ложка у него

была своя, поел скоро и не жадно, сунул ложку за голенище валенка и, махнув, своим, повел к выходу.

В перекрестном свете прожекторов метались черные тени — от столовой к уборной, оттуда — к баракам. Цепочка выстроилась у дома фельдшера. Туркмены тоже потянулись к уборной, и Морозов, махнув рукой, направился в барак. Мороз жег щеки и забирался под одежду.

У входа его ожидал десятник. Оглядел, выпятив губы, спросил:

— Черных ты привез?

— Самого привезли. Вместе с ними.

— Ладно. Слушай и запоминай. Наряд на завтра такой: крошить и грузить в короба взорванную ночью породу. Отвозить короба к тросу, цеплять крюк и забирать пустые короба. Норма на одного четыре тонны. На всю бригаду сто шестьдесят коробов при стометровой дороге. Ясно? Ломы и лопаты при спуске в карьер. Подъем в пять. Работа с шести до шести. Обед в забое, ужин в зоне. Вопросы есть?

— Сколько человек смогут тянуть короб?

— Здоровые — шестеро, твои малосилки вдесятером. Надо организовать, понял? Для памяти скажу: сто процентов нормы — восемьсот граммов хлеба, горячее по первой категории. Ниже восьмидесяти процентов — шестьсот граммов и жидкая баланда. Полнормы — штрафной паек, четыреста граммов.

— Это же лошадиная норма, разве кто-нибудь выполняет?

— Я замеряю, я сужу, кто и чего заработал. Понимать надо. Ревизоров у нас нету. Твои, небось, с деньгами?

— Не проверял.

— Ну и дурак, что не проверял. Подумай…

Первый день каторги дался бригаде очень трудно. Они наломали и отвезли, по подсчету человека у троса, всего семьдесят коробов. Штрафной паек с первого дня.

Явился десятник, покачал головой:

— Для начала наброшу, чтобы вытянуть на шестьсот граммов. Дня три, пока привыкнете. А дальше смотрите, чтобы не загреметь.

Куда можно «загреметь», он не счел нужным объяснять.

Пустую породу, глыбами завалившую края котлована, называли почему-то торфами. Торфу и дернины поверх смерзшихся глины и песка со щебнем было сантиметров пятнадцать-двадцать. Взрывы раскалывали мерзлый грунт на глыбы в кубометр или в четверть кубометра, мелочи для лопат почти не получалось. Ломами, клиньями и тяжелым молотом приходилось разбивать глыбы до подъемного веса; за такую

тяжесть брались сразу четверр-пяте-ро и переваливали ее в короб, потом впрягались и тянули на полозьях до троса. Там стоял канатчик, он подхватывал крюк и одним отработанным движением набрасывал на трос. Легкая, но опасная работа — не проходило и двух-трех дней, как канатчики менялись: либо ранило руку, либо отрывало пальцы все время бегущим колючим тросом.

— Завтра черед твоей бригаде ставить человека на трос. Кого назначишь?

— Попробую сам.

— Ишь ты! — Десятник, по возрасту годный Сергею в отцы, жалостливо оглядел его и покачал головой. — Черномазых жалеешь? Все равно через месяц-два дойдут. Ты себя пожалей. За неделю уже двум бедолагам руки оторвало.

Самое страшное время в забое начиналось с середины дня.

По темноте раннего утра, часов до десяти, когда рассветало, все работали, еще сохраняя тепло барака, так-сяк, как раз в меру, чтобы не замерзнуть. Постепенно силы и тепло истрачивались, все труднее было заставить себя нагнуться, поднять лом или молот, все слабее становились удары и реже чирканье лопат по гравию. Все чаще хотелось не то чтобы лечь (это означало верную смерть от мороза, выход, на который шли немногие, но шли), а хотя бы просто постоять, опершись на лопату или край короба. Руки-ноги ныли от непосильного труда, совсем не работать тоже нельзя. И работать уже нет мочи. Замерзать? Этому противился организм, сознание. И потому ковырялись, топтались, короба тянули все медленней, на тросе их видели все реже.

Было одно спасение: костерок. Собирали веточки на глыбах, раскалывали доски от коробов, зажигали огонь и сразу, в два кольца, затеняли свет тепленького костерка. По ярким кострам сверху стреляли часовые. Они прохаживались на трехметровой высоте по. краям забоя, оттуда нет-нет да и слышалось:

— Погасить костер!

Петом уже страшное:

— От огня в стороны! Стреляю!..

И стреляли. Не часто, но выстрелы раздавались, и пуля, срикошетив по мерзлоте, находила жертву. Раздавался крик ужаса и боли, кого-то подымали и везли на полозьях короба в зону. И пока везли, все полторы или две тысячи заключенных в карьере стояли и смотрели, прикидывая, а когда же их черед?..

Счет дням вскоре был потерян. Монотонность труда угнетала не меньше, чем потеря силы. Апатия и полнейшая автоматизация поступков делали лица заключенных странно сходными, как у родных братьев. Сутки двигались томительно — в полутемном

бараке, в душном тепле у печи, в спешном походе за едой, в ужасающей стоянке на вахте, откуда, уже замерзшие, шли в забой, где их ждали груды взорванных мерзлых торфов, подгоняющий мороз, когда только трудом можно согреть тело, ослабшее настолько, что требовалось понуждать себя, через силу наклоняться, подымать проклятую глыбу, бросать в короб, толкать, двигать по скрипучему снегу и песку, ждать у троса опередивших и чувствовать, как все больше леденит спину, ноги, лицо… Редкий костерок — это единственная отрада, поэтому даже при всех строгостях в конце дня много коробов выглядели, как остовы недостроенных лодок: одни стойки без досок.

Над забоем «Незаметного», далеко не самого крупного участка на прииске «Пятилетка», весь день стояла серая мгла, образованная дыханием множества людей, дымом костерков. Мгла подымалась, унося в открытое небо тепло человеческих тел. Но серый экран снова повисал над огромной ямой, где под ногами заключенных лежал почти обнаженный для летней добычи золотоносный слой. Никто не обращал внимания на богатство под ногами. Будь оно проклято!..

Вообще о золоте не говорили, это слово считалось заклятым. О нем не думалось, подножье выглядело совсем прозаически: смороженная глина, песок, щебенка, там не блестели самородки или крупицы. Пустые торфа счищали не до конца, этот глубинный слой ненавидели еще до его очищения.

Перед сном Морозов старался думать о днях, которые ему еще надо прожить в заключении. Семьсот с чем-то дней, потом просто семьсот. Очень много. Он понимал, что прожить их на прииске не удастся. И скоротечные весна и лето не будут отдыхом, они заполнятся все тем же непосильным трудом. Ему говорили, что на промывке работают в две смены. Где-то в нескончаемой веренице дней пододвинется и его последний день… Как не хотелось думать о конце жизни в свои двадцать два года! Вот здесь он больше трех недель, а уже четырех туркменов пришлось увезти на площадку позади фельдшерского домика, где на утоптанном снегу лежало более полусотни трупов, раздетых до белья. Зарывали их раз в месяц. Экономили взрывчатку и трактор с прицепом.

Страшно, горько, но слез не было. Тупая жуть. Что-то стронулось в сознании. Ужаса и горя вокруг было так много, что на сострадание и жалость к себе и к другим оставалось все меньше чувства. Какое-то равнодушие постепенно захватывало его сознание, вытесняя из сердца все доброе и человечное. За что ему так рано пришло это наказание? Как вообще возникло в России все это жуткое, каторжное? Миллионы русских, конечно,

знают о лагерях. И молчат. Даже те, у кого исчезли близкие.

В поисках ответа он насиловал память, перебирал прочитанное. Не было ответа в учебниках, в благостных романах, написанных словно под диктовку одного режиссера: «Легко на сердце от песни веселой…» И однажды он вспомнил слова матери, сказанные ему в Городке в минуты короткого свидания: «Вся надежда на Бога, сынок. Молись, не забывай. Помни, Спаситель тоже страдал…» Тогда он воспринял эти слова поверхностью сознания. И сейчас он не обратил взора к Небу. Бога называют Всемогущим. Почему же он не поразил своим могуществом вот это злодейство. Может быть, потому, что люди сами отвернулись от Бога?.. Ему хотелось плакать. Но слез не было.

Морозов не знал, что за люди рядом с ним, у него не появились новые знакомые, как и у всех других. Люди были замкнуты, собственных страданий хватало каждому. Но из обрывков нечастых разговоров он догадался, что в бараке больше всего людей городских, интеллигентных. Еще на этапе — в поезде, на теплоходе — вокруг него были учителя, студенты, инженеры, партийные работники, высшие служащие, духовные лица, умные рабочие, думающие крестьяне, даже дворяне высокого происхождения. И отношения там складывались дружеские, общая беда сближала, все старались помогать друг другу.

Как скоро все они менялись здесь! Каторжный труд, насилие, голод, холод, издевательство уголовников — все это разъединило людей, отшвырнуло друг от друга, повергло в одиночество, к дикости и рабскому поклонению, поставило на грань выживания. За кусок хлеба кидались друг на друга. Те, кто вчера дорожил честью, стали ловчить. Кто молод и силен, отказывали в помощи больным. Знания и ум обращали на хитрость, если она хоть чем-то облегчала положение. Деградация личности… Эти слова выплыли из давно прочитанной книги.

Неожиданно выдался «актированный» день: мороз больше пятидесяти. Лагерь не работал. По жребию ходили за дровами, жарко светились бока у печей-бочек. Кое-кто сумел попасть в баню. Со всеми туркменами Сергей тоже побывал в бане, вымылся сам и постирал белье. В бараке слитно загудел разговор. Если бы не сосущее чувство голода, то прямо рай. Нет, это еще не деградация,

— Понимаю, Николай Иванович. Вы знали Ленина, могли что-то сказать и вас… А такие, как я, комсомольцы? Почему нас тоже?..

— Нужна атмосфера страха, тогда — полное повиновение.

Испуг стократно велик, когда берут и невиновных.

— Говорят, были новые процессы?

— Да, чистка продолжается на всех уровнях. Но я ничего не читал, клочка газетного здесь не найдешь.

— Где мне отыскать отца Бориса? Такой старый, слабый, он скорее всех погибнет…

— Смотри внимательно на лица. На разводе, в столовой. Бедный священник, возможно, как и я, прикован к нарам.

Сергей принес кипяток, кусок хлеба. Они почаевничали, посыпав хлеб солью.

— Я потерял адреса, Сережа. У меня есть огрызок карандаша и лист бумаги. Сейчас снова запишу твой адрес и дам свой. Вдруг оказия будет?

Клочок бумаги Сергей спрятал в кармашке еще сохранившейся рубахи.

От входа заорали: «На ужин!»

— Я вам принесу, — сказал Сергей.

— Сперва доложи старосте барака. Он жетон выдаст.

Хоть и тяжкое вышло свидание, а все же на сердце полегчало. Есть и в этом аду старый друг!

Они поужинали вместе, на нарах у Верховского. Еще поговорили, вернее, пошептались. Барак затихал.

— Ты иди, Сережа, а как будет возможность, приходи. Я-то не могу. Спокойной тебе ночи, дорогой. Да, вот еще. Если судьба сведет с Виктором Павловичем Черемных, передай и ему адрес. Вдруг тоже потерял? Мы с ним договаривались… Ты в забое?

— С туркменами. Сейчас крючником стою. Моя бригада совсем выдохлась. Холод убивает их быстрее, чем нас.

— Боже мой! Боже мой! — вырвалось у Николая Ивановича.

Снизу Сергей еще раз оглянулся. Николай Иванович сидел, закрыв лицо руками.

Уснул не сразу. Лежал и думал. О нынешнем и будущем, если оно получится. О Верховском, который на полпути к кончине. Об отце Борисе, который где-то здесь. И о Боге, обязательно возникающем в сознании человека, когда он на краю… Далекое, туманное потянулось вслед за этими мыслями: вспомнилось детство, потом лесной Унгор, запах вспаханной почвы, девичьи песни на улице, чирканье коньков на льду Городка. Раздвинулись рамки жизни, забой отошел куда-то в сторону, как отходит поутру страшный сон, это помрачение. Ошиблись чекисты. Люди все еще были людьми.

Морозов шел по проходу за кипятком и услышал тихое:

— Сережа! Сергей…

В полутьме трудно было узнать, кто звал, он остановился и

огляделся. На верхних нарах сидел человек и улыбался, помахивая рукой. По застенчивой белой улыбке он узнал друга.

— Николай Иванович? Это вы?..

— Я, дружище, я самый. Сейчас сползу, поговорим.

— Не спускайтесь, я подымусь.

Он запрыгнул на нары и очутился рядом с Верховским, товарищем по пересылкам и теплоходу. Его трудно было узнать. Еще недавно такой чистый, белолицый, русоволосый, с умным и ясным взглядом бывший секретарь горкома выглядел старым, немощным, отчаявшимся человеком.

Они поцеловались, прижались щеками. И оба заплакали.

— Вот как с нами… — сквозь слезы произнес Верховский. — Всего ждал, очень плохого, но чтобы так… Ты давно здесь?

— Почти месяц. А вы?

— Нас вслед за тобой. Прямо сюда. >

— А я на стройке успел побывать. Там много легче. Потом привезли в машине с туркменами, помните их?

— Да-да. И нас тоже разделили. Меня и отца Бориса сюда, а Черемных и Супрунова повезли дальше на север. Вряд ли им лучше.

— Значит, и Борис Денисович здесь?

— Ни разу его не видел. В такой тьме народу, с таким режимом… Что же с нами будет, Сережа?

— Я у вас хотел спросить.

Верховский огляделся и тихо сказал:

— Это лагерь уничтожения. Никто долго не выдерживает. У меня что-то со спиной, как приехал, надорвался. Не могу ходить, только с опорой. И это, представляешь, как спасение. Ты очень похудел, милый. Видно, судьба наша… Ни писем, ни газет, ни посылок. Запрещено, чтобы мы скорее…

— Зачем это надо? Кому?

— Ему. Понимаешь, ему, восточному владыке. Теперь я все могу высказать. Но имей в виду, что здесь любое слово опасно, в бараках много осведомителей, при лагере есть оперативник-чекист, как они себя называют. Уже были новые приговоры и расстрелы. Но не в этом дело. Скажу, чтобы ты знал, если выживешь. В стране после смерти Владимира Ильича произошла тихая контрреволюция. Ее лидер — Сталин. Он такой же троцкист, как и Троцкий. Он устранил не соперника по идее, а соперника за власть, вот в чем разница.

Это жажда к жизни, та самая жажда, которая «юношей питает, отраду старцам придает». Не может быть, чтобы страшное опрокинуло жизнь. Надо только перенести все это, подброшенное судьбой не одному ему, а тысячам и тысячам!

В бараке стало холодновато, видно, печки затухали. С брезентового верха нет-нет и падали капли холодной воды, он уже не пугался их, как поначалу, не вздрагивал. Соседи по нарам что-то бормотали во сне, вскрикивали, храпели. Но жили, даже в таких вот условиях, которые мог придумать только дьявольски изощренный мозг.

Утром не встал еще один туркмен. Будили, толкали, потом тронули лоб, а он ледяной. Вскочили, заговорили в десяток гортанных голосов, явился староста, молча, привычно стащил тело с нар, приказал раздеть, хваткие помощники его деловито вынесли умершего за дверь.

Проходя на завтрак, Сергей увидел фельдшера и двух санитаров: они тянули сани за фельдшерский домик, куда складывали «жмуриков».

В этот день бригада Сергея почти не работала, туркмены сделали костерок и двумя кольцами окружили его, вершили над огнем какой-то ритуал или молитву, проводя ладонями по лицу и бормоча. Морозов направился к тросу. Как и вчера. И еще раньше.

Минут двадцать он смотрел, как пожилой крючник без спешки, но легко ловил крюком движение троса, прижимал рукой тяжелый крюк снизу до тех пор, пока он не изгибал трос, впиваясь в него. Короб дергался и скользил вверх к лебедке, где его опрокидывали и спускали другим ходом вниз.

— Вот так, сынок, чтобы руку не повредить, понял? Ты не первый раз, похоже?

— Не первый. А все боюсь.

— Снизу, снизу. И всей ладонью, а не пальцами, инако оторвет и рукавицу и пальцы.

Не без страха подцепил первый короб Сергей. Получилось. Но лоб покрылся испариной. И второй, и третий короба пошли. Пожилой ушел. Дело ладилось, до середины дня работы хватало. Потом короба стали подвозить реже, еще реже. Все больше костерков светилось во мгле забоя. «Сейчас стрельба начнется», — подумал Сергей, тут же увидел, как со зверским лицом пробежал десятник, как он и еще два вохровца раскидывали костерки, матерились, вели себя очень агрессивно. Что-то назревало.

Туркмены сидели ближе всех, первыми от поворотного кольца подъемника. Они не поднялись и после криков. Справляли поминки по умершему ночью.

Подвезли сразу три короба, потом еще один. В занятости Сергей не заметил как с другой стороны троса подошли четверо военных. Все в белых полушубках, с пистолетами на ремне, двое в пушистых меховых шапках и в белых окантованных бурках, какие

носили высокие дальстроевские начальники.

Короба пошли гуще, охрана растормошила в забое трудяг, Сергей работал и косился на начальство, наблюдавшее за работой. Вдруг услышал резкое:

— И долго вы, майор, будете мириться с таким отставанием? Сорок пять процентов! Что мы будем промывать летом?

— Я уже говорил вам об острой нехватке людей, о больших отходах. За два месяца триста сорок…

— Мы вам компенсировали. Прислали больше двухсот единиц. Отовсюду снимаем. И что же?.

— А каких единиц, товарищ подполковник? Посмотрите на ближних к нам, в папахах. Нацмены! Не умеют и не хотят. Только у костра. Отобрали худшее и сунули мне. И вас, и меня обманули. За это надо наказывать всех, кто не считается с основным производством.

— Что же вы молчали? Откуда прибыли эти папахи?

Майор что-то сказал, подполковник решительно протянул руку по направлению к туркменам, не поднявшихся от костерка, и что-то коротко приказал. Сергей не расслышал, цеплял очередной короб.

— Но я повторяю, товарищ подполковник: мне надо двести, не меньше.

Подвезли еще короба, крючнику работа, а когда вышла свободная минута, он увидел только спины начальства.

И короба как отрезало. Перестали возить. К Морозову подошел десятник:

— Не слышал, о чем толковали?

— Ругали. Вот этого, который майор.

— Это начальник прииска. За что ругали?

— Говорил, сорок процентов плана. Мало людей.

Было около пяти часов. Стемнело, включили прожектора. Но и костерков прибавилось. Конвоиры это заметили, раздались два выстрела подряд. Кого-то увезли. Ближние бригады из последних сил грузили и толкали короба. Все ждали удара о рельсу. Минуты ожидания тянулись бесконечно долго.

Дребезжащий звон мгновенно всколыхнул убаюканный карьер, всё пришло в движение. Быстро построились, пошли в гору, отворачиваясь от едкого ветра. У вахты, пока считали, переминались с ноги на ногу. В стороне от ворот Сергей увидел двое саней, на них лежало пятеро…

И во время ужина, и на пути к баракам, к уборным, Сергей все высматривал Бориса Денисовича, спрашивал по баракам. Тщетно. Видно, не судьба. Не нашел…

Уже перед самым отбоем хотел наведаться к фельдшеру,

может быть, знает? Но не дошел: увидел за домиком тарахтящий трактор с большими санями. Десяток блатарей с тупым стуком бросали на сани трупы людей. Служитель лекпома едва успевал снимать фанерные номерки с оголенной ноги каждого погибшего. На квадратных фанерках стоял номер. Здесь, на «Незаметном» он был четырехзначным. По этим номеркам потом отыскивали «дело» и сдавали его в архив.

Удалось выбрать минутку, спросил фельдшера — не встречал ли среди больных или мертвых Васильева Бориса Денисовича. Тот удивленно глянул на Морозова, сказал:

— Видишь, я занят. Пройди, там на столе книга, полистай. Родственник, что ли?

— Мой дядя, — соврал Сергей. — Говорили, что в бараках, но я не нашел.

Бесконечные списки перелистывал он не с начала, а с середины 1937 года. На «Незаметном», открытом в 1935 году, уже погибло почти четыре тысячи заключенных.

Отца Бориса в списках, к счастью, не было.

Сергей пришел в барак, отогрелся у печки, лениво забрался на нары и все думал о тех бесчисленных 3867 заключенных, заваленных где-то в отработанных карьерах. И о том страшном «ускорении», которое началось с осени 1937 года.

Прав Николай Иванович Верховский: это лагеря для уничтожения. И сколько в них погубят людей — сказать невозможно.

От таких мыслей долго не мог уснуть, вертелся страшный вопрос: а под каким номером уйдет в небытие Сергей Морозов, уже третий месяц причастный к отлаженной машине смерти? И какую причину гибели поставит против его фамилии лагерный фельдшер?

Всё, что произошло на другой день, казалось игрой случая.

В утренней беготне по освещенной прожекторами зоне, в толчее столовой взгляд Сергея скользил по сотням лиц в надежде найти отца Бориса. Как только кончился завтрак, он побежал в барах и пробрался к месту, где лежал Николай Иванович, чтобы сказать ему о своих пока безрезультатных поисках. Но Верховского на нарах не было. Кто-то из соседей видел, как ему принесли костыли и велели идти к лекпому. Значит, до вечера. Утром уже не успеть. И он пошел к вахте.

Колонна уже построилась у ворот, сжалась, теплое дыхание видимым облаком подымалось в черное небо, люди топтались с ноги на ногу. Никто не разговаривал. В воротах стояли нарядчик и начальник охраны, они пропускали мимо себя просчитанные бригады и передавали конвоирам, толсто одетым в тулупы, с

винтовками в обнимку.

— Третья бригада… Четвертая, пятая… Четырнадцатая — стоп! — вдруг скомандовал нарядчик и повелительно указал рукой: — В сторону, быстро, быстро! Пятнадцатая, шестнадцатая… Да не спите вы на ходу!

Нарядчик прогонял мимо четырнадцатой длинный строй, а бригадир этой опасно оставленной бригады Сергей Морозов не знал, что и подумать. Куда их? За что?.. Вдруг стало страшно. Они не выполнили и половины недельной нормы, несмотря на всякие хитрости и приписки десятника. Туркмены беспокойно переговаривались, поблескивали глазами из-под лохматых папах.

Когда ворота закрылись, нарядчик скомандовал:

— В барак! Не раздеваться, ждать вызова.

Слава Богу, не в карцер. Может быть, на новую работу, за дровами? Это был бы подарочек, посидеть у костра, обжигая лицо и руки. Блатная работа — нарубить столько молодых лиственниц, сколько можно унести. Такую работу ежедневно выполняли бытовики, они ходили без конвоя.

Туркмены расшуровали в пустом бараке печку, облепили ее, как черные тараканы хлебную дёжку в избе, сняли папахи, сидели, стояли поглаживая коротко остриженные головы, калякали по-своему. Какие же они худые, подумал Сергей, увидев их без папах. Лица, обтянутые смуглой кожей, все косточки на виду, в чем душа держится. А в глазах голодная тоска, предвестница смерти. Себя он не видел, не хотел видеть. Такой же, конечно.

Морозов не полез на нары. Деловито обошел обе стороны барака, осмотрел потерянно лежащих больных, обмороженных — с тем особенным запахом распада, который сопровождал их. Спрашивал о Верховском. Нет, не видели они Николая Ивановича, не знали отца Бориса.

Тогда он пошел на фельдшерский пункт.

— Ну, зачастил, — сказал лекпом. — Чего еще?

— У вас не лежит Верховский, такой высокий блондин, позвоночник у него…

— Лежит. Его в больницу отправляем, в Оротукан. А что?

— Увидеть бы. Дядя мой, проститься надо.

— Иди, — немного помешкав, разрешил лекпом. — Много у тебя дядьев…

Николай Иванович лежал у окна, на вершок покрытым льдом, спина в самодельных лубках, они его приподымали, лежать, конечно, неудобно и, наверное, больно. Обрадовался, руки поднял, на глазах слезы.

— Какими судьбами, Сережа?

— Искал отца Бориса по всем баракам. Решил заглянуть сюда. Мою бригаду завернули от ворот. Какая-такая причина, не могу понять. Как вы?

— Увезут меня, Сережа. В больницу или куда… Болезнь серьезней, чем думалось, могут отняться ноги. Лежачий до конца дней. Может, и к лучшему, здесь так и так — конец.

— Ну что вы! Обойдется, вот увидите. А что в больницу… Все-таки лучше, чем в забое.

— Прошу тебя еще раз… При первой возможности сообщи моим, домой. Только без всех этих ужасов, иначе письмо не дойдет. Напиши, что я жив, работаю и все такое. Адрес не потеряй. И остальных наших ищи, Бориса Денисовича, командира, Супрунова. Уж раз мы сошлись в этом аду, останемся братьями до конца.

Он говорил, а Сергей смотрел в голубые выцветшие глаза его, на красневшие пятнами щеки и думал — долго ли он выдержит?

— У вас температура?

— Кажется, да. Знобит.

В прихожей раздались голоса. Вдруг начальник лагеря? Сергей поднялся..

— Ну, иди с Богом, — прошептал Верховский. — Спасибо, что навестил. Поцелуемся…

Сергей ощутил сухие и горячие губы больного. В глазах у него пощипывало, еле сдерживался. Пожал руку и боком, боком вдоль кроватей направился к выходу.

— Ты все здесь? — раздался голос фельдшера. — В рабочее время?

— Бригаду повернули на вахте. Почему — не знаю. Проведал дядю, тот, у которого спина.

— Хорошо, что простился, — фельдшер понизил голос. — Пока будет наряд, пока увезем, у него болезнь тяжелая…

В бараке жарко горела печь. Никто не заходил. Почти все туркмены посапывали на нарах.

Сергей уселся около печки, расстегнул полушубок. Неужели Николай Иванович умрет? Эти тихие слова фельдшера, эти сухие обжигающие губы, разговор о семье, как завещание… Великой честности гвардия, прошел всю гражданскую войну. Вот как исчезает интеллигенция.

Почти до обеда бригаду не тревожили. Сергей дремал у печки, вздрагивал, когда хлопала дверь, широко открывал глаза.

И в этот раз, когда вошел нарядчик, он испуганно и быстро поднялся.

— А ну, лодыри несчастные, на выход! С вещами. Будь моя воля, я бы вас в штрафную, чтобы завыли волками. К вахте

быстро! Одна нога здесь, другая там!

Туркмены суетились, спорили. Морозов скатал свои немудрые пожитки, сохранившиеся среди всеобщего воровства и потому особенно дорогие. Первым пошел к выходу, оглядываясь, не отстают ли. Нет, все шли кучно, бушлаты поверх халатов, папахи надвинуты на самые брови.

Пришли, построились. За решетчатыми воротами видели машину без крытого кузова. На борту ее грудой висел брезент.

Нарядчик называл фамилию, по одному отходили в сторону. Назвал и Морозова, удивился, словно впервые увидел, спросил:

— Как тебя угораздило в эту компанию?

— Откуда я знаю. Так в магаданских списках было.

— Считай, судьба, парень. Мыкай с ними.

Открылись ворота, их выпустили. Конвоир с винтовкой вылез из кабины, скомандовал:

— В кузов залазь! На скамейках по пятерке. Брезент расправьте от кабины. И на головы. Значит, восемнадцать?

Он расписался, встал на подножку, поглядел, как под брезентом исчезают папахи.

— Поехали! — И хлопнул дверцей.

Без разъяснений, без разговоров их увозили куда-то в неизвестность. Какая она ни будь эта неизвестность, наверное, хуже прииска не получится. Уж это-то Сергей твердо знал. Приподняв брезент, сказал в темноте:

— Помолитесь своему Магомету или кому там…

Приготовились к дальней дороге, а машина прошла минут сорок и остановилась.

— Вылазь! — приказал конвойный. — Прибыли на курорт.

Скатали брезент. Сверху, из кузова, Морозов увидел четыре огромных барака, еще две постройки в зоне и вспомнил: это же пересылка, они ее проезжали, когда ехали на прииск. Значит, их отправляют за пределы «Незаметного». На другое производство? Или в штрафную зону как злостных саботажников. Или… А вдруг?.. И тут сердце забилось скоро-скоро. Вдруг снова на дебинскую стройку? После прииска тот лагерь и стройка с ее теплым сараем и бетономешалкой казались отсюда милым местом. Все познается в

сравнении. Неужели ему «повезло» с туркменскими спутниками, которых запросто выпихнули с «основного производства»?

Да, именно так! Он вспомнил начальство в белых бурках, жалобы начальника прииска на «отбросы», которые ему привозят. И решительный жест старшего по чину, который лучше слов означал: верните туда, откуда привезли. Чтобы неповадно было.

Неспособность этих смуглолицых южан к тяжелому труду в морозную стынь спасла и его, волею случая вписанного каким-то лагерным канцеляристом для ровного счета на один листок с туркменами.

Не случись этапа, его самого хватило бы ну еще на три, на пять месяцев.

С великим страхом смотрел сейчас Морозов на жуткие бараки, куда с прииска отправляли инвалидов и стариков, хронических больных, вообще непригодных к труду. Его бригада не должна задержаться здесь. Ведь их воз-вра-ща-ют! Наверное, для того чтобы проучить дебинских начальников и получить взамен крепких, неизношенных людей, еще способных крошить ломами мерзлые «пески» и возить короба к ненавистному молоху-отвалу.

Кого благодарить за случай? Не того же подполковника, у которого в душе нет и крошки милосердия?

Потянулись дни ожидания.

В бараке было не тесно, но очень душно. Все здесь пропиталось каким-то устойчивым, пресно-приторным запахом медленного гниения, застарелых болезней, резким запахом карболки — этого универсального лагерного лекарства. Люди лежали без стонов, без надежды, примиренно, по-христиански — тихо ожидая печального конца.

Тех, что уже не подымались, кормили ходячие, но тоже как-то равнодушно, по обязанности. Не хочешь — не надо, съем твою баланду, не пропадать же добру… Утром по бараку ходил пожилой доктор с отрешенным лицом человека, привыкшего к виду страданий и смерти. Он осматривал живых, задавал два-три вопроса и переходил к следующему. Позже являлась команда со скрипучими тачками. Помощник доктора указывал, куда подъехать, команда стаскивала мертвые тела, бросала в тачки и увозила. Предкладбищенское чистилище, откуда мертвых увозили к месту погребения. Иногда где-то поблизости между двух сопок раздавался звук, похожий на пушечный выстрел. При взрыве аммонала возникали ямы для тех, кого вывозили на тачках.

Похоронная команда состояла из молодых парней с сытыми лицами, на них сохранялось презрительное, тоже сытое выражение некоего превосходства. Лагерная аристократия из уголовников. Они всю жизнь ненавидели вот этих работящих интеллигентов, а здесь получили беспредельную власть над ними. Молодчики работали без суеты, матерились без злобы, скорее для речевого разнообразия. Туркмены и Морозов их не интересовали, даже обыскивать побрезговали: что возьмешь с

вернувшихся оттуда?

Из этой зоны, устроенной на перевале между двумя речными долинами, открывался вид на унылые, в мелкой и редкой лиственнице, склоны холмов. Тут свободно гулял ветер, шипела низовая метель-поземка. Каждые три дня со склона, по наезженной колее отправлялись сани со своим «грузом». В оглобли с веревками впрягались эти же хлопцы, они гоготали, как лошади, матерились, тянули под гору рысью и скоро возвращались назад; четверо везли, двое-трое восседали на освободившихся санях. По тому, как скоро они возвращались, Сергей понял, что могил не зарывают. До весны, наверное. Когда земля оттает.

Один раз за эту неделю на пяти машинах прибыл этап. Остановились на ночлег и санобработку. Судя по одежде, этап был из Магадана. В своем… Бригада могильщиков оживилась.

В санпропускник новых отправляли партиями. Командовал нарядчик. Его подопечные не спеша обыскивали всю оставленную в предбаннике одежду. И не стеснялись других заключенных. Ограбленные звали нарядчика, начальника лагпункта. Те привычно отвечали:

— Пишите жалобу и укажите фамилию подозреваемого.

Фамилии членов вороньей стаи никто, естественно, не знал, а когда ограбленный указывал пальцем, вор взрывался в благородном гневе и накидывался на жалобщика. Избиения, как говорили потом в бараке, случались страшные: заключенные были слабы и разобщены, «стая» дружна и сплочена единством «дела». Нарядчик получал свою долю. Должно быть и на воле он был достаточно-опытным аферистом или вором.

На восьмой, кажется, день с прииска подошла машина с пустым кузовом, даже без брезента. За грузом в Оротукан. Пришел нарядчик, сказал Сергею:

— Могу отправить, если не боитесь холода.

— Далеко? — вырвалось у Морозова.

— Нет. К вечеру уже на месте, если повезет с дорогой. Заметает, кое-где чистить придется. Лопаты надо взять.

Туркмены согласились. Жизнь в этой кладбищенской зоне, на пайке штрафников, казалась невыносимой. И через полчаса, усевшись как можно тесней с конвоиром в кабине, они отправились дальше, только бы дальше от прииска, где их не успела зацапать смерть.

К счастью, зимник не был особенно переметен, лишь раз или два пришлось очищать переметы, согревались в работе. И снова ехали под гору. Вечером спустились на Колымское шоссе. Последние два-три десятка километров машина неслась,

вписавшись в ритм непрерывного движения на север. Туркмены лежали в кузове лицом вниз, чтобы как-то спастись от ледяного ветра. Наконец, под колесами застонали доски мостового настила. Сергей поднялся, увидел внизу реку, белые вершины хребта слева, а близко от дороги — казармы внутренних войск. На той стороне светился прожекторами лагерь строителей.

ШАГ К ИЗБАВЛЕНИЮ

Каким добрым, многообещающим и, главное, теплым показался ему этот знакомый лагерь, хотя режим там был почти такой же, как и на прииске. Зато работа другая. Вроде, как домой приехал. И его спутники повеселели.

Около вахты шофер, конвоир и Сергей просто стаскивали на землю застывших туркменов. Не слушались ноги, опасно дергались щеки. Спешили и принимавшие. Нарядчик удивленно развел руками:

— Ну и подарочек! Вот уж не ожидали. Начальство схлопочет по выговору. Значит, и тебя, Морозов, за компанию?

— «Значит. — Язык у него плохо слушался. — В одном списке.

— Давай в третий барак. Ужина вам не будет. А завтра как все — на работу.

Голодные, обессиленные, гуськом вошли в барак и сразу оттеснили от печек старожилов. Дневальный подбросил дров, а через десяток минут туркмены уже заговорили все сразу, стали размахивать руками, что-то доказывали, подталкивали Сергея, указывали на дверь.

— Спать, спать до утра, тогда завтрак и работа…

Утром их кормили после всех. И в этом была некая нечаянная справедливость: баланды было больше и она была гуще. Побольше каши, просторней в столовой. Почему-то пахло щами, кислой капустой, забытым уже запахом.

После завтрака Сергея Морозова отделили от туркменов. Нарядчик сказал ему:

— Все! Наездился, парень. Тебя бетонщики берут, помнят. А твоим друзьям в папахах придется ехать дальше. Ой, далеко!

Не позавидуешь. До обеда погрейся, бригада явится на обед и заберет с собой. Ну как там? — поинтересовался прииском.

— Ад, — коротко ответил Сергей, — не приведи Бог.

— У нас ведь тоже не мед, знаешь.

— У вас кислой капустой пахнет. — И Сергей улыбнулся: — Как в ресторане…

— Учуял? По первой категории выдают. Старайся. Вместо баланды щи с горбушей, тут цинга уже подстерегает.

Бригадир бетонщиков пришел за Сергеем утром. Поручковался, покачал головой.

— Сдал ты с лица, парень. И побледнел. Вроде и глаза тебе поменяли — такие скушные. Я ведь всяко отстаивал, не соглашался, но твоя статья… На прииск — и точка! Оперчек за

этим следит. Кого на прииск, кого на «Серпантин».

Это странное слово Сергей услышал впервые. Оно звучало еще более зловеще, чем прииск. Расспрашивать постеснялся, сказал:

— *Я* готов. С тачкой управлюсь.

— Мы тебе дадим отдохнуть, как раз нам грамотный человек нужен при бетономешалке. Подучу, и тогда ты будешь вроде забронированный кадр. Начальник стройки не отдаст оперчеку, если тот вспомнит про твои буковки. Пошли на завтрак.

Так в утренней темноте для Сергея Морозова забрезжил светлый луч. Его проклятая КРА, даже с редчайшим трехлетним сроком, постоянно висела над головой, как дамоклов меч. Вдруг мелькнуло: над всеми его утерянными друзьями с их КРД и КРТД висит такая же опасность — прииск, недолгая работа, истощение и смерть.

Антон Иванович, фактический руководитель стройки, сорокалетний инженер-строитель Московского метрополитена, со статьей 58 пункт 7, как вредитель, имел десять лет за тот известный всей Москве пожар и обвал на Метрострое около здания Метрополя. Но его судила спецколлегия, так получилось, что он не оказался среди особых — политических и уже тем осчастливлен, что его не расстреляли, как это сделали с шестью другими инженерами, и не отправили «дело» на Особое совещание, где полковники НКВД только по протоколам допроса выписывали кому пять, кому восемь или десять лет заключения, а иным и расстрел. Без права обжалования. Антон Иванович угодил на Колыму, здесь инженеры всегда требовались, его назначили бригадиром на строительстве четырехэтажной казармы для внутренних войск — у стратегически важного места, где и мост через Колыму, и разветвление автодорог, в сущности середина адова кольца в триста километров диаметром, с основными стабильно работающими приисками Южного, Северного, Западного и Чай-Урьинского горно-промышленных управлений по семи или десяти отделений в каждом.

Антон Иванович дело знал. Еще ранней зимой он предложил свой способ укладки бетона в условиях жестокого мороза. И получил право бесконвойного хождения, право переписки с семьей и одной посылки в год. Человек русской души, он теперь, как мог, старался облегчить участь сотоварищей по работе, вырвал у начальника стройки согласие на самостоятельный подбор строителей. Перекрытие подвального этажа завершил до намеченного срока, доказав свою изобретательность и способность организатора.

Сергея Морозова он «упустил», как сам признался, по

незнанию. Тогда на стройку явился оперчек, сказал, что у него на бетономешалке опасный преступник, место которому только на прииске. О возвращении Морозова Антону Ивановичу сказали в тот же день. И он сам пришел за Сергеем.

— Так вот, теперь мы с оперчеком поладим. Скажу начальнику строительства о тебе, как о дипломированном строителе и заручусь его поддержкой. Какой же ты опасный преступник — с детским сроком в три года? Теперь такие сроки не выдают. Последний этап в метель загнали к нам в барак, две ночи ждали, пока трассу очистят, так я разговаривал с некоторыми. Десять, пятнадцать лет, вот как нынче «выдают»!

Инженер был плотен, невысок, с лицом интеллигентным, немного лукавым. Он каким-то чудом сохранил и поддерживал аккуратную, уже седеющую бородку, светлые глаза его излучали приветливость, на щеках лишь наметились морщинки старости. Ходил быстро, энергично, за ним никто не успевал, а говорил так, что заслушаешься, вставлял поговорки, смешинки, английские фразы — и все с улыбкой, с неугасимой добротой. Видно, до лагеря был душой всякого общества. В лагере его звали «батей», он отвоевал и отгородил себе в бараке «кабинет» со своей печкой, столом и настольной лампой. Была у него какая-то чудная складная кровать, которая на день исчезала, будучи сложенной. Питался он со всеми вместе, но раздатчики выделяли его из очереди и неизменно подливали больше баланды, а каши — так горкой. Жалели инженера, как и он жалел своих рабочих.

При помощи Антона Ивановича Сергей скоро освоил немудрую бетономешалку, рецептуру раствора из цемента, песка и гравия перевел с веса на меру, сделав ящики, раствор всегда получался стандартный. Тратили они английский портландцемент, завезенный, судя по бумажным мешкам, давно, еще из Канады.

Часы и сутки проходили в работе, в походе на строительство и обратно, в очереди за пайкой и баландой, в коротком, крепком сне. Мысль о смерти, так часто посещавшая его на прииске, здесь исчезла, к монотонности бытия он уже привык и с грустной улыбкой дожидался того «юбилейного» дня, когда ему останется ровно два года «под колпаком». Третье марта, как говорится, на носу.

Однажды он увидел у соседа по нарам, бытовика, газету, потемневшую на сгибах. Хотел, было, попросить, но сосед так глянул на него, что отбил всякую охоту к сближению. Более того, он сразу же припрятал газету и с какой-то особенной жестокостью прошептал:

— Кому трепанешься — убью! Понял? Мне это запросто…

За добытые каким-то путем старые газеты заключенным добавляли срок, как за новое преступление. Сергей так и не мог понять смысла подобной строгости. Раз они преступники, то их и надо, прежде всего, просвещать, а для этого хорошо бы знать, как страна движется к светлому будущему и как ей помогать в этом движении. Увы!..

Не удержался, рассказал об инциденте «бате». Конечно, без упоминания соседа.

— Простота ты деревенская, Сережка! Чего нашего брата просвещать и дразнить? Что для тебя статья о постановке в Киевском театре «Тараса Бульбы» композитора Лысенко? К чему знать, что ее ругают — она не так героически поставлена, как положено в наше героическое время? Или, что пышно отмечена двадцатая годовщина ОГПУ — НКВД. Только в Москве наградили орденами четыреста работников НКВД, может, и твоего следователя тоже. А уж моего-то непременно! Ну, наградили, так тому и быть. Не прочтешь — и не позавидуешь. Когда ты на своем «Незаметном» породу кайлил, мы тут из-за моста военную музыку слушали и крики «ура!». В том городке, где красноармейцы живут. Они парад устраивали. И зачем знать, что Папанин на Северном полюсе? У нас своя серьезная работа, планы, нормы, за что обеды-ужины получаем. Хватает? Не голодный?

— Да как вам сказать… — Сергей смутился. Выросший без отца, он вдруг как-то живо представил себе отца вот таким добродушно-ворчливым, понимающим всё и вся, способным и горькое горе обращать в тихую радость.

Зима катилась к концу, бетонщики работали ладно, получали еду по первой категории, словом, жили спокойно. «Батя» уже мостился на перекрытии первого этажа, строительное начальство ходило с гордо поднятыми головами. И вдруг… Кончился бетон.

Не оказалось цемента в Дальстрое. Вот и свяжись с Канадой… Туда-сюда запросы сделали — нет цемента. Радиограмму в Магадан. Нет. И не будет до начала новой навигации. Сворачивайте работу. Каменщики еще продолжали кладку стен, но как же без перекрытия? «Батя» посерел и перестал холить свою бородку. Когда Сергей зашел к нему в «кабинет», Антон Иванович сердито сказал;

— Расформируют лагерь. Не одному тебе, а всем строителям, да и мне тоже придется ехать на этот, как его? — на «Незаметный». Да! На промывку песков. Чушь какая-то! Нет, мы иначе сделаем. Подберу десятка два самых надежных ребят и отправлю вас на лесозаготовку. Леса нам много надо: опалубки, доски, то-сё. И сам, если горячо сделается, с вами поеду. Черт знает что! Им ордена горстями сыпят, праздники пышнее Пасхи

закатывают, а они цементом одну стройку не могут обеспечить. Ходят, животами трясут. Чекисты называются…

И вдруг резко поднялся, рывком открыл дверь в барак: не подслушивают ли? «Спокойнее, спокойней, Антон Иванович, — сказал самому себе. — Им видней, наше дело — исполнять. И на Метрост-рое им опять же было видней — никакой техники безопасности, только гони погонные метры. А отыгрались на нашем брате. Решено, поедешь, Сережа, в лес. Точи топор, направляй пилу-двухручку. Я здесь отсижусь до весны, работой проектировщика обеспечен, это ни котам хвосты крутить. Так что, милый, не тревожься».

Никак не мог уснуть Сергей после этого разговора. Ворочался с боку на бок и все думал: вдруг — на прииск… Здесь он почувствовал себя снова человеком. А если опять все с начала?..

…Впереди шел трактор, большой, дребезжащий, старенький ЧТЗ. Он вез сани и уминал снежную дорогу. За ним двумя цепочками вышагивали по колее семнадцать самых умелых строителей, которых хотел сохранить Антон Иванович: плотники, каменщики, бетонщики. Среди них был и Сергей Морозов. Все в берзинских полушубках, валенках, при теплых рукавицах. На санях лежали матрацы, одеяла, кухонная посуда — гора необходимых вещей для жизни в тайге. Рядом с трактористом сидел бригадир Михаил Михайлович Машков, он часто вставал, держась рукой за плечо тракториста, и с этой высоты просматривал впереди местность. С любопытством оглядывался по сторонам и Морозов. Северная экзотика…

Направлялись они от Колымской трассы на юг, куда местность постепенно понижалась. Далеко за сопками горделиво, бело и жутковато выпирал в небо зубастый горный хребет. Через него с верховьев пробивалась сюда река Колыма. Не часто, но и на белом фоне темнели пятна: еще не вырубленные леса. Вблизи вместо лесов встречались только вырубки. Память о лесах, которые уже не поднимутся.

Шел неяркий зимний день с первыми приметами ранней весны. Воздух был чист, холоден и необычайно прозрачен, как на картинах Роккуэла Кента. По бледному, с голубизной, северному небу плыли редкие облака. Вспомнились Джек Лондон и Сетон-Томпсон: такая ширь, таинственная природа и безлюдье пространства.

Подались правее, вдоль опасного склона. Трактор осторожно обходил пеньки. Вдруг возник остов большой лагерной палатки, из-под снега торчали клочья брезента. Остановились, деловито вытащили три больших куска. Пригодятся.

Уже к вечеру увидели перед собой уютную неширокую

долину с небольшой речкой. На той ее стороне, прямо у отвесного размыва стеной стояли стройные и высокие лиственницы. Под ними было темно и жутковато. Ветки густо облеплены снегом.

— Вот этот самый! — крикнул бригадир с трактора. — Уцелел до нашего прихода, родимый! Небось и зверь еще хоронится. Давай вперед! Тут лед такой, что не провалится, спокойный ручей. Проедем вдоль, отыщем, где пологий берег, и выберемся. Там и осядем.

Скоро отыскался распадочек, трактор, задрав радиатор, пыжась и перегреваясь, полез вверх, работяги попрыгали с саней и снова пошли сзади, увязая в сыпучем и хрустком, как сахарный песок, снегу. Немного повиляли по лесу, нашли полянку и сразу взялись за лопаты, расчищать снег. Ломами долбили ямы под столбы каркаса, долго и с беззлобными матерками расправляли жеванную временем палатку, наконец, вытянули ее. И возник дом со стенами и крышей, в дыры которой заглядывал вечерний отсвет. Сергей с напарником спилили пяток лиственниц и разделали на коротыши для нар. Две другие пары резали деревья, чтобы срубить конвоиру теплую клеть-избушку. Ночевать ему с винтовкой в общей палатке с заключенными не полагалось.

Тракторист хотел, было, ехать назад, но его отговорили: одному опасно, вдруг машина заглохнет и встанет. Закоченеешь. В радиаторе лигроин, как и в моторе, это почти что бензин, он не замерзает и при пятидесяти градусах. Но легко воспламеняется. В общем, опасная штука.

Все накрыла темная ночь. Запалили три костра, промороженные ветки с сухой, не опавшей хвоей занялись весело, пламя высокое, хоть пляши вокруг. Грелись, и работали. Часов до одиннадцати палатку утеплили, хатку поставили, снегом с боков обвалили, на потолок — брезент и опять снег сверху, печку внесли. И загудело пламя, стены помокрели, паром пошли. А заместо дверей — тоже кусок брезента. Конечно, до полного уюта далеко, но вохровец не замерзнет, если будет подкидывать в печку. Парень он оказался покладистый, винтовку в сторону и давай разделывать сухостоину. Поленья горкой сложил у порога. И завалился спать.

Большая палатка тоже обрела живой вид. «Летучая мышь» осветила ее, бочка на камнях, труба — в небо. Нары по сторонам. Пока печка горела, было тепло, даже жарко. Хоть и тесно, зато в уюте. Таежный дом.

Когда поели горячей каши и выпили морковный чай, Сергей вышел на недалекий берег и огляделся.

Эта река называлась Дебин, она впадала в Колыму километра за два или три отсюда, но делала по пути две крупные петли.

Долина по берегам реки не везде была лесистой, ниже по течению лунный свет поблескивал и на чистом снегу полян, скорее всего, болот, промерзших до вечной мерзлоты. Сама река Колыма отсюда не просматривалась, но верх ее крутого правого берега выглядывал выше бугристого пространства, которое лесорубы пересекли по дороге сюда. И такая тихая ночь стояла, такая луна глазела сверху, так пахло замороженным лесом, чистотой, что Морозов улыбнулся и вдруг понял: и на Колыме природа прекрасна, если не пачкать ее грязью, кровью, не губить мрачными карьерами с трупами.

С утра лесовики взялись за работу.

Лес валили всплошную, лиственницы стояли одна в одну, как свечи, не толще телеграфного столба. Разделывали на четырехметровые бревна, обрубали сучья и жгли их в кострах. Пламя столбом подымалось к небу. Не торопились, садились перед кострами на перекур. Одну цигарку по очереди выкуривали трое-четверо. Сергей не курил и в такие минуты делал короткие походы по глубокому снегу — не терпелось проникнуть в лес подальше. По-зимнему мрачный и темный, он ничем не тревожил. Медведи спят, птицы улетели, разве что заяц или лиса где-нибудь… Заячьи следы обнаружились, он пошел вдоль них и увидел место, где они резвились: утоптанный, слегка пожелтевший снег.

В нем заговорил дикий предок-охотник. Если нет ружья, почему не поставить петли? Вкус мяса давно забыт. Вдруг удастся зайчатину попробовать?

Это были хорошие дни с работой по силам, с покоем, со свободой, которая в лагере и не снилась. Пилили лес весь короткий день, ели перловку по утрам и после работы, когда собирались в палатке. Охранник с винтовкой спал часов по пятнадцать в сутки. Когда из трубы его избушки долго не шел дым, ходили проведывать — не замерз ли, уснувши? Он был очень молод, скоро привык к своим подопечным, звал по именам и даже пристроился есть из одного котла. А лесорубам отдарил связку воблы и с килограмм пиленого сахару, которого они не видели много месяцев.

Звали стражника Авдеем. Был он вологодским крестьянским сыном, сильно окал, пел смешные крестьянские частушки. Угодил на призыве в войска НКВД и оказался на Севере.

Кто-то спросил его:

— Ну как, Авдей, приходилось тебе нашего брата стрелить?

— Бог миловал, — напирая на «о», отвечал он. — Иной раз пулял для страху поверх голов, а чтобы в человека, того не было. Нехорошо это.

— А вот ходил разговор, что на приисках расстреливают. Что, если и тебя заставят?

— Зажмуркой стрельну. Выставлю винтовку и дерну спусковой крючок.

— И попадешь, пожалуй, ай нет?

— А я повыше. Поддерну снизу перед спуском, как учили товарищи, так оно незаметно.

— Это когда по толпе, тогда незаметно. Ну а если один на один?

— Не приходилось. Есть у нас и такие, которые даже хвастались: я — троих, я — двоих… Меня мутить начинает, когда о крови разговор. Мать в младости не раз поучала ценить всякую жизню. От комендантского взвода я отбоярился. Там за подстреленного угольничек в петлицу цепляют. Четырех стрелит, лейтенанта дают. А какой из меня лейтенант, да еще такой ценой? *Я* хочу срок отслужить, да в деревню свою, Балуй называется. У меня там и деваха есть. Ждет. У нас покойно, красиво…

Сергей уговорил Авдея сделать лыжи. Вологодский с охоткой согласился. Нашли подходящий сухостой, свалили звонкое дерево, в бригаде была плотницкая пила, выпилили с помощью брига-дира-плотника четыре доски, из кусков брезента пошили ремни. Толстоваты получились лыжи, но на них и по глубокому снегу можно. Сергей для пробы сходил к заброшенной палатке, отыскал там колючую проволоку, принес моток и бросил в костер. Помягчевшая «колючка» хорошо развивалась, и они с Авдеем сделали вяток петель для зайцев.

Вологодский и в этом деле мастером оказался. Петли сам ставил, Сергей только смотрел. Нашли заячью тропу и пошли вдоль нее, пока не попался узкий проход меж двух стволов, где заяц подскакивает и пролетает над снегом. Тут его и будет хватать петля. Так они в одно утро три тушки принесли. Обедала бригада по-барски, только косточки похрустывали. Авдею и Сергею — лучшие куски. Добытчики.

Как раз в тот день вспомнили, что надо о себе доложить, иначе пришлют проверку. С трудом раскочегарили старый трактор, загрузили сани для первого раза наполовину, а утром с трактористом поехал Сергей и еще один каменщик — высмотреть и узнать, как там на белом свете, Антона Ивановича расспросить.

Всю дорогу Сергей сидел рядом с трактористом, вспоминал, как управлять этой старенькой машиной. Когда-то практиковался на ней, но успел забыть. А тут — по холоду — особый навык требуется.

На ровном участке он рискнул, повел машину. Рукоятки

реверсор тугие, тянешь на себя, вспотеешь. Глянешь сбоку на мотор, там из карбюратора капает, чуть ниже патрубки разогреваются до красноты. Опасное дело. Когда сел на свое место, спросил тракториста:

— Не боишься на таком?

— А почто бояться?

— Горючее капает. Попадет на патрубок, вспыхнет — и все. Взлетишь…

— Я подтягиваю, доглядаю. Вообще-то, конечно… Особенно на подъеме, когда на полном газу. Шестьдесят литров в радиаторе, бабахнет, молекулы собирать придется. Уцелеешь, тоже не мед: вышка обеспечена. Зато пока живой — кило хлеба в пайке.

На стройку они приехали ночью. Первый этаж казармы стоял тихий, вокруг светились редкие фонари. Даже сторожа не было. Затихла стройка.

Оставив трактор, пошли ночевать в лагерь. Дежурный на вахте целый допрос учинил: кто да откуда? Видать, про их бригаду забыли. Пустили, наконец. Тракторист пошел спать, Сергей, конечно, к инженеру.

Антон Иванович при яркой лампе сидел в своем «кабинете» над чертежами. Позднему гостю обрадовался:

— Садись, раздевайся. С грузом? Ночуешь у меня. Пожевать найдем чего. Рассказывай.

Страшно стало Морозову, когда несколько позднее он узнал от инженера, что почти двести заключенных уже увезли на прииски Северного управления, центр которого в поселке Ягодный. Во время он спрятал в лес строителей!

Попили чаю. Был и хлеб, и кусочек сала.

— Здесь осталось всего восемьдесят человек. Вместе с лесной бригадой около ста. Но боюсь, что начальство стройки не сумеет удержать и этих восемьдесят. Подчищают на всех лагпунктах. По шоссе машины с людьми — вереницей. Новое начальство знаешь?

— Вы о Павлове?

— Это глава Дальстроя, комиссар госбезопасности. Его в лагерях Дылдой прозвали. Мясник… А вот лагерями теперь заправляет полковник Гаранин, этот еще мрачней, чем Павлов. Молодой,'но зверь-зверем. Тут двух наших калек не приняли на прииске в Оротукане, вернулись через неделю. Они рассказали, как туда приезжал этот Гаранин. С комендантским взводом, ну, с этими, которые… Потребовал список всех, кто по Особому совещанию и не выполняет норму. Дали ему фамилий триста. Не читая, он подчеркнул пятьдесят фамилий с начала. А вечером, перед сном, лагерь вывели, построили и зачитывают перед

строем: «За контрреволюционный саботаж, за лагерный бандитизм — чуешь? — за невыполнение норм и антисоветскую агитацию, следующих заключенных…» Начальник лагеря называет фамилии с первого до пятидесятого, кого называет, тот идет к вахте, в кольцо охраны, и, как назвал всех, тогда дочитывает приказ: «…приговорить к смертной казне — расстрелу. Приговор привести в исполнение немедленно». В бригадах — гробовое молчание. Обреченных гонят к отработанному карьеру, приказывают раздеваться на морозе до белья, потом один залп, другой, весь лагерь слышит, кто падает без сознания, кто плачет, кто молится… Так вот наводят нынче «порядок», ездят от одного лагеря к другому. Что побледнел? Я когда услышал, чуть в обморок не упал. Поразмыслив, понял: на старости лет пришлось-таки увидеть инквизицию. В двадцатом, цивилизованном веке. Представляешь масштабы? Если в одном лагере — пятьдесят?..

— Наверное, прииск «Незаметный» они тоже навестили, — прошептал Сергей. — И будь я там со своими туркменами…

Антон Иванович сидел, опустив седую голову. Ни с кем не делился страшной новостью. Только с Сергеем, ведь очень тяжело носить в себе такие сведения, ту тяжкую меру страха, что сковывает человека крепче кандалов. Хоть с молодым другом душу отвести… Сказал тихонько:

— Новый метод расчета с неугодными: ни суда, ни следствия, ни прокурора, ни последнего слова. Расстрелять — и всё. Властью, данной полковнику Гаранину. А позже — вот увидишь — и его самого. Чтобы не оставлять свидетелей. Подобного произвола в истории человечества еще поискать надо.

Он говорил с болезненным придыханием, он страдал, этот красивый стареющий, многоопытный инженер, «загудевший сюда, — как любил выражаться, — за чужие грехи». Никогда не интересовался он политикой, с присущей ему иронией прочитывал газетные строчки о достижениях, бдительности, классовой борьбе в той ее кровавой форме, которая и не снилась основателям идеи социализма. Инженер был и оставался человеком дела и науки, без которой, считал, нет прогресса. Теперь он охотился за газетами, жадно прочитывал их, если удавалось получить у главного инженера, вольнонаемного его коллеги. Куда идем? Взволнованный, с покрасневшими щеками, сидел он, сутулясь, и долго молчал, не в силах переключить воспаленную мысль на другие темы.

Очнувшись, вздохнул и посмотрел на притихшего Сергея:

— Да, вот такие времена. Все! Довольно о тревогах! Давай-ка на сон грядущий еще раз выпьем чайку. Будь хоть малейшая

возможность достать спирту, право, запил бы горькую! Такая тоска!

Они легли спать голова к голове. Но оба долго не засыпали.

— Антон Иванович, — вдруг снова прошептал Сергей. — Но вы-то чем опасны? Не знали, а вот…

— Не знал, Сережа. Жил в своем мире, своими делами. Это пришло уже здесь.

— Я тоже жил своими делами и не вдавался в политику. Только однажды сказал слова в защиту Ленина. И сейчас готов повторить: не мог же Ленин окружить себя шпионами, диверсантами и мерзавцами, врагами революции!

— Вот-вот. Это и есть криминал. Молодой, а уже догадываешься. Потому и Особое совещание, а не суд. На суде тебе слово дадут, ты и пойдешь при свидетелях резать матку-правду. И я тоже догадывался, но молчал. И все же кто-то, где-то, что-то услышал, донес, но недостаточно для обвинения. Помогла катастрофа на метро, к которой я не имел никакого отношения. Вот и решили — пропустить нас через Колыму, нагнать страху на всю жизнь. Да и золото кому-то надо добывать.

— Антон Иванович, но ведь…

— Спи, спи, Сережа. Хватит беседы. Нам рано вставать, вместе с бараком.

Даже по дороге в лес Сергей Морозов все еще находился под впечатлением ночного разговора, был задумчив, сидел на мешке с продуктами для бригады и не видел вокруг себя ни дороги, ни вырубленного леса, ни трактора со старчески бормочащим мотором. Что за жизнь! И как в жизни этой ему повезло, когда встретился человек, сумевший укрыть его, «особиста», в лесной командировке. Иначе он опять оказался бы на прииске, может быть, еще — худшем, чем «Незаметный».

С половины пути Сергей решительно пересел с саней на трактор:

— Давай-ка мне. Руки зудят.

— Смотри в оба, мы спускаемся. — Тракторист поднялся, стоял рядом. — Тяни так, чтобы сани не заносило. На малом газу. Здесь пеньки, можно картер разбить. Мне спать охота, но я посижу рядом, подстрахую.

Морозов видел тракторную колею, даже когда стало темнеть. Чуть что, он вставал и, не отпуская рукоятки реверсор, всматривался поверх радиатора в дорогу, в их старую колею, чтобы не сбиться.

К бригадному стану приехали почти в полночь, замерзли — зуб на зуб не попадал. И сразу к чайнику с кипятком.

— Ну, что там? — спросил бригадир и сел на нарах.

— Пустота, — ответил Сергей. — Стройка все еще мертвая. Сто восемьдесят человек поехали золото добывать.

— Ого! Не позавидуешь, — бригадир тоже знал, что такое прииск. Бывший колхозный председатель, он имел десятку по пятьдесят восьмой статье за то, что отказался сеять зерно по грязи, по модному в те годы «сверхраннему способу». Его счастье, что привезли сюда, как и Сергея, еще при Берзине, когда можно было жить и на приисках. А вскоре, узнав, что он плотник, отправили на де-бинскую стройку.

— Ну а как там Антон Иванович? — с некоторой тревогой спросил он.

— Работает над каким-то проектом. И в окошко свое нет-нет да посматривает на шоссе, там машины гудят, все с людьми, все на север. Говорят, сразу два новых управления образовали — в Сусу-мане и Чай-Урье, гребут богатое золото.

— Лес сдал под расписку?

— Нет. Сгрузили и уехали. Сторожу сдал, выше начальства не нашлось.

— Бумажку взял?

— Вот она. Сторож подписал. Десять кубов.

— Так, — бригадир повеселел. — Тогда мы живем. Там от силы семь кубов. Да и на топку растащат сколько-нибудь, раз хозяина нет. Вот только лес жалко. Молодой. Ему бы расти да расти, а мы… Начальству, конечно, видней. А нам до лета прожить надо, пока цемент подвезут. Не подвезут — все загудим в эту самую Чай-Урью или как ее… Хлебнем лиха.

Отголоски извечного крестьянского трудолюбия и честности в бригадире еще жили. Обман он и есть обман, нехорошо. Но без туфты в лагере не получается, приходится разменивать честность на пайку и ударный приварок.

Хоть и получала бригада «по первой» и зайцев в лесу ловила, а все-таки было голодно. Работа тяжелая, бревна как чугунные, пока сто или двести метров несешь к штабелю, ноги подкашиваются. Свалишь с плеча и враз садишься перевести дух, чтобы не зашлось сердце.

На другой день бригадир заявил:

— Нужон подсобный промысел, ребятки. Без него оголодаем. И вот что я надумал. Тут в трех верстах по ручью, где он впадает в Колыму, на той стороне военный городок, в нем семьи командирские живут, мужики ихние все по командировкам разъезжают, шпионов и диверсантов ловят. Дрова им привозят, баланы. А распи-лить-порубить некому. Это нам известно, из лагеря иной раз посылали. А нынче кого пошлют? Давайте кого-нибудь из наших на это дело. Можно и хлебушка, и сахарку

заработать. А могут и в шею погнать, если без деликатности.

— Авдей не разрешит, — сказали с нар.

— Он в накладе не останется. Парень сговорчивый. Ты как, Сергей? Вроде должен сообразить.

Сергей взлохматил отросшие светлые волосы. Подумал:

— А что? Надо, так надо. Попытку к побегу не пришьют?

— Авдея уведомим, скажем, ты в разведке, лес ищешь. К ужину будешь являться. Только вот статья… Надо не сказывать, другую придумать. Ну, там растрату, что ли.

— Сбежал от алиментов, — подсказал кто-то, но бригадир волком посмотрел.

— Брякнул, умница. Любая баба такому за ворота покажет, да еще дрыном подзадорит. У них же солидарность.

— В церкву ходил, верующий…

— Не… Давайте православную церкву не вмешивать. Она обмана не терпит. Лучше так: полюбовника у жены застал, побил более, чем следоват. И пять годов. Согласный? Ну, тогда топор за спину, пилу-одноручку, лыжи есть — и топай с развода. К ночи обратно. Получится, так тому и быть. Не получится, не взыщем.

Но с утра не получилось.

Еще потемну к палатке подъехал сержант охраны, посланный для проверки Авдеевой службы. Такое время было избрано для внезапности: вдруг охранник спит, а бригада в карты режется, всякое может прийти в голову начальству, под рукой которого заключенные. Нарочный так замерз в седле, так умаялся, то и дело сбиваясь с дороги, поскольку была ночная пора, что просто свалился с заиндевевшего коня и чуть не ползком полез в палатку, забыв о своем чине и поручении. Его раздели, положили наган на стол, чтобы видел и успокоился, поставили перед ним по-христиански кружку с чаем и ломоть черствого хлеба, и, пока он оттаивал и приходил в себя разбудили Авдея, тот за пять минут утерся снегом, расшуровал печку в своем пристанище и по форме явился перед сержантом, доложив, что на лагпункте все в сборе и готовы к выходу на работу.

Потом они ушли в домик Авдея, где сержант, соблюдая предписанную секретность, сделал бойцу внушение за недостаточную бдительность, еще раз позавтракал за счет Авдея и только тогда вспомнил, что у него записка от инженера для бригадира. Вручение записки произошло по протоколу: бригадира Авдей вызвал к себе в избушку, там сержант при полной форме, с револьвером на боку передал записку и велел прочитать ее при нем. В записке говорилось: «Ввиду острой нехватки лесоматериалов на строительстве бригаде Машкова предлагается найти новый лесной массив, и если такой отыщется на недалеком

расстоянии, то начать разработку его и перевозку леса на строительство». Ниже стояла подпись начальника строительства. Машков сразу понял, что это сделано Антоном Ивановичем, чтобы спасти их от неминуемого возврата в лагерь.

— Разведку пошлем сейчас же, — тоном исправного солдата сказал бригадир. — Разрешите с заключенным отправить и гражданина бойца. Для верности порядка.

— Разрешаю, — сказал сержант. И вдруг вспомнил о лошади, на которой приехал: — Моя лошадь цела?

— Да, мы ее укрыли брезентом. И дали овес из вашей сумы. Сена у нас нет, не взыщите.

Сержант не взыскивал. Где там сено под сугробами! И вскорости отбыл, чтобы не задержаться в дороге до ночи.

Бригада позавтракала и отправилась пилить последние лиственницы на своей делянке. А Сергей пошел вместе с Авдеем на поиски нового массива. Куда? В какую сторону? Но приказ есть приказ. И они тронулись вниз по ручью. На лыжах, конечно.

День стоял лютый, за сорок, лишь ходьбой можно было согреться. По своему старому следу дошли до устья Дебина. Огляделись. И тут на глаза Морозову попала темная впадина среди сопок, совсем недалеко от нынешнего их места. Темный лес уходил в распадок, похоже, это был большой лес, с крупными лиственницами. Он хорошо гляделся с самой реки и был незаметен с берега, сопки его закрывали. Потому, наверное, и уцелел, что был укрыт. А по Колыме никто не плавал, она была, судя по крутым берегам, порожиста и своевольна.

— Заглянем? — спросил у Авдея и, не дожидаясь ответа, повернул лыжи к этому распадку.

В лицо им ударил низовой ветер, пришлось свернуть ближе к берегу и постоянно отворачиваться от жгучего ветра. Перемогли, вошли в мелкий лес, здесь было тише, а когда углубились, ветер и вовсе утих. Только верхушки слабо шумели.

Тут стояли и толстые лиственницы, иные больше обхвата, с размашистыми кронами, густым подлеском и с таким буреломом, что далеко идти просто не хватало сил.

— Ну что, остановимся? — почему-то шепотом спросил Сергей у охранника.

— Да уж… — Тот говорил с трудом, мороз сводил губы. И, не дожидаясь напарника, поворотил лыжи.

Идти назад было куда приятней, ветер подгонял и в лицо не задувал. Можно было осмотреться. Сергей глаз не сводил с поселка на том берегу, это был небольшой и уютный поселок, домов десять на две квартиры каждый, с низкими штакетными заборчиками. За одним из них с грузовика солдаты скатывали

толстые коротыши. Да, кому-то их придется колоть…

За каменным мысом, в подветрии, он попросил Авдея, рвущегося домой, повременить. Уж если говорить о рыбалке, то лучшего места на этом берегу и искать не надо. Сняв лыжи, Сергей разгреб снег, довольно глубокий, и обнажил лед. Приложился ухом к непрозрачному, уже застаревшему льду и услышал плеск воды: не толстый лед, можно пробить лунки и попытать счастья. А заодно и сделать разведку на тот берег, всего-то метров семьсот, наискосок через реку. Заработок искать надо, сам не придет.

Возвратились они позже, чем бригада. Машков уже выказывал беспокойство и, чтобы разрядиться, накричал на Морозова — почему долго? Но когда тот при молчаливо кивающем Авдее рассказал о находке леса, враз остыл и уже спокойно расспросил — что и как.

— Мы сегодня последние лиственницы свалили. Сколько до того леса — километра три?

— Пожалуй, меньше, — сказал Авдей, уже считающий себя не столько охранником, сколько членом бригады. И со смаком заговорил о возможной рыбалке, вроде так получилось, что они и подо льдом видели рыбину — не рыбину, но что-то живое. Просилось наружу…

Двое мастеров уселись перед дверцей печки и на свету гудящего пламени стали мудрить над рыболовной снастью. Из тросовой упругосталистой проволоки согнули и заострили несколько разных крючков, а из старого каната расплели да смолой натерли тонкие лески. Сергей по-хозяйски пробовал их на разрыв и вострил напильником острия крючков. Дело к весне, рыба ищет поживы.

В предутренний час лютого мороза, когда бригада принялась таскать бревна к штабелю, Морозов, по молчаливому согласию бригадира, взял приготовленную снасть, несколько кусочков отмоченной кеты для наживы и отправился на лыжах в устье Дебина.

Лед на Колыме оказался не толстым, сантиметров сорок, снег хорошо утеплял реку. Первые пять лунок были прЬбиты незадолго до полудня. Глубина реки в этом месте оказалась приличной, более двух метров. Сергей со всеми предосторожностями опустил крючки с наживкой, лески завил на колья. Минут двадцать топтался у замерзающих лунок, не отводя глаз от воды. Ни в одной ничего не шелохнулось. Рыбак уже и плясал, и бегал, чтобы не замерзнуть, все чаще поглядывал на мысок с сухостоем, где можно было костер развести и согреться, но тут его привлекла другая картина: у крайних двух домиков на

той стороне загудела, как и вчера, машина и — Сергей мог поклясться — из кузова ее полетели толстые коротыши. Размышление было коротким: чем сидеть и мерзнуть, лучше встать на лыжи, перейти реку и напроситься в дровоколы. Авось повезет.

Он обошел спокойные лунки, черная вода в них уже покрылась ледком. Засунул под опояску за спиной топор и быстро, стараясь согреться, пошел наискосок через реку, подозрительно ощупывая взглядом снег — нет ли где промоин.

У штакетного заборчика первого дома походил, потоптался: должен же кто-нибудь выйти? Но затянутые льдом стекла опечалили его: не увидят. Постучаться не решился: кто в этом доме и как примут? Могут посчитать за беглого и запросто отправить в комендатуру. Доказывай потом. Оставался один выход: пришел, так работай, не стой под дверями.

Он открыл калитку, откатил в сторону самый большой чурбан, вмял его в снег, потом поставил другой чурбан на него и хлестко, как умел, рубанул промерзшую древесину. Чурбан со стоном распался. Эти половинки уже раскололись легче.

И пошло-поехало. Разогрелся, снял полушубок, и через полчаса порядочная горка наколотых дров поднялась справа от него. Работая, Сергей нет-нет, да и посматривал на окна: внутри светилась лампочка, из трубы шел дым. Значит, кто-то хозяйничает в тепле. Ладно, его дело колоть, а там видно будет. Он увлекся и уже позабыл, что надо смотреть на окна дома.

Скрипнула дверь, но он не услышал. Когда отвлекся, чтобы подкатить очередной чурбан, увидел женщину в белом полушубке и в накинутом пуховом платке. Держась одной рукой за дверь, она наблюдала за дровоколом и выжидательно молчала.

— Здравствуйте, — сказал Сергей с извинительной улыбкой на лице. — Может, я не кстати, у вас есть кому… — И кивнул на горку колотых дров.

— Есть, есть, — настороженно ответила хозяйка. — Ты откуда взялся? И почему без стука, без спроса?

Она все еще держалась за полуоткрытую дверь. Видать, опасалась.

— А мы лесорубы, вон там работаем, на другой стороне. *Я* на реку ходил крючки ставить и увидел как вам дрова свалили, мерзнуть у лунок скучно, вот и решил помочь вам, а самому погреться.

— Спасибо. Но это как-то… Надо было постучаться, объяснить, договориться, наконец. Ты заключенный?

— Да, мы в лесу бригадой работаем, без конвоя.

— Тебе платить надо?

— Можно и не платить. Сам напросился, сам и уйду. И набросил полушубок на плечи.

— Зачем же уходить? Я не прогоняю. Мне все-таки надо знать, кто ты и за что тебя…

— Не грабил, не воровал, не мошенничал…

— А, понятно. Но врагов народа тем более без конвоя не пускают. Мне муж говорил.

Сергей обиделся. Торопясь, влез в рукава, запахнулся. И топор за спину.

— Уходишь? Вон сколько успел наколоть, видать, ты мастер. Не могу же я… Подожди, сейчас…

И закрыла за собой дверь. Взвизгнула задвижка. Заперлась. Что знают командирские жены о лагерях? Небось, мужья наговорили, что за проволокой сплошь убийцы и шпионы, бандиты и воры, что надо быть начеку и ни в коем случае не общаться.

Сергей уже затворил за собой калитку. От невысказанной обиды, а не от рабочей усталости у него загорелись щеки. В это время дверь открылась и хозяйка с чем-то завернутым в газеты удивленно произнесла, мягко растягивая слова:

— А ты обидчивый. Уходишь, даже не закончив работы. Ладно. Возьми вот это. Много наколол. Говорят, вас плохо кормят?

— Что вы! Рыба жареная, котлеты мясные, гречка, компоты…

— Оставь свой юмор. Бери. И спасибо за подмогу. Мужу постоянно некогда, а мне самой не под силу. Когда будет время, можешь приходить. Только в выходные не являйся. *Я* и соседке своей скажу. Ты сам-то из каких краев будешь?

— Рязанский я.

— Из самой Рязани?

— Нет, из Городка.

— Знаю твой Городок. Проезжала прошлым летом. Мы из Кораблино, а ездили в Чучково к родителям мужа. Вот какой тесный мир, смотри, где повстречались. — Она говорила и уже безбоязненно шла к калитке, держа на руках сверток. Передала и внимательно осмотрела Сергея: — Господи, да ты совсем юный! Сколько же тебе?..

— Три года.

— Нет, я про возраст.

— Двадцать второй.

— А за что попал?

— За разговоры.

— Понятно. Теперь ты не будешь такой разговорчивый, верно?

— Буду. *Я* ничего плохого и тогда не сказал.

Она не ответила. На глазах у нее блеснули слезы. Повернулась и пошла к дому. Уже с крыльца сказала:

— Приходи еще. Вон у нас сколько дров.

По лицу Сергей определил возраст женщины: ей было лет под тридцать. Он еще стоял, держал тяжелый сверток в руках и чего-то медлил. Недалеко залаяла собака. Тогда он встал на лыжи и по своему следу решительным шагом заскользил к распадку с черным лесом на заднем плане.

На душе у него было и тепло, и печально. Встреча с той, полузабытой жизнью…

Лунки замерзли. Сергей разбил топором лед и вытащил леску с нетронутой наживой. Плохо. И второй крючок оказался пустым. А вот в третьей лунке, как только взялся за колышек, почувствовал живое и проворно потянул. Небольшая рыба в полкило весом сверкнула белым брюхом, раза два подпрыгнула на снегу, дернулась и застыла. Это, кажется, хариус.

Сергей заспешил. На следующем крючке трепалось более весомое и драчливое. Дергалось, вырывалось, пришлось лед над лункой разбивать шире. Рыба металась, но, глотнув раз и другой воздуха, ослабла, и он резким рывком бросил ее на лед. Налим! Длинный, узкий, он хватал ртом морозный воздух и скоро затих.

На последнем крючке болтался еще один крупный хариус, сдавшийся без борьбы.

Радость, конечно. Рыбак не сдержался, проделал какие-то прыжки, похожие на танец первобытного человека, поднял остывшие рыбины и взвесил на руках: верных два кило! Для ухи на бригаду хватит. И тут вспомнил о свертке. Осторожно развернул порванную газету и прежде всего глянул на число: старая газета, за 13 марта. Понятное дело, на Колыму их доставляют только самолетами, а самолеты летают далеко не каждый день, поэтому далеко не всем газеты достаются. Он расправил и сложил листы. В чистой тряпочке были завернуты две буханки формового хлеба и здоровенная соленая кета, разрубленная надвое. Еще горсти две колотого сахару. Ах да хозяюшка! Не поскупилась. Вместе со свежей рыбой «заработок» Сергея выглядел уже внушительно. Будет и наваристый перловый суп со свежей рыбой, и вареная соленая рыба, и даже чай вприкуску, да с хлебом! «И запируем на просторе!..»

Много ли голодному человеку нужно для радости?

Совсем счастливый побежал он на лыжах к палатке. Придвинулся вечер. Шла середина апреля, весна здесь если и чувствовалась, то лишь по удлинившемуся дню и по особенному воздуху, уже не стерильному, как зимой. Морозы оставались

жестокими; тем бедолагам, кому приходится кайлить мерзлоту на приисках, облегчения такая весна пока не приносила. Вспыхнула, отдалась тоской память об одиноком и больном Верховском, о пропавшем отце Борисе и канувших в неизвестность командире и Супрунове. Судьба их вызывала беспокойство. Живы ли?..

Бригада еще не вернулась из леса, Авдей сидел у печки и дремал, поставив винтовку между ног, огонь в печке чуть теплился. Услышав скрип лыж по снегу, вышел.

— Ну как? — И глянул на сверток, на замороженного налима. — Ты гля! Налим! Точно, налим, у нас в Покше таких же ловили. Выходит, они и сюда добрались? А хлеб откуда? Колол дрова? Ой, Сере-га, не попадись! Не подведи меня, у нас за это строго, как за побег.

— Под суд?

— Хужее. Куда-то на шахты отправляют, к полюсу вроде, где каторга.

— Здесь тоже каторга, Авдей.

— Не скажи! Есть такие места, где к тачкам прикованные. Аркагала называется, слышал? Нет? Уголь там обушками добывают в шахтах. Отчаянных людей собрали, мы туда боимся попасть.

Сергей слушал, а сам осторожно складывал газету «Правда» вчетверо, восьмеркой, глаза его так и бегали по строчкам. Вот знакомая фамилия фельетониста Кольцова, сообщение о возвращении папанинцев с Северного полюса, вся Москва их встречала.

И везде Сталин, Сталин, Сталин. Живет столица, славит вождя; о «врагах народа» на второй полосе, как всегда, с руганью и презрением. Кто-то верит, клянет злодеев. Не знает о Колыме, куда и сам может попасть.

Пришла бригада, все молчаливые, уставшие, лица в сплошной изморози, лед на усах, окружили печку, лед с лица сдирают, дышат теплым воздухом, нутро согревают. Отошли немного и тогда разглядели Сергееву добычу, заговорили.

— Значит, получилась рыбалка? — деловито спросил Михаил Михайлович. — Где эти рыбины нашлись, найдутся и другие. С почином тебя! Вижу, ты и дровишками занимался? Не застукают тебя офицеры или кто еще?

— Я в крайнем доме, добрая хозяйка встретилась, почти моя землячка.

— Приглянулась? — Машков насмешливо приподнял бровь.

— Замужняя и вроде старая, командирская жена. Со мной по-хорошему обошлась. Сказала, чтобы еще заходил, ей самой не под силу, а хозяин поздно приходит, рано уходит, такая у него служба.

— Знаем мы эту ихнюю службу. Ну, добре. Чей сегодня черед варить-жарить? Оценим Серегины труды.

Самая удачная рыбалка выпала Сергею в солнечный день, в чисто апрельский безветренный день с небольшой ростепелью в обеденное время. Он вытащил и принес больше двух десятков хариусов и налимов. На ту сторону идти побоялся, что-то там народу маячило много. Уже собрался назад, когда до него донесся далекий грохот трактора. Побежал, вдруг кто из охраны заявится? И вообще, могут быть новости. Впрочем, о письмах он уже забыл, видно, не разрешают ему письма, но и здешние новости могут быть всякие… В свое будущее он дальше дня следующего как-то перестал заглядывать, все равно не угадаешь. Только одно помнил, сколько ему осталось по календарю: недавно было 690, потом 676 дней, ну и так далее… Много это или немного? У других и по десять лет, а все равно считают. Вон взять Антона Ивановича. Тоже ждет, и на родине, где семья, тоже его ждут, считают дни.

Когда подходил со связкой рыбы через плечо, увидел в стороне трактор, он подталкивал сани к штабелю. Не тот ужасный ЧТЗ, а другой и с другим трактористом. А у самой палатки стоял Антон Иванович, ждал Сергея.

К его ногам Сергей и сбросил рыбу:

— Угадал к вашему приезду, Антон Иванович. Здрасьте!

— Да ты здесь уже по-оседлому, как ороч или якут! Экая благодать дается в Твои руки!

День такой удачный, солнечный, потому и берет рыба, а так по три-пять штук, не больше. Хариус к солнцу идет. Наварим, нажарим.

— Ох, люблю, грешник, рыбное! Вспоминаю «Метрополь», там в ресторане осетрину по-московски готовили, пальчики оближешь! Жалко, что нет у нас ни перцу, ни лаврушки, но все едино — хорошо. Действуй, а я пойду к бригаде, погляжу, что там у них.

Он приехал не из простого любопытства. Начальник строительства майор Силаев рассказал ему о телефонном разговоре с Магаданом: на подходе теплоход «Джурма», для него ледокол дорогу во льдах пропорол, ожидают со дня на день в Нагаево. В трюмах цемент есть, так что пора бетонщикам готовиться к своему делу. Новость эта уже не очень радовала: опять зона, подъем потемну, развод, выстойка у вахты, ругань, хитрые уловки уголовников, шмон, драки, вонь и холод большого барака. Только-только отвыкли от всего лагерного, в лесной палатке хоть и тесно, зато по-домашнему тихо, все породнились, да и работа по силам, еще и воспоминания перед сном о доме и

родных, некая иллюзия свободы, благо Авдей совсем свыкся с ними. По нужде он уже ходит без своей винтовки, с которой первое время не расставался. Даже за пилу нет-нет, да и возьмется для «сугрева».

Машков слушал инженера и вздыхал. Значит, в лагерь. А тюрьма она и есть тюрьма. Спросил, не поднимая глаз:

— Какие там слухи, Иваныч? Все еще сажают нашего брата аль угомонились?

— Слухи такие, что на пересылке «Вторая речка» во Владивостоке народу собрали — непробойно. Добрая сотня тысяч новых, большей частью политических. Ждут теплоходов, а их, как всегда, мало, не рассчитывали на такой улов заключенных. Да никто и не предполагал, что аресты так долго будут идти. Ан, нет! Гонят и гонят. Врагов нашлось — немыслимо! Их гребут, а они прибывают. И какого народа! Твоя, к примеру, бригада, Михайлович, почти сплошь из крестьян, да? И у всех по десять, как и у меня. Кажется, в деревнях пособирали последних умелых работников, вычистили для новой жизни. Теперь на город переключились, вы уже не самые главные враги, теперь враги из интеллигентов, из партийных работников, вот какие враги. И разница эта для Дальстроя ощутимая. Вы всю жизнь физически работали и никаких там восьми часов и отпусков не знали. Все вы можете, хоть и блоху подковать. И дом срубить, и бетон сделать, и пахать-сеять. Такие заключенные для Колымы — находка, ведь золото золотом, а хозяйство и тут надо вести с умом. А вот теперь из трюма будут выходить слабые, а то и такие, которых выносить надо. Люди умственного труда не способны к тяжелым работам. Как с ними-то? Если как с вами, то все они скоро поумирают. А дать им нормальную пищу, восьмичасовой рабочий день и выходные — это уже поблажка, пособничество врагам народа. По счету сотня тысяч рабочих рук — вон она, на «Второй речке». А по существу — одни кандидаты на тот свет. Кому же золото копать, дома и дороги строить? Это я вам говорю для того, чтобы знали: удержать вас на строительстве будет очень не просто, опять все мы окажемся под страхом: вдруг с вахты и на какую-нибудь шахту или на прииск? Из всех здешних только один Морозов попробовал, что такое золотой прииск, до сих пор бледнеет, когда вспоминает. Или уже забыл, Сережа, морозные ночи в забое?

— До конца дней в памяти, — тихо сказал Морозов.

— А мы новый лес нашли, — грустно сказал Машков. — Такая добрая лиственница.

— За «нашли» — спасибо. Будем иметь в виду. Этапом я вас напугал, конечно, но пока что мы опять начинаем строительство, продолжим его. Защищать вас буду, как только смогу.

В палатку пришли еще шестеро, которых Машков отрядил грузить тракторные сани. С ними пришел и Авдей, сел у дверей, поставив винтовку меж коленей.

АНТОН ИВАНОВИЧ

Лесорубы сидели, опустив головы, проклинали судьбу и тех недобрых людей, которые оторвали их от семьи, от привычного труда на земле, с плугом и конями, и раскидали в страхе по тюрьмам, отправили на край света только потому, что умели они растить хлеб, беречь и холить свою землю и жить лучше, чем живут бездельники. И на Колыме рук своих не жалеют, работают, как привыкли работать. Однако впереди у них, похоже, новые испытания, страх очутиться на каторге, а там если и выживешь, то останешься без сил и здоровья.

Понимая невысказанные эти думы, Антон Иванович сказал:

— Вот так я и выложил все начальнику нашему, майору Силаеву: на стройке нашей опора — одна бригада и для перекрытий, и на каменных работах, без вас этажи не подымем, стройка будет стоять, если вас отправят. Лесозаготовка свою роль выполнила, укрыла вас на время. А вот как удержать в самом Дебине, когда вы маячите перед глазами? И это сказал майору. Кажется, он понял, обещал сделать все, что в его силах. Выше головы, мужики, не томите себя, все будет в порядке. Конечно, никто из нас не застрахован от неожиданностей, но начальство тоже понимает, кого надо удержать на строительстве. Думаю, всем вам лучше не мельтешить на глазах начальства, спокойно работать, как вы умеете.

Опять в палатке повисла тишина. Булькала, испуская аромат, уха в котле, из подпечья вырывался жаркий свет сгорающих дров, отблески его скользили по лицам, по серому брезенту палатки, по уложенному вдоль стенки инструменту, отполированному деревом и цепкими руками. Снаружи доносилось тарахтение трактора на малом газу. Не глушили.

— Так! — сказал Машков. — Обед готов, Антон Иванович.

— Можно и отобедать.

И загремели миски и ложки.

Антон Иванович остался ночевать в бригаде. Тракторист, похлебавши ухи, отправился в Дебин. Лесу в штабеле было еще на пять-шесть ездок. Надо бы валить еще, но судьба лесорубов пока была неясной. Кто знает, что завтра?..

Утром Сергей взялся за инструмент, но Машков сказал:

— Ты уж, это… Не бросай рыбалку, подкорми нас. Удача на реке не каждый день, известно. Антон Иванович, не желаете на реку? Утешное дело.

— Я с тобой по лесу похожу, определим, сколько его там, а со следующим трактором вернусь на стройку. Топай один, Сережа,

удачи тебе. И не теряй присутствия духа! Чуть что, место у бетономешалки за тобой.

В этот пасмурный день рыбалка у Сергея не получилась, он вытащил только двух налимов, а потом целый час ни одного поклева. Замерз у лунок. Побегал вокруг, посмотрел в сторону поселка и раз, и другой, решительно сунул топор за пояс и встал на лыжи. Прошлый его след замела позёмка, идти было вязко, он поглядывал не столько под ноги, сколько на улицу поселка, впрочем, пустую улицу.

Кругляков у знакомого дома лежало навалом, он рубил сперва в полушубке, потом, разогревшись, снял полушубок и принялся за дело в одной телогрейке. Так сподручней.

Часа два колол, ворох порядочный вырос, недоумевал, почему никто не выйдет? Вскорости, из-за угла показалась хозяйка с мальчиком за руку, она прошла мимо крыльца, подошла близко, сказала улыбчиво:

— Здравствуй, дровосек. Здоров ли?

— Как видите, — Сергей приподнял шапку. — Это ваш? — кивнул хлопчику и улыбнулся.

— Сережа, ты мой? — спросила мать.

— Я и папин тоже, — тихо ответил пятилетний малый.

— Тезка мой, выходит.

— Вот как! Такое совпадение. Вы все еще за речкой?

— Да, последние дни.

— А потом?

— Как начальство распорядится.

— Понимаю. Знаешь что? Хватит тебе топором махать, вон какая гора. Отдохни. Я скоренько обед разогрею и сразу двух Сергеев накормлю.

— Неудобно, как-то…

— Удобно. Я мужу о тебе сказала. И за что ты — сказала. Он вздохнул — и все. Не упрекнул.

— Похоже на милосердие.

— Такого слова в наши годы никто уже не знает. Спасибо, что вспомнил. Ну, а обед ты заработал. Еще как!

И вошла в дом. Через десяток минут крикнула в форточку:

— Заходи!

Если что и удивило гостя в этой двухкомнатной квартире колымского офицера, то разве что светлые бревенчатые стены, совсем как в лесном селе Унгоре за Городком, где он работал. Деревенская рубленая изба. Над столом висела лампа с бумажным абажуром, на одной стене обязательный портрет Сталина в рамке, на другой — семейный портрет. Три стула и платяной шкаф, табуретки на кухне. Жилище аскетов. Или

заезжих ненадолго людей.

Он так и сказал, когда усаживался к столу под любопытным взором тезки.

— Нормативная обстановка. Казенная. А зачем свою заводить? Сегодня здесь, завтра Бог знает где.

— А ты что делаешь? — спросил мальчик.

— Дрова рублю. И лес пилю, чтобы дома строить.

— А зачем?

— Чтобы людям было где жить. И чем печки топить.

Давненько Морозов не ел мясного супа из тарелки! Домашним, забытым повеяло на него со стола, накрытого скатертью. Хозяйка сидела напротив, подбодряла:

— Ешь, ешь, у меня целая кастрюля.

— И еще картошка, — сказал маленький Сережа, — с мясом.

— С консервами, — уточнила мать. — Сережа, тебе еще долго… Ну здесь?

— Шестьсот пятьдесят дней.

— Ты считаешь дни?!

— Еще бы!

— А потом?

— Нас если и выпускают, то с ограничением. Дадут жить где-нибудь в глуши и никуда больше.

— Мы тоже всю жизнь в глуши…

— Мне это не страшно. Я агроном. Могу просто крестьянствовать. Лишь бы не мешали.

— Ты сильно обижен?

— А как вы думаете? Ни за что ни про что — тюрьма. Так любого можно. Всю страну — в лагеря.

— На кого же обижен? — И проследила за его взглядом. Он отвел глаза от портрета. — Вдруг он не причем, Сережа? Вдруг его сбили с толку, наговорили, напугали, наконец?..

Сергей склонился над тарелкой. Он уже твердо знал, кто и кого сбил с толку. Не надо объяснять. И разговор прекратился. Хозяйка подлила еще, принесла мясо с картошкой, чай.

— Извини, картошка у нас сладковата.

— Подморожена. Наверное, когда везли. По таким-то холодам…

В этом доме, пусть и на короткое время, он обрел забытый семейный покой. Конечно, здешние офицеры и тем более солдаты войск НКВД тоже как бы в заключении. Только условия жизни другие. Уехать им нельзя, служба. И нелегкая. Сергей так думал, отвечал на вопросы своего любопытного тезки и его матери. Уже одеваясь, услышал тихое:

— У меня брат где-то пропал… Наверное, как и ты. Полтора

года нет вестей. Спаси его, Господи!

Сергей Морозов шел к своим лункам, порядочно нагруженный добром. И хлеб, и консервы, и пшено, даже сахар. Словно знала хозяйка, что не встретит она больше дровосека, судьба которого так сходна с судьбой ее брата.

На крючках в уже замерзших лунках Морозов нашел еще два небольших налима. Хариусы в этот день не попадались. Выходной у них, что ли?..

Прошло меньше недели, в лес приехал сержант и приказал Авдею вести бригаду в Дебинский лагерь. Лес в распадке остался живой.

Что больше всего удивило лесорубов в лагере, так это полупустые бараки. Бригада устроилась на дальних нарах, поправили скособоченную печку, расшуровали ее. Тотчас к печке подошли и окружили ее барачные старожилы, освобожденные от работы кто по болезни, кто по полной немощи. Двое узнали Машкова, они работали под его руководством пока не разлучили. Бригадир спросил их о житье, хотя и без вопроса было видно, что за житье у больных. Стояли они в порванных бушлатах, в изношенных холявах на распухших ногах, а в глазах стыла голодная тоска и надежда — вдруг у новоселов найдется что-нибудь съедобное. Машков спросил:

— Куда народ подевался?

— Увезли народ. Два дня подряд увозили. Куда-то на север. На новые прииски.

Весть была страшная. Но пришел Антон Иванович, бодро поздоровался, громко объявил:

— Завтра на бетономешалку. Сто мешков цемента уже привезли. Песок и гравий есть. Получил задание: к середине мая закончить перекрытие и подняться на второй этаж. Оконные проемы зашивают, печки поставим, чтобы бетон схватывался в тепле. Не пугайтесь пустоты в лагере, в иные дни тут битком, дают отдых транзитным, которые с теплохода. Среди них много слабых, старых, больных. Говорят, кроме «Джурмы» подошли теплоходы «Ежов», «Кулу» и еще какой-то, не помню названия. Женщин много привозят.

— Их тоже на прииски?

— Пока не додумались. Везут по той дороге, что вправо от трассы, вдоль реки. Там совхоз «Эльген» и лесозаготовки. Сплошь женские лагеря. Вчера последняя партия ночевала. Все жены и родственники «врагов народа». Смотреть без слез нельзя. Интеллигентные, привыкшие к обеспеченной жизни, а тут… И сроки — от пяти до пятнадцати. Вот такие дела, ребятки. Ты как, Сережа? В норме? Заходи перед ужином, угощу чаем.

Тревога висела над Дебинским лагерем. Сто тридцать оставшихся там заключенных пребывали в состоянии постоянной напряженности, теряли сон от одной мысли, йто сейчас откроется дверь и нарядчик возвестит об этапе.

Ближе к вечеру у вахты остановились машины, из них высаживались заключенные, строились, по счету шли в зону. Это были женщины, закутанные до глаз, все в ватных брюках, холявах и в разношерстных платках. Все на одно лицо: старые и молодые. Из бараков высыпали мужчины: такой невероятный случай! Прибывших, человек до ста, отправили в столовую, там они поужинали, немного согрелись и тем же порядком, с конвоирами прошли к четвертому угловому бараку. Значит, только на ночлег, чтобы утром отправить на тот самый «Эльген», что ниже по Колыме.

Общение с новенькими пресекалось строжайше. У барака все же крутились урки из лагерной обслуги, выменивали курево, какие-то вещи, их гнали, увертливо ловили, тащили в карцер. На входе в женский барак поставили охрану, но уборная в зоне была одна, медпункт тоже один. В свете прожекторов то там, то здесь появлялись фигуры, они испуганно по двое-трое переходили двор, ждали друг друга, тихо переговаривались. Все для них было страшно и чуждо.

Когда Морозов шел от инженера, его путь пересекли три женщины, возвращавшиеся от фельдшера. Одна спросила:

— Где мы находимся?

— Разве вам не сказали? Это Дебин, четыреста километров от Магадана. — И добавил: — Вас везут в совхоз «Эльген», сто километров в сторону. Вы из Москвы?

— Ленинградские. Из «Крестов», — с оглядкой сказала пожилая. — Тут, говорят, очень плохо, верно это?

— Невесело, — ответил Сергей. — Правда, дело к лету…

— О, Господи! — вздохнула собеседница. — Вы давно здесь?

Он сказал и тут же спросил:

— Как там, в центре, не успокоились?

— Нет, — ответили ему. Берут и берут, полны и тюрьмы и пересылки.

Рано утром мимо казармы прогремели три машины с фанерными коробами над кузовами. Пошли на «Эльген».

На стройке закрутилась, загудела бетономешалка, пошел кирпич и раствор. Сергей стоял у рычагов, следил, как загружают емкость, включал подогретую воду, чтобы через короткое время опрокинуть в короб содержимое — уже готовый теплый бетон. Его тачками возили по сходням наверх. Бригада работала слаженно, без понуканий. Антон Иванович заходил к ним оживленный,

радостный. С удовольствием потирал руки. Наконец-то он снова на работе! В нем заговорил инженер, профессиональное чувство заглушило тоскливое ощущение тюремщины.

Дни становились длиннее, на припеке под полуденным солнцем можно было видеть как плавится, исходит паром снег. Но после заката мороз сразу же сковывал мокрый снег и ночи почти[1] ничем не отличались от январских. Только укоротились.

Со стройки было видно, как по шоссе катились в две стороны машины. Грузы и люди шли на север, в сторону Ягодного. Дальстрой напитывался свежей кровью десятков тысяч «новеньких». Те из них, что избежали скорого расстрела, вряд ли имели преимущество перед погибшими. В ту весну 1938 года на прииски везли людей в том состоянии безразличия и тупого ожидания конца, которое не отступает после многомесячного испытания ужасом, или ожиданием смерти.

Едва ли не все человеческое терялось еще на пороге Колымы, ставшей символом безвозвратной каторги. Ни Павлову, ни Гаранину мыслящие люди не требовались, только мускульная сила, пусть и не очень крепкая, но все же способная держать в руках кайло, лом или рукоятки груженой тачки.

Еще через день в Дебинский лагерь опять прибыла партия заключенных, но их везли с севера на юг. Две машины с заключенными не разгрузили у вахты, а позволили им подрулить к дверям одного из бараков. Лагерь как раз вернулся с работы, Сергей сидел у Антона Ивановича, когда за фанерной перегородкой его «кабинета» раздалась команда и шум движения — признаки прибывшего этапа.

— Пойдем, глянем, кого мне в соседи определили, — Антон Иванович потянул за собой Сергея.

Половина барака все эти дни оставалась пустой. Сейчас там двигалась, шевелилась темная людская масса. Включили большую лампу. В ее свете можно было разглядеть прибывших. Одетые в так называемое б/у, в старье, они очень нетвердо передвигались, у некоторых были самодельные костыли, грязные бинты на голове, на руках. И все те же, ничего не выражающие лица безнадежно уставших и абсолютно безвольных людей.

В печку подложили дров, стало теплей. Прибывшие густо сбились у печки, оттесняли друг друга, втискивались в двухслойный круг, ловили тепло протянутыми руками, разматывали тряпье, снимали шапки, чтобы скорей согреть слабое тело. С ними обращались, как. с немощными, силком распихивали по нарам, выстраивали в очередь перед бачком с супом-баландой и горкой хлебных кусков, доставленных из кухни. Получив миску и пайку, этапники жадно ели, оглядывались по

сторонам. А покончив с едой, стояли и ждали, не дадут ли еще… Кто-то навзрыд плакал. Кого-то били. Кошмар.

Нарядчик увидев инженера, сказал брезгливо:

— Отходы производства. Везут в инвалидный лагерь около Магадана. Держать на прииске полуживых нет смысла. Многие даже не ходят, их затаскивали в барак. А все не умирают, цепляются за жизнь. Вот народ! — И задумчиво покачал головой. В его тоне звучало удивление. Не умирают!

Сергей подошел к одному из привезенных, спросил:

— Вы откуда?

Тот медленно повернул голову, всмотрелся в лицо Сергея:

— С «Водопьянова»… Прииск в Северном управлении. У тебя покурить не найдется?

— Не курю, — с сожалением ответил Сергей. — Трудно там?

— В шахтах работали. Голодно, пыль, грохот и холод, ад кромешный. Мало кто выдерживает полгода. Выбраковали, куда-то на новое место везут.

— Вы сами откуда?

— Из Москвы, сотрудник музея Ленина. Бывший, как понимаете. Провели через комиссию, актировали как неспособного к физическому труду. Что дальше, никто не знает.

Антон Иванович протянул ему початую пачку махорки и бумагу, нарезанную на цигарки.

— Возьмите, земляк. Едой не богаты, хоть это.

— Великое спасибо. Сверните, пожалуйста, у меня три пальца ампутированы, придавило камнем. Здесь, кажется, лучше? У вас вид здоровых людей. Какое это счастье!

А Сергей уже ходил по бараку, вглядывался в лица актированных, без конца спрашивал:

— Верховского не знали? Бориса Денисовича Потапенко? Не встречали Черемных, высокого такого, бывшего военного? — И снова повторял фамилии, снова глядел по сторонам, надеясь встретить своих друзей.

Ожидаемого ответа не услышал, хотя вопрос задавал бесчисленно. Со странным чувством возрастающей боли он узнавал, что среди прибывших есть и военные, и колхозники, и доктора наук, бывшие руководители заводов, совхозов, партийные работники, старые большевики — все превращенные в безликую толпу инвалидов. Это был пепел, сожженный золотой фонд страны. Что ждало их впереди? Конечно, не освобождение. Даже доведенные до порога смерти, они не покинут Колымы, чтобы не «травмировать» единое и сплоченное вождем общество, не осквернять его своим присутствием… Найдется лагерь, где они дождутся нестрашной для них кончины.

Барак затихал, Сергей все еще всматривался в лица, благо большая лампа светила сильно. Кто-то стонал, кто-то уже во сне вдруг вскрикивал и подымался. В углу сильно, с чувством ругался человек, не владеющий разумом.

Помрачневший инженер вытащил Сергея из прохода и увлек за собой.

— Иди к себе, довольно переживаний, — сказал и подтолкнул от двери.

Сергей вышел из барака, вдохнул морозного воздуха и потащился к своему бараку. Молча разделся, лег рядом с Машковым и укрылся полушубком. Но долго еще не мог уснуть. И когда забылся, перед ним все еще мелькали страдальческие лица, глаза с голодным блеском и душевной болью…

Подошли весенние дни, майские праздники донесли до стройки звуки духового оркестра с той стороны реки Колымы: дивизион войск НКВД вышел на парад и маршировал по расчищенному двору военного поселка. Где-то там, рядом со своей матерью сейчас стоял и радостно хлопал в ладошки его тезка, Сережа. А в соседнем бараке лагеря среди обреченных запросто мог оказаться и тот брат офицерской жены, который бесследно, как она сказала, исчез.

После праздника этапы актированных делали остановку в Дебине не один раз. То, что нарядчик называл «отбросами», накапливалось в Ягодном, Сусумане, Берелехе, на Чай-Урье, Аркагале. Содержать инвалидов на месте, по мнению руководителей Севвостлага, было бессмысленным, ведь и для работающих еды не хватало, а уж кормить лежачих, возить им хлеб за два моря — тем более. И потому печальные этапы двигались к Магадану, где строили и расширяли инвалидные лагеря.

В мае бетонщики работали уже без бушлатов, без шапок, подставляя головы теплому солнцу. Оседал снег, покрывался коричневым налетом лиственничной хвои. Говорили о подходе третьего каравана судов с заключенными и с продуктами. Под рукой Антона Ивановича строители чувствовали себя уверенно, наряды инженер «выводил» на первую категорию — не сытно, но и не голодно. Работа стала привычной и даже интересной: их руками поднимался громадина-дом.

Один из этапов с севера задержался в Дебине почти на сутки: вышла из строя машина, ждали другую. Больные и голодные люди после обеда выползали из барака, усаживались в затишке и, закрыв глаза, грелись под солнцем. Минуты блаженства после многих месяцев изнуряющего труда.

Увидев новых людей, Сергей оторвался от своих и пошел

вдоль сидевших на корточках этапников. Не взгляд, а сердце подсказало ему, что нашелся… Он остановился перед худющим, тонкошеим человеком с закрытыми глазами, старым, морщинистым, но уж очень напоминающим того бравого подполковника, который ехал с ним в вагоне и отзывался на фамилию Черемных.

— Виктор Павлович, — неуверенно, почти шепотом сказал Сергей. — Вы ли это?

Худой медленно открыл глаза, посмотрел на Сергея, лицо его дрогнуло, и слезы показались на глазах.

— Морозов! Сережа! Ты, ты! — Он попытался подняться, но качнулся и склонился на сторону. — Нет, не могу. Помоги, Сережа. Усади, вот так, так. У меня, понимаешь ли, нет сил… Нагнись, милый, я поцелую тебя… Присядь, если не спешишь.

— Вы откуда и куда?

— Похоже, что наш этап везут в инвалидный лагерь или в больницу. Мне все равно — куда и зачем. Беда случилась на «Мальдяке», есть такой проклятый прииск. Как видишь, осталось подвести черту. В пятьдесят один год. Ну, а что у тебя? Выглядишь молодцом. Где, что, как живешь?

Он говорил, а слезы катились сами по себе, вытирать их было бесполезно. Сергей уселся перед другом и стал рассказывать. Тут же спросил, не знает ли он, что с другими, где они?

— Знаю. В лагерной больнице Берелеха со мной лежал отец Борис. У него было воспаление легких. Так здесь называют морозный ожог верхушки легких. Когда стал поправляться, он так душевно, с таким добром помогал мне, что я — трудно поверить! — проникся пониманием Бога нашего, Спасителя. Будь такая возможность — ушел бы в монастырь, такой вот душевный сдвиг, неожиданный. Надо жить, Сережа, надо найти способ одолеть новую русскую беду. Ведь сотни тысяч гибнут, миллионы проникаются страхом и ненавистью друг к другу. Апокалипсис… Страна долго будет под властью подозрительности и страха.

Черемных говорил, его немощное, высушенное голодом и болезнью тело покачивалось, глаза лихорадочно блестели, и Морозов вдруг подумал, что Виктор Павлович не в себе, что-то у него с головой. Но бывший подполковник вдруг глянул на Сергея ясно и строго, знакомая усмешка возникла на ссохшихся губах:

— Нет, Сережа, я, слава Богу, пока в своем уме. Безумен этот мир насилия, что окружает нас, безумцы — правящие нами. Все еще не могу понять до конца скрытой причины уничтожения самых думающих, самых нужных стране людей. Кто направляет эту машину? Нечеловеки, монстры, зачернившие наш славный флаг.

— Потише, Виктор Павлович, пожалуйста, потише. — Сергей нагнулся к нему: — *Я* тоже побывал на прииске, видел груды мертвых тел, сотни едва живых. Могу я чем-нибудь помочь вам?

— Найди мне бумагу и карандаш. Напишу в ЦК, выскажу все, что думаю. Себя жалеть поздно и ни к чему. Один шаг до конца, хочу выразить негодование, позор, хочу плюнуть в морду этим…

Надо всенародно обличить и наказать палачей Гаранина, Павлова, всю эту ораву тюремщиков. И Ежова, и всех, кто с ним…

Сергей побежал в барак. Инженера в каморке не было. Он самовольно взял у него со стола три листа бумаги, карандаш, спрятал и через минуту-другую передал подполковнику, который умело, как старый зэк, запрятал драгоценные вещи в одежде. Неужели он всерьез думал, что его письмо выйдет за пределы лагеря?

Еще бы хлеба… Сергей побежал в свой барак, присел возле Машкова, отдыхающего перед звонком на развод, и сказал, кого и как встретил. Человек голоден, болен, нельзя ли что ему…

Михаил Михайлович кивнул, порылся в матрасе, достал полбуханки черствого хлеба, десять кусочков сахара, селедку, сунул Сергею.

— Это у меня НЗ на случай этапа. Отдай, коли такое дело. С прииска он?

— Совсем истощенный, плохой. Мы сюда поездом вместе ехали. И на теплоходе.

И убежал. Уже звякала на вахте рельса, из бараков выходили строители. Сергей огляделся, отдал Виктору Павловичу добытое, тот притянул его к себе и по-отцовски поцеловал:

— Бог даст, свидимся, Сережа. Спасибо. Береги себя. И помни мои слова: это инквизиция. Диктатура. Создается всеобщая покорность и рабство. Но у них ничего не выйдет! Русские не из тех, чтобы терпеть бесконечно. Прощай, дорогой, беги, твои уже у ворот.

Два образа одного и того же человека остались в памяти Морозова: полный сил и энергии подполковник Черемных, ничуть не испуганный, скорей удивленный арестом и предстоящим лагерем, не сомневающийся, что все случившееся с ним и его соузниками — чистое недоразумение, к которому надо относиться иронически. И вот этот инвалид, высохший от длительного голода и шахтного труда. У него еще не истаял протест — последняя ступень перед полным отчаянием. Он не знал, что сделали с Тухачевским и тысячами других высших командиров. Знал бы — отказался от письма. Писать палачу о том, что он палач и негодяй?.. Еще не написанное письмо будет выглядеть не актом разума, а криком отчаяния, ступенькой на

плаху.

В один из майских дней три черные легковые машины — одна длинная, изящной формы, явно не отечественного производства, и две «эмки» — вдруг свернули с шоссе и остановились метрах в десяти от будки бетонщиков, почти против распахнутых ворот. Захлопали дверцы. Вышли военные. Возле большого, начальственно-грузного человека с густыми бровями сошлись восемь или десять чекистских руководителей, все в белых полушубках и фетровых сапогах, с кобурами на поясе под правой рукой. К ним подбежал начальник строительства майор Силаев, козырнул и долго, взволнованно докладывал.

Один из бетонщиков сказал вполголоса: <

— Да это же сам Дылда, ну, Павлов. Тот, что выше всех. А рядом, в пыжиковой шапке Гаранин, начальник лагерей. Тихо, братцы, давайте работать. Крути, Серега, машинку!

Пустая бетономешалка завертелась. В открытые ворота Морозов видел мохнатобрового и крупнолицего начальника Дальстроя, чуть ли не заместителя самого Ежова. Павлов стоял, насупившись, слушал майора, резко, с отмахом руки, ответил ему. И хотя Силаев все еще говорил, отвернулся, разглядывая растущие стены казармы, охранников с винтовками, вдруг появившихся чуть не в каждом втором окне. Гаранин (руки в перчатках за спиной) переминался с ноги на ногу, розоволицый, довольный собой человек с туго стянутой талией. Сергей смог убедиться, что палач не обязательно должен иметь плоскую рожу и вытаращенные глаза. Этот был щеголеват, подчеркнуто опрятен и спокоен. Что-то не понравилось Павлову. Сбычив голову, он произнес несколько слов для Гаранина, тот мгновенно подтянулся, вскинул руку к шапке и ответил на приказание коротким «есть». Павлов опять оборотился к Силаеву и с неохотой, с угрожающе поднятым пальцем, словно мальчишке, сказал несколько слов, после чего майор козырнул и отошел в сторону. Заговорил еще один, в белых бурках, в поблескивающих очках, кажется, рассказал подходящий к месту анекдот. Все, кроме Павлова, рассмеялись. Гаранин громче всех. И Сергей удивился, хмыкнул: этот палач может смеяться! Как все?..

Машины развернулись, высокие посетители уселись, захлопали дверцы, одна из машин обогнала «ролл-ройс» Павлова и пошла впереди, готовая принять на себя удар возможного террориста и сохранить драгоценную жизнь комиссара госбезопасности.

Только теперь Сергей ощутил испуг. Вот в чьих руках жизнь сотен тысяч заключенных, согнанных сюда со всех сторон великой страны! Вот кто сеет смерть и ужас на громадном, удаленном от

центра Северо-Востоке и ценою крови, ужаса, полного беззакония добывает золото! Да еще веселится… Или уж так природой устроено, что благородный металл всегда соседствует с кровью и смертью?

Повторяющаяся ирония бытия…

Часа через два к бетонщикам пришел Антон Иванович, очень рассеянный, с блуждающим взглядом, зачем-то осмотрел мешки с цементом, разворотил ногою гравий, поморщился: «много глины, не отмыто». Потом сел в уголке и надолго задумался. Бригада работала, все догадались, что у инженера плохое настроение, он обеспокоен и не находит себе места. Всегда доброе лицо его выражало сейчас недоумение и горечь, казалось, он мучается от невозможности поделиться с кем-нибудь своими горестями.

Когда работа закончилась, было еще светло, восемь часов вечера, в это время года ночи на Колыме становятся короткими, сумеречность сохранялась на час-другой, ее рассеивало рано подымавшееся солнце. Бригада догнала инженера, одиноко идущего в лагерь. Он как-то затравленно оглянулся и сказал Сергею:

— Загляни после ужина.

Прямо из столовой Морозов пошел в камору Антона Ивановича. Тот лежал на своей раскладной кровати, руки за головой, глаза закрыты. Но не спал.

— Садись поближе, сынок, — сказал он, чуть приоткрыв веки. — Что-то мне не по себе. Очень неприятный разговор был у оперчека. Вызвал, то-сё, а потом не велел выходить из зоны, отобрал пропуск. Допрашивал. Как это ни странно, по прошлому моему делу. Ну, когда в метро… Ничего нового я ему сказать не мог. Похоже, что ОНИ — он сделал ударение на этом коротком «ОНИ» — недоследовали всего, что им хотелось в Москве. А потом вернул мне пропуск очень неохотно, видно, по требованию майора: как же так, без инженера? Нужен. Иначе бы арестовали.

— Но мы все арестованные? Зачем же еще раз?

Ответа не последовало. Инженер опять прикрыл веки. Помолчал, потом сказал:

— Думаю, что в Москве раскручивают наше дело про метро. И меня в покое не оставят, это ясно. Вот и приезд высокого начальства… такое строительство — и отдано в руки вредителю, разоблаченному не до конца. По допросу у оперчека я понял, что наше «дело» где-то там раздувают. Посчитали, что обошлись с нами мягко. Если так, то не миновать более жестокого приговора.

— Да будет вам, Антон Иванович! — Сергей старался говорить весело. — Если и пересмотрят «дело», то в вашу пользу. Наверное, родные хлопочут, стараются помочь. И на стройке у вас

все нормально.

— Ты видел, что сам Павлов приезжал? Не любопытства же ради?

— По пути завернули, и все.

— Очевидно, есть повод. У меня какое-то нехорошее предчувствие. — Он рывком поднялся. — Ладно, кончаю панихиду. Поставь чайник. Мне из военного городка белых сухарей принесли. Вот!

И открыл тумбочку. Сладкий ванильный запах потек по каморке.

Пока пили чай, Антон Иванович молчал. Что-то его очень удручало.

Перед отбоем Сергей поднялся.

— Подожди, — остановил его инженер. И подал самодельный конверт. — Если со мной что случится — попробуй отправить письмо через одного из вольных. Техничку по безопасности знаешь? Вот через нее, например. Адрес я написал, но не жены, а сестры. Сейчас как раз вольнонаемные едут на «материк», в отпуска. Попытка не пытка, вдруг удастся?

Через два дня по лагерю тихим шорохом пронесся слух: инженера увезли в Ягодный. Взяли ночью, с постели.

Прошло недели три. Можно понять состояние Сергея и всей бригады: их по одному вызывал оперчек и все допытывался, как работал инженер. Но ничего плохого о нем сказать они не могли и не хотели.

Шел июнь, страх перед отправкой на прииски так и висел над осиротевшей бригадой. Сделалось совсем тепло, комары злодействовали над всей Колымой, тучами висели над стройкой. Делами здесь руководил какой-то крикливый техник. Начались перебои с кирпичом, с цементом. От Антона Ивановича никаких вестей. Кто-то сказал, что он в тюрьме, на следствии.

Конверт с письмом удалось передать той самой женщине, на которую указывал Антон Иванович. Она выехала в отпуск. Понимала опасность, но взялась.

И вдруг Антон Иванович появился на стройке, похудевший, постаревший, с таким выражением лица, словно никак не может решить сложную задачу, от которой зависит жизнь или судьба.

— Мужики, — сказал он, явившись в бригаду, — прошу вас — без расспросов. Было — прошло. У вас свое занятие. Отдадим ему дело, время и смекалку. Что было, то прошло.

Но это легко сказать — не думать. Не у тещи на блинах побывал Антон Иванович. В тюрьме! А почему в тюрьме? Вся Колыма — уже тюрьма. Оказаться еще в одной — ужасно! Выйти из нее — просто чудо.

Антон Иванович пребывал в мрачном расположении духа, ни разу никому не улыбнулся, не вступал в отвлеченные разговоры, нередко находил уединенное место и сидел там в одиночестве, опершись локтями на колени и закрыв лицо ладонями. Если кто из знакомых и видел его, то подойти не решался. Как и Морозов. Майор Силаев был сух в разговорах с инженером и касался только проблем стройки.

Шел Сергей с работы, замыкая цепочку. Их догнал инженер, тихо спросил:

— Что не заходишь, Сережа?

Тот не знал, что ответить. Как же без приглашения? Услышал тихое:

— Приходи после ужина. Поговорим, как бывало.

Антон Иванович приготовил чай. Были и сухари, и сахар. Было затяжное молчание, и вот тогда инженер сказал, как гранату бросил:

— Мне добавили еще пять лет. К моим десяти. Теперь сидеть одиннадцать. Решением Особого совещания в Москве. Пересматривали дело о вредительстве, кто-то там привязал нас к одному из главных процессов. Двух моих друзей-инженеров расстреляли. А мне еще пять. И вот для этих, уже в Москве решенных дел, засадили на двадцать дней в одиночную камеру. Ничего нового следователю я сказать не мог. Да они и не ждали, что я скажу. Для того, чтобы сделать больно, объявили, что жену мою посадили, так что письмо — ты, надеюсь, его отправил? — попадет в руки сестры, которую не трогали. Били: у них это же обязательное условие. Сильно били. Но я уже приучил себя к таким методам допроса, перенес и это. А потом дали расписаться под постановлением и любезно разъяснили, что из мест заключения ни при каких условиях я не выйду. И вот я снова здесь. Работаю. Живу. А зачем?..

Он сидел, обхватив ладонями кружку с остывающим чаем, смотрел не на Сергея, а куда-то в угол комнатки. В глазах его была удручающая тоска. Плохо смотрел.

А Сергей плакал, как обиженный мальчишка, вздрагивал от рыданий, старался успокоиться и никак не мог совладать с собой. Что-то уж очень страшное висело над ними всеми и здесь, и по всей стране, где палачи лихо экспериментируют, пытаясь обратить людей в колодочников или подлецов.

— Думаю, что хоть ты выйдешь на свободу, Сережа, — услышал он голос Антона Ивановича. — У тебя самый малый срок, ты один проходишь по «делу», а это уже облегчение. Ты молод, наконец. Нас в любое время могут разлучить. Запомни мое имя, фамилию. Кондрашов Антон Иванович. Кондрашов. Город

Москва, Стромынка восемь-восемь. Крепко запомни, любую запись у тебя могут найти, и тогда… Запомни, чтобы при случае отыскать моих семейных, рассказать им обо мне. Очень прошу тебя, Сережа.

— Клянусь! — вырвалось у Сергея. Припухшие глаза его, полные слез, смотрели на Антона Ивановича так, словно видели его в последний раз и хотели навсегда запомнить.

Снова потянулись дни-близнецы возле бетономешалки, на перекрытии, где приходилось работать с вибраторами, уплотняющими свежий бетон, с опалубкой — уже на третьем этаже. Инженер постоянно находился на стройке, он как-то согнулся, позабыл, что такое улыбка, и часто на ходу вдруг останавливался и минуту-дру-гую стоял, уставившись взглядом под ноги. Это был совсем другой человек, не тот, который энергично заботился о спасении своих строителей от этапов, который мог шутить, ободрять и находить возможность убеждать даже охранников.

Катилось короткое лето тридцать восьмого. День и ночь гудела машинами трасса. На Север, все на Север. И с грузами, и с людьми. Везли и заключенных женщин, все туда, на «Эльген». С этих машин летели на землю исписанные листки с просьбой отослать их в Ленинград, Новосибирск, Москву, Пензу, Ростов или Львов. Вохровцы разгоняли работяг и перехватывали полные горя и надежды письма…

Вот и на лиственницах стали появляться желтые хвоинки, нет-нет да и накатывал ночью морозный ветер, предвещая конец теплому месяцу. Хрустально-прозрачный воздух не мешал видеть в верховьях Колымы белозубчатый хребет и вспоминать Джека Лондона… А в лагере заговорили о полном свертывании незаконченного строительства: план добычи золота оказался под угрозой и тут уже не до строек.

В середине августа бригада вышла на работу, не дождавшись Антона Ивановича. Не пришел он и позже. В обеденный перерыв Морозов прямо с вахты пошел к его закутку. Дверь была наискосок заколочена доской. Он тупо смотрел на эту доску и что-то ужасное, очень тяжкое копилось в груди. Первое, что подумалось: неужели опять арестовали? С трудом, оторвавшись от созерцания страшной доски, он пришел к товарищам по бригаде и сказал, что инженера на месте нет. Машкова тоже не было. Он пришел через несколько минут мрачный и потерянный. Постоял в проходе между нар, вдруг стащил с головы старую кепку и глухо сказал:

— Царствие небесное нашему Антону Ивановичу…

— Что такое? — вскинулся Сергей.

— Ночью повесился. Утром сняли и увезли. Помянем хорошего человека! — И перекрестился, повернувшись к востоку. И все в бригаде — верующие и неверующие — поднялись и перекрестились.

…Сергей пошатнулся. Ноги, как ватные, стоять не в силах. А в глазах — все кругом идет. Ему дали воды. Стояли, утешали.

Он попробовал, крепко ли стоит. И потащился со всеми на вахту. Оставаться одному невыносимо. Все время мерещилась косо прибитая доска на фанерной двери.

Место инженера занял техник-строитель, бесшабашный вольнонаемный, достаточно пропитанный духом того времени — подлостью, хамством, желанием как-то приспособиться к обстановке и найти для себя более или менее уютное место в этом далеко неуютном мире. В строительстве — слабак, он довольно скоро допустил грубый промах: уложил на еще сырые стены тяжелое перекрытие. И часть стены, весь угол пошел трещинами. Враз понаехали чекисты, какие-то комиссии, техник не нашел иного оправдания, как злобно закричать:

— Вы поглядите, с кем я работаю! Сплошь раскулаченные или враги народа! Чуть отвернись и…

Эта история была, кажется, последней гирькой на качающейся судьбе строительства. Все остановилось. Лагерь ждал приказа на этап.

УТРЕННИЙ ВЫЗОВ

В конце августа, когда Сергей по привычке подсчитал, что оставалось отбывать пятьсот сорок шесть дней, его с развода вернули в барак. Нарядчик сказал:

— Собери вещички. На этап пойдешь. И жди вызова.

Липкий страх на какое-то время парализовал его. Машков успел подойти и обнять, поцеловал по-отцовски. А в голове Сергея все еще билась безвыходная мысль: «Почему? Куда? И одного…»

Мучился в пустом бараке почти до обеда. Сходил в столовую, поел. На выходе встретил нарядчика. Он искал Морозова. Сердито ему сказал:

— Бери вещи — и к вахте.

Около вахты Морозов простоял довольно долго. Чего только не передумал. Даже о тюрьме возникала мысль: все знали о его дружбе с покойным инженером. Вдруг повезут для дознания?..

Вышел начальник лагеря, спросил имя, фамилию, срок.

— Вот конверт. Тут все, что надо. Поедешь в Магадан, найдешь там УРО — учетно-распределительный отдел, отдашь конверт. Пайку и рыбу тебе сейчас принесут. И топай за вахту.

— А конвой?

— Сам доедешь. С попутной машиной.

Без конвоира?! Какой-то проблеск надежды. Вдруг разобрались и его везут освобождать? Нет, такого еще не случалось на Колыме. Зачем же в Магадан, когда можно сообщить на месте? Хлеб и кусок кеты он положил в свой сверток. Вахтенный открыл ему дверь:

— Выходи. Голосуй на трассе.

Впервые за почти полтора года заключения Сергей Морозов оказался без сопровождающего с винтовкой.

Стоял на шоссе, одетый совсем не по сезону, в полушубке, шапке, и подымал руку. Машины проскакивали, обдавая его пылью и гарью. Десятая, а может, и пятнадцатая, притормозила.

— Куда? — крикнул шофер, высунувшись из кабины.

— В Магадан.

— Садись, вдвоем веселей, не уснем. Ехать всю ночь. Печку будешь топить, если захолодает. Ты вольняга или зэк?

— Зэк. Зачем-то отправляют в Магадан.

— На волю, факт! Паспорт выпишут и дуй на пароход! Повезло, парень. Ты по какой?

— Особое совещание.

Шофер присвистнул и покачал годовой.

— Не-е, это не на волю. С такой статьей запросто не отпускают. Писал прошение?

— Не писал. Чего зазря писать?

Водитель был словоохотлив, он ехал издалека, где-то за Аркагалой ему погрузили руду, из которой выплавляют то ли олово, то ли свинец. Тяжелый груз.

— Касситерит, — подсказал Сергей.

— Точно. Грамотный ты, видать.

В кузове небольшой горкой лежали брезентовые мешки. Ехали скоро, без остановок, вот и знакомый Спорный проскочили. К вечеру похолодало, Сергей расшуровал печурку, такие печурки установили в кабинах после нескольких трагедий: стоило зимой мотору заглохнуть, как шофер оставался один на один с жутким морозом. И замерзали — вдоль шоссе были многоверстные пространства без всяких признаков жилья и леса — только навороченные холмы промытой породы. Печка между ног у пассажира и два мешка чурок позволяли провести в ожидании помощи длинную ночь.

Ехали с разговорами, стараясь перебороть дрёму, даже песни пели, конечно, и про бродягу, который к Байкалу подходит. Ночь казалась необычайно долгой, часов у шофера не было. И месяц на небе не показывался, темень жуткая, очень редкие машины здоровались с ними, мигая светом. Если шофер задремывал, Морозов толкал его, разговаривал. Будил, в общем.

Одолели ночь, часов в десять были в Мяките, там остановка: столовая для шоферов и вольнонаемных.

— Тебя не пустят, — сказал шофер. — Давай пятерку, принесу пожевать.

Пятерки у Сергея не было, но шофер, сам бывший зэк, все же принес хлеб, кусочек вареного мяса и бутылку ситро. По очереди сбегали «по нужде» и, хоть клонило ко сну, поехали дальше.

На спуске к Магадану шофер спросил:

— Тебе куда велено?

— В УРО Севвостлага. Не знаешь где?

— Нет. Вон там — смотри — высокое здание слева, видишь? Это Дальстрой, где все начальство. Я высажу тебя у почты, там и спросишь, где это самое УРО.

Шла вторая половина дня. Накрапывал дождик, было сыро и неуютно. Сергей постоял у моста, пошел на почту. Хотел, было, написать и послать письмо, но даже конверта не на что купить. Подавил стеснительность и попросил у какой-то женщины рубль, она удивленно оглядела его, инстинктивно прижала сумку к груди.

— Ты лагерный?

— Да, — сказал покрасневший Сергей. — Вызвали сюда, надо в УРО, учетно-распределительный отдел, не знаете где?

— Ну как же, это совсем близко, вот на той нижней улице, двухэтажный деревянный дом, там раньше весь Дальстрой помещался. Ты совсем без денег, парень?

И протянула зелененькую трехрублевку.

— Спасибо. — Сергей покраснел. Даже уши загорелись. Впервые в жизни милостыня…

В руках у него оказалось пять конвертов, удалось пристроиться у конторки и овладеть ручкой. Она была толстая, гадкая, перо брызгалось, но первое, что он сделал, это достал из-за пояса то самое письмо, которое ему вручил Антон Иванович перед кончиной:

«Москва, Стромынка восемь-восемь, Кондрашовой» — так написал на новеньком конверте, приклеил марку и тут же опустил в почтовый ящик. А потом уже взялся за письмо домой. «Жив-здоров, переводят на другое место, когда будет адрес, напишу подробней обо всем». И тоже опустил в ящик. Лишь бы дошло.

Шел по улице и почему-то все время оглядывался. Казалось, что конвоир шествует позади. Все было внове: и высокие дома в три и четыре этажа, и асфальт на главной улице, и сам воздух, влажно-едкий и прилипчивый. Свернул к главному зданию, обошел его стороной и остановился. Где-то здесь была многолюдная пересылка, куда они пришли колонной от бухты Нагаева…

На него оглядывались, он вспыхнул, догадавшись, как нелепо выглядит в своем полушубке, потемневшем от беспрерывного пользования, в своих грубых ботинках, прошнурованных бечевой. В городе жили вольнонаемные, пограничники, служащие НКВД, разные специалисты, для них вид этого парня был подозрителен, неприятен, тем более что он не на работе, а просто шатается, может, приглядывается, чтобы обобрать.

Сергей сжался и опустил голову. Полтора года тюрьмы и лагеря переделали его облик, изменили его мысли, подтолкнув к рабской покорности, к готовности подчинения. Он отвык от самостоятельности действий и поступков, его робкий взгляд вызывал у одних жалость, у других брезгливость. Шатаются тут всякие… Ведь это был город, в котором все знали о существовании рядом с ними Страны заключенных — «врагов народа», бандитов, террористов, жуликов всех мастей.

Испугавшись неизвестно чего, Морозов пошел вниз по улице к двухэтажному дому без вывески, открыл дверь и очутился нос к носу с вахтером.

— Чего тебе? — грубо спросил тюремщик с наганом на животе.

— Вот конверт…

Тот взял конверт из рук Морозова, недоверчиво осмотрел, перевел тот же профессиональный взгляд на Сергея, приказал:

— Постучи вот в это окошко. И сдай.

Оконце открылось, показалась голова, лицо в очках. Через минуту послышался голос:

— Сиди и жди.

Сергей послушно сел на один из пяти стульев. Охранник взглянул на него раз, другой и принялся за прерванную работу: он вытачивал из корня трубку.

— Морозов, подойди сюда. Морозов! — раздалось из окошка, когда Сергей уже дремал. Тон был нетерпеливый, командный. Охранник вскочил. Но Сергей уже стоял у окошка.

— Подымись на второй этаж, третья дверь слева. Постучи и назови себя.

Проскрипев по ступенькам, Сергей остановился у названной двери, осторожно постучал.

— Входите, — раздалось оттуда.

Последовал допрос: фамилия, имя, отчество, возраст, профессия, статья, срок, где отбывал — все это строго, без взгляда в его сторону, словно сам он, как личность, не представлял для чиновника в форме никакого значения, — все одним тоном, на одной ноте. Значила здесь только бумага, а он служил этим бумагам. За столом сидели еще двое. Они сосредоточенно играли в карты. Все стены комнаты были установлены полками с ящиками. Картотека. Человеческие души.

Морозову вручили новый конверт.

— Вот так, — сказал чиновник. — Этот конверт вручишь начальнику лагеря в Дукче. Знаешь Дукчу?

— Нет.

— Двенадцать километров по шоссе на север. Выйдешь к мосту за почтой и попросишь любого шофера подвезти. Ясно? Никуда не отлучаться, по городу не ходить, комендантский патруль арестует. Ясно?

— Да, — сказал помрачневший Сергей. Он понял, что его просто переводят из одного лагеря в другой. Все светлые призраки исчезли. Но ведь и это хорошо! Угроза смерти осталась где-то за пределами видимости.

Оказавшись на улице, Морозов почувствовал жажду, голод. Рот высох, в голове все путалось. Уснуть бы… Переборов эту слабость, он пошел к почте, на пути увидел ларек, двух мужчин у ларька, встал за ними.

— Пива опять нету, — буркнул передний. — Вечно у них… — И, матюкнувшись, ушел. Сергей купил бутылку ситро и пачку печенья. Тут же, за ларьком, где валялись ящики, сел, выпил всю бутылку, съел половину печенья. И пошел к шоссе.

С машиной ему повезло. Большой грузовик притормозил, шофер спросил:

— Куда тебе?

— В Дукчу.

— Всего-то… Ну, садись. Я думал, ты подальше, попутчиком будешь. Работаешь в совхозе?

— А там совхоз? — Радость робко пробилась к сознанию, улыбка осветила лицо. Совхоз!

— Откуда сам? — любопытствовал шофер.

— С Дебина. Получил новое назначение. — И показал конверт.

— Ну, молись Богу. Срок большой?

— Полтора года осталось.

— Тут и проживешь. Это тебе не «Мальдяк».

— А что — «Мальдяк»? — Сергей не впервые слышал это название.

— Прииск золотой. И кладбище для заключенных. Лучше про него не знать.

Через полчаса Морозов выпрыгнул из кабины доброго шофера, сказал «спасибо» и увидел в сотне шагов от шоссе ярко освещенную лагерную вахту.

Входил он безбоязненно. Конверт отдал лейтенанту, тот прочитал бумагу, оглядел Сергея.

— Нож, пилка, папиросы, водка есть? Расстегни одёжу.

— Ничего нет. Вот, три двугривенника в кармане.

— Ладно, идем. — И пошел впереди к баракам.

Это был обычный барак, в нем горел свет, довольно свободно сидели, лежали заключенные, разговор шел громкий, на минуту-другую приутихли, когда они вошли. Лейтенант подозвал старосту:

— Прими нового, — и ушел.

Староста, мужчина лет тридцати пяти, с лицом сытым и довольным, осмотрел Сергея, спросил — откуда, не выказал удивления, только поморщился, когда узнал, что курева у новенького нет. И показал на свободное место на нарах. После чего интерес к Сергею у него пропал. И очень кстати. Едва сняв ботинки и улегшись под своим полушубком на место, Морозов уже спал мертвым сном. Столько событий за один день!

* * *

За навигацию 1937/38 года, за какие-нибудь семь месяцев, полдюжины теплоходов с помощью ледоколов «Красин» и «Седов» перевезли с пересылки «Вторая речка», которая находилась под Владивостоком, на Север более ста сорока тысяч заключенных, проживших по нескольку месяцев на пересылке.

До этого события за пять лет, начиная с 1932–1933 годов, по этому же маршруту на Колыму ГУЛАГ успел доставить более шестисот тысяч заключенных, среди которых доля «врагов народа» росла год от году и к тридцать седьмому составляла четыре пятых от общего числа невольных переселенцев.

На том же транспорте через японские воды на работу в Даль-строй, у которого имелось в Москве свое Управление, по договорам и направлениям в Магадан прибывало много вольнонаемных специалистов. Манили их не дальние края, не романтика, не погоня за впечатлениями, а большие деньги. Заработок на Дальнем Севере выплачивался в двойном размере от такого же в центре страны. Полагалась еще ежегодная процентная надбавка к месячному заработку. Проработав три года, вольнонаемный сотрудник Даль-строя получал почти два оклада и восьмимесячный отпуск, естественно, с правом на путевку в любое место благословенного юга страны, где полагалось поправить здоровье колымчан, подорванное не столько необычным климатом, сколько однообразным питанием. Здесь весь год не было овощей и плодов — источников витаминов и всяческой благодати. Не последнюю роль для людей имел и спирт, его в учреждениях и предприятиях на севере всегда хватало. Естественно, употребляли его в количестве, которое и не снилось средне-русским алкашам…

При заключении договора каждому вольнонаемному довольно подробно объяснялось, что рядом с ним на Колыме, не всегда под охраной, будут работать заключенные, среди них и «враги народа». С ними никакого контакта! Тем более знакомств или помощи в чем-нибудь. Так называемые «акты милосердия» строжайше наказываются, вплоть до судебного преследования. Объяснение подкреплялось письменным уведомлением о таких мерах, под которым и расписывались инженеры, врачи, учителя, горничные, машинистки, водители и прочие, прочие, прочие… Добавлялось, что совать нос в лагерные дела категорически запрещается, даже простые разговоры с заключенными строжайше наказываются.

Все поощрительные и поучительные разговоры и документы имели воздействие только в первые месяцы пребывания на колымской работе. Дальше режим как-то сам собой смещался: просто невозможно было не разговаривать, не поделиться

мыслями инженеру с мастером-десятником на прииске, пусть он и какой-то там вредитель. Трудно ходить, не открывая рта, на строительстве, где все, кроме тебя, заключенные, которые нуждаются хотя бы в наставлении. Общение вольных и заключенных всюду было реальностью.

К лету 1938 года на Колыме была построена автодорога почти на тысячу километров от Магадана. Сам этот город уже мог претендовать на звание столицы края. Здесь были Магазины и столовые, рестораны с очень бдительными швейцарами из вохровцев — с особенным нюхом на бывших заключенных, тем более на пронырливых уголовников, по роду занятий имеющих право на свободное хождение.

Разноликий конгломерат людей разного обличил, воспитания, образования (от генералов НКВД до авантюристов, уголойников и «врагов народа») собрался на Колыме, территория которой, кстати, находилась тогда под юрисдикцией далекого краевого центра — Хабаровска.

Истины ради отметим, что слово «юрисдикция» (круг полномочий) на деле ничего не значило для руководства Дальстроя. Тот же Павлов свысока разговаривал с секретарем Хабаровского крайкома или председателем крайисполкома, когда они однажды решились посетить «свои» владения на Северо-Востоке, доходящем почти до Берингова пролива.

Отметим также, что ни органов Советской власти, ни привычных органов партийного руководства на территории Дальстроя тогда не обнаруживалось. Здесь было свое собственное Политуправление, которым дольше всех ведал генерал-майор Сидоров, а вместо Советов был Отдел административных органов при Управлении «Дальстрой». Политуправление Дальстроя подчинялось Политуправлению НКВД на Лубянке, а не ЦК ВКП(б), административный отдел «выходил» на соответствующее Управление на Лубянке. Верховный Совет СССР от руководства на Северо-Востоке был начисто отстранен…

Здесь царило строжайшее единоначалие. Оно сосредоточилось в руках Начальника Дальстроя. Комиссар Павлов являлся царем и богом всей огромной территории Северо-Востока.

Покойный Эдуард Петрович Берзин начинал освоение Колымы не только со строительства дорог, приисков и поселков для жилья. Как и всякому думающему человеку, ему виделся этот отдаленный заморский край как самостоятельно действующая территория страны — со всеми необходимыми службами и заботами. И даже при сравнительно небольшом количестве заключенных и вольнонаемных в те годы ему было ясно, что

первейшей нуждой холодного края будет обеспечение людей собственными продуктами питания. На всех совещаниях Берзин непременно подчеркивал эту проблему, отчетливо сознавая, что за два моря сюда продуктов не навозишься. Что позволит природа сурового края, то непременно надо получать на месте. Зерно, конечно, так и будут возить за два моря, поскольку рожь или пшеницу здесь не получишь. А вот мясо, молоко при больших еще не освоенных естественных лугах получить можно. И какие-то овощи тоже можно, так, во всяком случае, говорили агрономы, приехавшие сюда по приговорам. Есть возможность иметь кислую капусту, свежие морковь и лук, что там еще?..

От слов тогда же перешли к делу. Организовали четыре совхоза, маленькие хозяйства — ядро будущих больших. Не оставили без внимания хилые фактории, влили в них новую жизнь и деньги, чтобы способствовали выращивать больше оленей. Создали несколько рыболовных бригад, чтобы ловить и солить кету, горбушу, кижуча.

Ушел в небытие Эдуард Берзин. Его место занял человек абсолютно безнравственный, властолюбивый. Павлов задался целью показать, что может настоящий «хозяин». Нисколько не заботясь о цивилизованном освоении края и о будущем его, как это делают люди, собравшиеся жить здесь не год и не два, а долгое время — и жить нормальной, обеспеченной жизнью, команда Павлова все подчинила одной всепоглощающей цели: дать золота больше, чем давали при Берзине. И все силы и технику бросила на прииски, не жалея ни людей, ни техники, ни — что страшнее всего — самой природы, и без того бедной и легкоранимой.

Карьеры покрыли язвами горную Колыму. Реки истощались на промывке, леса нещадно вырубали, хотя лиственница достигает здесь зрелости только к двумстам годам.

За первые два года оголилась половина сопок вокруг поселков, хотя каменный уголь был под боком. Долины рек, где росла трава, а вейник Ландсдорфа подымался к сентябрю до пояса, оказались израненными следами вездеходов — уже не сенокосы, а болота. Кладбища, а попросту старые карьеры, наполненные трупами, покрыли безлюдные распадки. Палатки, а не дома указывали на метод временного проживания: приехал, взял золото или касситерит и уехал, забросив поруганную местность.

Это было не освоение богатейшего края, где можно добывать золото десятилетиями и веками: это был хищнический налет, грабительское нашествие, когда истреблялись не только люди, но и природа.

Расплата за лихой наскок на Колыму ускорилась, когда теплоходы стали привозить заключенных куда больше, чем «планировали»: сразу больше ста тысяч за сезон! Рассовывали их скоро, карьеров и шахт было предостаточно, и «отход» все увеличивался. Но и едоков прибавлялось. А в Нагаево везли только муку, зерно для каши и небольшое количество жиров. Резко недоставало молока для вольнонаемных с семьями. Овощи брали в магазинах штурмом.

И Павлову, хотел он этого или не хотел, пришлось вернуться к проблеме продовольствия на месте. Даже у такого матерого человеконенавистника, как он, в минуты здравого размышления над документами о населении и количестве продуктов, возникало чувство раздражения, прежде всего в адрес ГУЛАГа, который обязан знать — и знает! — что пора ограничить число заключенных на Колыме, прекратить поток их сюда хотя бы на время. Нет же, везут и везут. Чем кормить? Сколько бы ни погибало на приисках, сколько бы ни расстреливал Гаранин со своими комендантскими взводами, количество едоков прибавлялось, а еду для них с «материка» посылать не торопились.

Раздраженный не очень приятными сводками о падающей добыче золота, Павлов отчитал сначала своего заместителя по геологии генерал-майора инженерной службы Цареградского за слабо расширяющийся ареал золотодобычи, отчего, по его мнению, суточная добыча золота упала до постыдной цифры. Генерал-майор, ловкий и удачливый службист, уже присвоивший себе лавры первооткрывателя золота на Колыме, только и сказал в оправдание:

— Фронт расширяется за счет Теньки и Юго-Запада. Но там некому работать. Привозят, а уже через месяц добрая треть — под сопкой. Мы только снимаем «сливки», Карп Александрович, бросаем даже такие россыпи, где десять граммов на кубометр…

Отпустив Цареградского, начальник Дальстроя вызвал своего заместителя по снабжению генерал-майора интендантской службы Комарова и выслушал его доклад очень нерадостного содержания. Да, на складах продуктов в обрез. Да, на радиограммы его не отвечают или отделываются общими обещаниями. Да, зимний фонд не прибывает… Запас на два месяца.

— А потом? — И Павлов уставился из-под мохнатых бровей на заместителя.

Тот пожал плечами. Что мог ответить раздраженному комиссару? В кабинете повисло молчание. Тяжелое молчание, которое, известно, кончается бурей.

— Позвольте предложение, — с отчаянной решимостью в голосе произнес Комаров.

— Ну? — Павлов остановился, руки за спиной, и не сводил глаз с заместителя.

— Надо увеличить производство продуктов на месте. Четыре совхоза-маломерки погоды не сделают, их доля в производстве овощей ничтожна. Непременно создавать новые совхозы. Увеличить возможности старых, где есть какой-то опыт. Капусту они научились выращивать превосходную, а что касается молока и мяса…

— Открытий… — тон комиссара насмешлив. — Почему эта мысль не пришла тебе в голову раньше? Или ждал, пока жареный петух в ж… клюнет? В конце концов, ты несешь ответственность за положение с продуктами, и я спрошу с тебя, если начнется голод. А он на горизонте. Запас на два месяца. Кто допустил? Что молчишь?

А что мог сказать Комаров? Всем в Дальстрое известно, что когда «уехал» из Магадана Берзин, создавший эти «четыре маломерки», сам Павлов выразился в том смысле, что Дальстрой явился на Дальний Север не капусту выращивать и не огурцы солить, а добывать золото и олово всеми силами, которые есть или прибудут в их распоряжение; что разбазаривание заключенных по разным там совхозам, лесозаготовкам и всякой другой мелочевке он посчитает вредительскими действиями — со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Мог ли Комаров, пусть и генерал-майор, но подчиненный комиссару, даже слово сказать о совхозах или подсобных хозяйствах, о всяких там сенокосах и лугах, об откорме свиней при вольняшних столовых, о рыбной ловле или дорогах к местам с более теплым микроклиматом, уже определенных Управлением по сельскому хозяйству для той же практической цели: организации совхозов, скажем, вдоль Охотского побережья, куда заключенных не пускали по соображениям охраны границы. И вдруг — такой оборот! Павлов, чьи помыслы были устремлены только на увеличение добычи золота и на «основное производство» — пусть и ценой гибели тысяч заключенных, предусмотренных многолетней политикой карательных органов и в годы «великих чисток», и коллективизации, и в теперешнем положении, — вдруг заговорил о совхозах!

Оплывшее лицо генерал-майора оживилось. Он осторожно кашлянул и сказал:

— Могу я считать этот разговор и вашу замечательную мысль об открытии новых совхозов как приказ действовать именно в этом направлении?

— А как ты думаешь? — огрызнулся комиссар. — Самому надо действовать, а не дожидаться, пока возникнет критическое состояние. А кто довел, как не ты? Изволь теперь искать выход из положения!

— У нас не было условий, товарищ комиссар. Техники, денег, особенно кадров. Все пошло на основное производство.

— Техники, кадров, — в том же издевательском тоне повторил Павлов. — Одних тракторов в хозяйстве более двух тысяч; если передать совхозам три десятка, на приисках и не заметят. А заметят, так закроют брешь тремя тысячами троцкистов, которые с кайлом. В лагере хоть отбавляй всяких специалистов — агрономов, землемеров, профессоров, даже бывших министров, они с радостью побегут в совхозы. Начинай выкручиваться из положения, я буду держать твою работу на контроле. Чтобы завтра к семнадцати часам у меня на столе были все расчеты для создания новых совхозов с большой площадью под огородами. Управление сельским хозяйством потряси, они что-то замкнулись и помалкивают. Свяжись с Гараниным, он тебе табун специалистов пригонит для новых совхозов.

— А если специалистов со статьями?..

— Лишь бы умели работать. И с небольшими сроками, чтобы закрепить их на Колыме после освобождения.

— Времени уйдет много, товарищ комиссар. Работа эта сложная. Все-таки север. Особые условия. Ваше указание — это расчет на будущее. А вот сегодня что делать? Могу я дать радиограмму за вашей подписью о зимнем караване судов с мукой, зерном и другими продуктами? /

— Да. Через час, не позже. Я уеду на трассу. Кстати, помню, как ты мне показывал хорошую картошку, кажется, из Тауйска. Или соврал?

— Именно из Тауйска, только там она родит хорошо. А севернее — лишь капуста, редиска, репа и другие корнеплоды — так мне доложили специалисты из Управления.

Павлов промолчал, уселся за стол. Комаров, пятясь, осторожно закрыл за собой двойную дубовую дверь. В приемной достал платок и вытер шею.

— Сурово обошелся? — вкрадчиво спросил адъютант, отрываясь от чтения какой-то записки.

— Было, было… — И тут же взял телефонную трубку.

Гаранина на месте не оказалось. Тогда Комаров позвонил начальнику учетно-распределительного отдела Севвостлага и уже тоном приказа повелел связаться с начальником Управления сельским хозяйством полковником Швецом, чтобы совместно отобрать полсотни или даже сотню специалистов для сельского

хозяйства.

— Приказ Павлова, — многозначительно добавил он.

Почти сразу же, как Комаров вошел в свой кабинет, ему позвонили из Дукчи.

— Если не секрет, для какой цели нужно столько специалистов? — спросил полковник Швец.

— Указание Павлова — создавать новые совхозы. И расширять старые.

— Может быть, товарищ генерал-майор, лучше начать не с людей, а с выбора места под совхозы? Изыскания, метеоданные, исследование почв.

— *Я* передаю тебе слова Карпа Александровича: отобрать из заключенных самых подходящих специалистов. Вот они и займутся исследованиями. Свяжись с начальником УРО. Немедленно, понял?

— Так точно. Два года назад мы хотели этим делом заняться. Не получилось. Так хотя бы теперь…

На втором этаже УРО лейтенанты зашуршали карточками. Им предстояло просмотреть десятки тысяч учетных данных, выискивая в графе «специальность» слова «почвовед», «агроном», «мелиоратор», «метеоролог», «топограф». Предпочтение отдавалось не столько бывшим крупным наркомовским работникам, службистам, сколько практикам, арестованным в совхозах, колхозах и на опытных станциях. На этом настаивал Швец, бывший зоотехник с большим стажем, пока не оказался в рядах сотрудников НКВД.

Одним из отобранных в те дни специалистов оказался и Сергей Морозов. Попалась его карточка в руки просматривающих. В графе «специальность» у него стояло слово «агроном».

Судьба? Случай?..

РОБКИЕ ШАГИ ПО ДУКЧЕ

Подъем в совхозном лагере стучали в семь утра, когда едва начинался рассвет. Рельса была с узкоколейки, она звучала несколько мелодичней, чем в лагере «Незаметный» и на стройке. И не так назойливо. Лагерь был небольшой.

Барак просыпался дружно. Сосед Сергея слева, пожилой человек, сказал:

— Я пойду оправлюсь и умоюсь. А ты посиди. Тут воров хватает. Покарауль. Потом я покараулю.

На этих же нарах непробудно лежали три одногодка Сергея, какие-то худющие хлыщи с недобрыми глазами. Еще вечером от них резко несло валерианкой, пили из аптечных бутылочек, дурели, до полночи что-то бормотали, совались к Сергею с бессмысленными рожами. Алкаши. Утренний подъем их вроде не касался.

Сосед пришел, сказал Сергею: «Топай» и стал одеваться.

В людской толчее у вахты Сергей увидел необычную картину: впереди колонны стояли женщины, одетые в телогрейки и брюки, но с явно нелагерными цветастыми платочками на головах. И у каждой — на то они и женщины! — на шее, в ушах, на телогрейке было что-нибудь цветастое, приятное глазу: бантик, сережки, вышитая кошечка или цветок. Стояли они тихо, старые и молодые, очень разные, с броскими или ординарными лицами, с лукавыми или потухшими глазами, с неистребимым желанием выглядеть лучше, чище, привлекательней. Пусть тюрьма, пусть лагерь и тяжелая работа, но надо оставаться самими собой. И они оставались!

Разводящий сержант накричал на ближнюю к нему молодую женщину и приказал снять серьги. Блондинка вспыхнула, но не огрызнулась, сняла одну, потом другую и зажала в кулаке, чтобы за вахтой нацепить снова. В последних рядах колонны осторожно переступали старые женщины, они шли трудно, две с палочками постоянно отставали. Тогда отставал и вохровец, но не понукал. Стыдно. Лица бабушек застыли в постоянной покорности судьбе. Кто они?..

В мужской колонне разговаривали, отрывисто спорили, но матерились редко. И тут сказывалось присутствие женщин.

Шли обочь трассы, потом свернули в ворота агробазы и разошлись по привычным местам. Почти половина женщин свернула к скотным дворам, где на кормовых площадках стояли и жевали траву черно-пестрые коровы. Остальные поднялись к парникам.

Сергей не знал, куда ему, стоял рядом с конвоиром.

— Новенький? — спросил его смуглолицый десятник. — Откуда прибыл? Статья?

И, едва выслушав, приказал:

— Давай на очистку парников, бабочки там замучились. Видишь тачки? Одна твоя. Вози перегной в бурты.

Женщины разбились группами, по двое, по трое. Тачки стояли в узких проходах между парниками. Сергей перепрыгнул через парник и приподнял тачку. Она оказалась легкой. Не такая, как для бетона.

— Я готов, — сказал он двум молодым женщинам, которые стояли, опершись на лопаты.

— А мы не готовы, — с игривостью отозвалась одна. — Не торопи, пожалуйста, ударник.

Они сняли платочки, причесывались, оглядывали друг друга и делились новостями. Сергей не вытерпел, взял лопату и, спрыгнув в парник, принялся наполнять тачку перегноем.

— Какой ты прыткий! — без обиды, скорее удивленно, сказала одна. — Ты откуда возник, парень?

— Со стройки, отсюда четыреста шестьдесят километров. А до этого на прииске работал.

— Актировали по болезни?

— Нет, я не больной. Отправили, не спросили.

— Так просто у них не бывает. Вот отсюда — это часто. Позавчера тридцать мужиков усадили в машину — и прощай навеки! Ты по какой?

Он сказал. Женщины переглянулись и промолчали.

Работали они не очень азартно, так, чтобы не устать. Сергей стоял, пока грузили тачку, а когда увозил перегной, они стояли или сидели. Иногда грузила одна, а другая сидела, смотрела на себя в зеркальце, лениво разговаривала. Сергей тоже стоял и скучал. Наконец, брал лопату и грузил сам. Женщины смеялись.

— Вот это по-рыцарски, — сказала она. — Так мы, пожалуй, и норму с тобой выполним. Вижу, что силу на прииске ты не порастратил, да?

— Работал, как все. По-другому не получалось.

— Давай-давай! Срок у тебя большой? Много осталось?

— 424 дня. А срок три года.

— А нам отмерили по восемь. Члены семей «врагов народа», слышал такое?

— За что же? — Он был удивлен. Женщин? Членов семьи?..

— У меня отца расстреляли, у Зиночки неизвестно где мать, где отец. А нас, чтобы не скучали в одиночестве, — вот сюда. Так что дни нам еще рано считать. Вот и не торопимся.

После этого грустного признания они долго молчали. Сергей ставил пустую тачку на край парника, сам грузил, сам возил, напарницам возить не давал. Они сперва засмеялись — как это он один за троих думает управиться, но потом не усидели и тоже стали грузить.

Острый пряный дух спелого перегноя все время щекотал ноздри Сергея. Он знал цену этому добру. Еще в своем Унгоре уговаривал колхозников навозить поля, но там ему просто объяснили, что с навозом или без, ихний урожай все одно увозят не в колхозный амбар, а государству. Чего стараться?.. А здесь, на Севере, где так нужны овощи, перегной — великое добро. Это он понимал.

Неразлучной троицей они работали почти неделю. Их похвалил десятник, спросил у Сергея фамилию, специальность: И переспросил:

— Агроном?

— Да. Только стаж у меня маленький. Не успел.

— Зато Колыму увидел. Вот судьба-то. К тебе наш главный не подходил, тот, что с усами? Пышкин его фамилия.

— К нам никто не подходит, кроме конвоира.

— Я к тому, что главный агроном должен о тебе знать.

Напарницы смотрели Сергею в рот.

— Вот почему тебя с северов сюда послали! — догадалась темноволосая, едва ли не его ровесница, Катя. И переглянулась с подругой, маленькой полнолицей Зиной: — Агрономом у нас будешь, это точно!

Сергей промолчал. Он любой работой доволен. Кормят в лагере лучше, даже щи были на ужин, в бараке более или менее спокойно. И если бы не урки, которые ухитряются не выходить на работу, а ночью режутся в карты, шепчутся по углам с блатными девками да норовят прицепиться, ввязаться в ссору, — то жить здесь можно.

Все эти дни Сергей осматривался, стараясь понять, почему совхоз построили у самой трассы, да еще на довольно крутом склоне ниже которого была пойма реки с еще неубранной, явно недозрелой капустой, а выше парников стояла большая односкатная теплица. Когда открывали фрамуги, из зеленого нутра ее выглядывали лопушистые огуречные плети и доносился запах спелого огорода. Очень удобное, к солнцу обращенное место, холодные ветры обходят сопку с двух сторон. Микроклимат уловили, вот в чем дело. Для совхозов Колымы только такие места и пригодны.

Осень уже давала о себе знать. В Дебине теперь уже зима, снег кругом, а тут все по-осеннему. Лиственничный лес по ту

сторону долины пожелтел, желтизна огромными языками спускалась до самой долины, где зеленела капуста. Откуда-то из-за сопки напротив приходили тучи — низкие и стремительные, они сыпали на землю мелкий и холодный дождь. Работали и под дождем, потом всю ночь сушили в бараках одежду. Три последних дня по трассе днем и ночью шли вереницы машин, многие с людьми. Говорили, что в Нагаево прибыл очередной теплоход.

Магадан был близко, но его закрывала округлая сопка. Вправо от усадьбы совхоза уходила широкая долина с ручьем. Что там было, в этой долине? У Сергея возникало острое желание сбежать вниз, побродить по этим таинственным местам, побывать у речки, где, наверное, есть и рыба. Тянуло войти в ярко-желтый лес лиственниц и пошуршать сухой травой. Это так понятно после двух лет подконвойного житья-бытья. Здешний конвой-скорее для виду, чем для охраны: три вохровца на все парниковое хозяйство, где работало около ста человек. Охранники прохаживались внизу около трассы и караулили подходы к работающим. Пересчитывали заключенных только утром и вечером, у вахты.

Скоро парники были вычищены, большие бурты перегноя стали грузить на машины и увозили в долину. Ее называли Дальним полем.

В одно серенькое — с морозцем — утро десятник сказал Сергею:

— Возьми двух хлопцев, вон они стоят с лопатами, и давай на погрузку перегноя. Будете ездить с машинами и там, в поле, выгружать. Разметишь колышками где сваливать. Расчет такой: шестьдесят тонн на гектар, тридцать ездок. Сторожа увидишь, он покажет поле, которое под морковь и свеклу.

— Охрана тоже поедет?

— Обойдетесь без них.

Два парня попались работящие, оба по пятьдесят восьмой, деревенские, откуда-то из-под Орла. Работали по-настоящему, пока ехали — отдыхали, Сергей в кабине. И какое же приятное ощущение воли вдруг испытал он. Никто возле тебя не бдит, и нет карающей винтовки. Хоть песни пой.

Сторож на Дальнем поле — высокий старик с красным лицом и седой бородой, голубоглазый, приветливый, Любимов по фамилии, угостил грузчиков пареным турнепсом, сладковатым и сочным. С третьей поездки Сергей догадался привозить угощение Зине и Кате, они работали поблизости, разгружали машины со свежей дерниной, готовили почву для парников.

Однажды к Сергею подошел черноусый агроном Пышкин, о котором ему говорил десятник. Кажется, он ждал Сергея. Осмотрел с головы до ботинок и спросил без улыбки:

— Хлебнул горя?

— Все было, — сказал Сергей, не опуская глаз.

— Я просматривал твой формуляр, знаю, за что и сколько. Опыт у тебя невелик, а для здешних условий и не всегда пригоден. Но ты трудолюбивый человек. Будешь работать у нас постоянно. Закрытого грунта — парников и теплиц — ты, конечно, не знаешь. Начинай набираться опыта, присматривайся. Переходи жить в большую теплицу, к опытному Кузьменко. Он еще с летним урожаем не успел справиться, а уже пора готовиться к зимней выгонке. Вообще, вживайся в новое дело. Его надо понять душой, а не только умом. Сегодня я договорюсь с начальником лагеря, а утром ты со своими вещичками — к Василию Васильевичу. Ну, а дальше — видно будет.

Агроном ушел, Сергей стоял столбом, ошарашенный. Боже, какая радость! Как в сказке!

Из лагеря Морозов вышел с вещичками под рукой и все оглядывался, все не верил, что совсем один, без конвоира. По дороге ему встречались хорошо одетые люди, они выходили из большого одноэтажного дома, продолжали какие-то неоконченные разговоры, не обращали никакого внимания на парня. Сергей носил теперь комбинезон из грубой синей ткани, который выдал ему покойный Антон Иванович на Дебине. Под рукой он нес крепко постаревший полушубок, шапку, пару белья — все свое при себе. С любопытством всматривался в лица людей, непохожих на лагерных сотрудников. И догадывался, что это идут с работы его коллеги — агрономы, зоотехники, землеведы, поскольку выходили они из здания, где висела доска с надписью: «Управление сельским хозяйством Дальстроя НКВД СССР».

Он поднялся наверх, к теплице. Она светилась всей своей покатой стеклянной стеной, отпотевшей изнутри. Открыл дверь, толсто обитую мешковиной, на него пахнуло влажным теплом, терп-ким запахом помидоров, привядшей зеленью. Вот она, его неоконченная академия, его еще непознанное дело?

Из узкого прохода на Сергея смотрел старый сутуловатый человек с седой бородой и седыми редкими волосами на голове, смотрел изучающе-остро, с любопытством и некоторым недоверием.

— Ну, здравствуй, помощничек, проходи, не стесняйся. — И открыл дверь в комнатку, пристроенную к теплице с северной стороны. — Вот это твой топчан, клади вещички. Э, да ты без матраса и без подушки. Ну, ночь проспишь, а завтра добудем. Умывайся, и сядем поужинаем, чем Бог послал.

Когда Морозов стеснительно сел за стол, хозяин теплицы сказал:

— У тебя хорошее русское лицо. И молод ты, сынок. Вся жизнь впереди, только неладно она у тебя началась… Где родился-жил?

Морозов рассказывал, а Кузьменко слушая, ставил подогревать сковороду с картошкой, налил воды в чайник и только изредка задавал вопросы. Его неторопливая, по-стариковски медлительная манера все делать наверняка и добротно, его ровный голос, интеллигентная манера слушать, не перебивая, побудила Сергея разговориться. Он пересказал свою жизнь, и жизнь семьи без отца, и свою беду — не преувеличивая и не жалуясь. И пока говорил, Кузьменко вскипятил чай, положил в чайник мяту, комнатка наполнилась приятным домовитым духом. Так же, не спеша, поставил на стол сковородку с картошкой, разрезал вдоль два огурца, три помидора и нарезал хлеб.

— Довольно, сынок, ты и так разбередил себя. Приступим к трапезе, а я расскажу тебе, что делать с утра. Видел как ты работаешь. Мне сверху парника все видно как на ладони. Но черновая работа тебе не к лицу. Наше дело надобно знать не от и до, а проникнуть в жизнь растения и земли, если хочешь быть настоящим агрономом. Знания спасут тебя. Работа в этом северном крае многосложная и трудная, потому как природа Колымы страшна и коварна, ее нужно понять, чтобы использовать все пригодные стороны. Когда укрепишься в знаниях и опыте, ценить будут, на статью твою не посмотрят. Встречал я дипломированных, но и они перед Колымой пасуют, боятся ее, потому и ничего толкового сделать не могут. Присоветую тебе: начинай учиться, наблюдать так, будто за спиной только общая грамота. С практики начни. Каторжный срок твой кончится — и станешь настоящим специалистом по северному растениеводству, в таких людях здесь большая нужда. Вот такая твоя дорога.

Сергей слушал, ел чудесную, с укропом, картошку, пил чай и понимал, что судьба еще раз сделала ему подарок, сблизив с Учителем, полным мудрости и опыта. Спросить Василия Васильевича об образовании или специальности он не решался, одно понимал: перед ним Мастер высокого класса.

— Спать хочешь? — спросил Кузьменко, вглядываясь в теплое, размягченное лицо Морозова.

— Может, дело какое в теплице есть?

— Угадал. Мы сейчас две печи затопим на ночь. Дневные две остывают, а помидорам и огурцам ночью опасно, если будет ниже десяти градусов. Дрова у меня колотые, только принести и разжечь. Вдвоем это нам нетрудно. А уж потом с легкой душой и ко сну.

Каждый проход по длинной теплице с охапкой дров на груди

для Сергея был открытием. Секция огурцов. Секция помидоров. Зеленый лук в уголке, укроп, петрушка — ни вершка пустой земли, сплошное торжество зелени.

И уж совсем чудом казались резные сине-зеленые плети арбузов на верхнем ярусе — полосатые, некрупные, но теплые живые арбузы и дыни!

— Неужели это настоящие? — вырвалось у него.

— Муляжи, — хитровато ответил Кузьменко. — Для услады глаза.

— Нет! — Сергей засмеялся. — Вы меня не разыгрывайте, Василий Васильевич. Это настоящие! Никогда не поверил бы, но глаза не обманывают.

— Все надо уметь и знать, Сережа. Вон какой город рядом! Сколько тут людей живет. И у всех — хороших и дурных — случаются радости и горести. Все вспоминают о цветах. Случаются моменты, когда один арбуз может крепко помочь совхозу, отведет беду. Мы так-то уже не раз удерживали властных полковников, которые посягали на заключенных специалистов. Откупались, одним словом.

Спать они легли около полуночи. А в пять Кузьменко был уже на ногах. Он тихо ушел в теплицу, но чуткий Сергей тотчас вскочил, умылся и пошел следом за тепличником. Кузьменко не удивился.

— С добрым утром, Сережа. Как спал? Ну-ка, посмотри на влагомер, какая у нас влажность?

— Девяносто пять.

— Открой две-три фрамуги в помидорной секции, такая влага там ни к чему. И растопи одну печь.

Сам он накинул телогрейку и вышел свернуть со стекла маты. День был свежий, слегка морозило. Стоя в приямке у загудевшей печи, Сергей услышал голос Пышкина и подумал с уважением: главный начинает рабочий день с раннего утра, раньше, чем в лагере. Они говорили с Кузьменко о погоде, потом агроном спросил:

— Как твой новенький?

— Толковый и добрый.

— Ну и отлично. Хозяйству польза, ему — опыт и практика.

Когда Кузьменко вернулся в теплицу, две печи уже гудели.

— Как будет пятнадцать-шестнадцать, приглуши топку, пусть тлеют. Ветра на улице нет, легкий мороз. Осень нынче затянулась. В прошлом году в эту пору случались морозы под тридцать. Сейчас мы с тобой почаевничаем и будем собирать помидоры, огурцы. Спелые с куста долой, молоди простор дадим. Видел, сколько завязи на огурцах? Большие они уже не вырастут,

света мало, а мелкие пойдут на маринады.

— А зимой?

— Зимой выгонка лука. С «материка» привозят репчатый, мы его высаживаем, зеленое перо скоро вырастает. Для людей зелень при снеге — большой подарок. Это Пышкин придумал. Он большой знаток закрытого грунта, мастер.

Вечерами, перед сном Василий Васильевич расспрашивал Сергея о жизни на «материке». Оказывается, его арестовали еще в двадцать девятом году, а в начале 30-х привезли на Колыму. Совхоз начинался при нем.

— Тогда нашему брату здесь легче было, — говорил он. — Начальство понимало, что добывать золото с налёту негодно и вредно. Дороги строили, поселки для вольного поселения. Только уголовников держали под конвоем.

— Теперь все наоборот. Уголовники в чести, они командуют нами. Издеваются. Никто людей не жалеет, многие умирают. Страшно на приисках, выжить невозможно. Все золото на трупах.

— *Я* почти восемь лет здесь; — сказал Кузьменко. — Вижу и слышу, как злобность и казни стали делом обычным.

— Вы — агроном, Василий Васильевич? — спросил Сергей.

— Нет, — раздумчиво отозвался Кузьменко. — Я священник, Сережа. Или, как нынче называют, служитель культа. До конца срока у меня два года осталось. Впрочем, срок может быть продлен, так что о выезде не думаю. Тем более что дома у меня нет, храм, где я служил, разрушен, родные исчезли. Такая вот одинокая старость. Не ведаю, остались ли на великой Руси храмы Господни? Или их нет, как нет и моего Собора?

— Мало церквей, — вздохнул Сергей. — По деревням почти нет. В Москве стоят, но пустые. В Рязани тоже.

— Особенно жалко Храм Христа Спасителя, мне приходилось участвовать в богослужении там. — И Кузьменко вздохнул. — Ведь построен в память погибших в войне с французами в 1812 году. Все стены в надписях, всё фамилии защитников России. Чего только не содеет озлобление. А все равно надо жить, Сережа, надо делать доброе людям. Только тогда жизнь обретает смысл, когда добро и милосердие прирастают.

Сергей вспомнил отца Бориса, жив ли он, где ныне находится, что делает? Не хотелось думать о страшном.

В ноябре на посадку лука в теплицу пришли десять женщин и среди них Катя и Зина. Они удивились и обрадовались:

— А мы думали, что тебя опять увезли на север! Жалели. Рады видеть тебя. Для нас работа в теплице, как на курорте. Не на холоде.

Четыре дня они вместе обрезали лук, мостили на стеллажах

луковицы, как мостят на улицах булыжники: чтобы поплотнее. И очень жалели, что работа быстро закончилась. Кузьменко на прощание нажарил для помощниц сковородку лука с маслом, сварил картошку, и получилось веселое, с нескончаемым смехом застолье. Щеки у Сергея горели, глаза блестели, он отвык от женского голоса, от близости озорных и молодых, которых не сломил пока лагерь. Катя и Зина, оказывается, были студентками педагогического института в Воронеже, там на вечеринке кто-то рассказал двусмысленный анекдот, нашелся стукач. Ну, жизнь и сломалась. Они и теперь не хотели этому верить, жажда справедливости еще не потухла. Ждали освобождения.

— Рано или поздно постылая пора пройдет, — сказала Зина. И посмотрела на Кузьменко.

Он только головой покачал и вздохнул: «Надежда юношей питает…»

После этого светлого дня им долго не пришлось встречаться.

Декабрь явился сурово-метельным, с севера давили холода, от моря шел теплый фронтовее это здесь перемешивалось, и Охотское побережье на целые недели тонуло в свирепой метели. Налетали бешеные шквалы, со стекол теплицы срывало маты, Кузьменко и Морозов по нескольку раз за день выходили в мутную воющую стынь с лесенками и веревками, лазали, прикручивали маты, и когда возвращались в теплицу, то буквально задыхались от устали и холода. Но и в такие дни лагерь работал. Сергей видел согнутые фигуры на парниках, там ломами разбивали смороженные глыбы навоза — парниковое топливо. Его привозили со скотных дворов совхоза, из города, где были и конюшни, и скотина.

В теплице круглые сутки ярко-белым светом горели большие лампы, к этому свету со стеллажей тянулись толстые стебли лука, этакая густая зеленая щетина. Достигнув определенной высоты, упругие стебли быстро сникали, теряли упругость, ложились, перепутывались: не тот свет. И тогда тепличник и его помощник забирались на широкий стеллаж и начинали вытаскивать из земли размягченные луковицы, отряхивать от цепких белых корней землю и аккуратно укладывать зелень в ящики.

За луком первой приехала легковая машина черного цвета. В теплицу по-хозяйски влез толстый майор и не здороваясь обошел ряд ящиков, указывая шоферу и лейтенанту:

— Вот этот. Еще вот этот. Сними-ка ящик, под ним, кажется, получше, посвежей.

Сергей таскал отобранные ящики в машину, взвешивал, записывал. Кузьменко молча пододвигал майору накладную, на которой не стояло имя получателя, тот расписывался, и урожай

увозили. Естественно, без обычного для людей «спасибо» или «до свидания».

— Кто такой? — спросил у Кузьменко Сергей.

Тот со значением подымал палец вверх:

— От Павлова и его присных. Всё по выбору. На фермах совхоза для них отобраны специальные коровы, ветеринаром обследованные. Молоко поставляют только от этих коров. Творог, сливки — тоже. Новое дворянство с пистолетами на боку.

— Как в Древнем Риме…

— Ты читал «Камо грядеши»?

— Почти все романы Сенкевича прочитал. На прииске, где был, особенно наглядна пропасть между рабами и надсмотрщиками, патрициями. Двадцатый век, а люди снова разделились, чтобы ненавидеть друг друга.

Кузьменко смотрел куда-то в темноту теплицы, стоял, слегка подняв голову, отчего седая борода его приподнималась. Помолчав, он подымал руку, широко осенял себя крестным знамением и внятно произносил: «Враг попирает мя, и озлобляет, и поучает всегда творити свои хотения; но ты, наставниче мой, не остави меня, погибающа. Аминь!»

— Аминь, — отзывался Сергей.

А Василий Васильевич, после вздохов и паузы, выговаривал ему с отцовской настоятельностью:

— В твоем характере, Сережа, много опасного для тебя. Ты не сдержан в речах. Побережись. Помни, плетью обуха не перешибешь. Ты вот грузил ящики, а в глазах твоих было презрение к наглому майору. *Я* понимаю тебя. Но ведь они тоже настороже. Не наводи на себя гнева: согнут и уничтожат.

Сергей ничего не отвечал, только склонял голову. Да, конечно, надо помнить — где ты и кто приглядывает за тобой. До лагеря он не был таким взрывным, как здесь, где все страшное и нелюдское увидел во всем его безумии.

УРОКИ ПОЛЕВОЙ ПАРТИИ

За несколько дней до Нового, 1939 года в теплицу пришел незнакомый человек. Был он худ лицом, со впалыми щеками и болезненным цветом лица, но с глазами яркими и живыми. Поклонился, подал обоим руку, сказал: «Бычков» и заявил:

— Мне поручено передать вам, Морозов, приглашение Пышкина прийти к нему в кабинет. Сейчас. Вместе со мной.

— Что-нибудь произошло? — Голос Сергея был скорее удивленным, чем испуганным.

— На рабочий разговор. Вернее, на разговор о работе.

По дороге Сергей узнал, что Бычков тоже заключенный, по профессии землеустроитель-топограф, но допущен к бесконвойному передвижению — «по роду деятельности», — добавил с иронией. Тогда же он поведал, что совхоз получил срочное задание вдвое увеличить площадь огородов, найти и освоить еще восемьдесят гектаров. Для этой цели Пышкин организует полевую партию. Бычков ее возглавит и будет рад, если Морозов возьмет на себя роль почвоведа и геоботаника.

Сергей удивленно развел руками:

— Какой из меня геоботаник! Ладно, почву я как-нибудь пойму, с подзолами много занимался. А вот северная флора… И почему зимой, а не летом?

— Срочное указание из Управления сельским хозяйством.

В дверях он пропустил Сергея вперед.

У Пышкина сидел то ли седой, то ли очень светловолосый человек с такой большой лысиной и с таким минимальным ободком волос по краям, что судить о его возрасте было трудно, тем более что по лицу — свежему «розовому, как и лысина, — его можно было отнести к молодым. Рука, которую он подал Морозову, была пышной и горячей.

— Вот это наш почвовед, — сказал агроном. — Как видите, молод, с небольшим опытом, но с жаждой к познаниям.

И лукаво посмотрел на Морозова. Сергей покраснел.

— Очень приятно, — сказал розовый человек и назвал себя удивительной фамилией — Руссо. Он отодвинул стул, предлагая Морозову сесть рядом.

— Садитесь, поговорим, — Пышкин глянул на Бычкова и Морозова: — С плохой землей Морозов, кажется, знаком. В Рязанской области много лесных подзолов, так? Здесь выраженных подзолов нет. Не дозрели до этой стадии. Зато есть нечто более молодое, зачаточное, ну и, конечно, пойменные. Иногда и по плодородию приличные. Нам предложено найти и

распахать уже этой весной десятки дополнительных гектаров. А вот где — это вы, Морозов, вместе с Бычковым укажете на карте, которая должна быть вот на этом столе, ну, скажем, в мае-июне месяцах.

Человек с фамилией знаменитого мыслителя был не философом, а почвоведом Управления. Он участвовал в создании нескольких колымских совхозов и, как признавался, не всегда удачливо. Говорил он улыбчиво, с извинительной какой-то интонацией, поглядывая на собеседников. Словом, хотел, чтобы они поняли, как все это не просто, потому что на формирование здешних почв влияние оказывает не только климат, но и рельеф и места с особенным микроклиматом, горами и лесами. По его мнению, в зоне ихнего совхоза было только два ареала, где можно отыскать пригодные под пашню массивы. И назвал Дальнее поле и 23-й километр. В заключение он все с той же улыбкой заявил:

— Рекомендую послать партию на топосъемку и картографию в район Дальнего поля, а второй район отложить до весны, поскольку пойма реки Дукчи там всюду покрыта толстой наледью и это ставит под сомнение возможную распашку: лед вытаивает только в июне. Что вы думаете? — И голубые глаза его обратились к Пышкину.

— Понимаю и соглашаюсь. — Пышкин наклонил голову: — Ваше мнение, Бычков?

— Я обошел Дальнее поле до снега, — сказал топограф. — Наледи там исключены: слабый ручей, глубокое русло. Но вся долина изрезана понижениями. Сплошного марива не будет, куски под пашню в три, в десять гектаров. Растет крупный вейник, пища для корней имеется. Интересен склон Дукчанской сопки, но он мокрый, где-то выход грунтовых вод. Партию можно основать в семи километрах от трассы. В десяти отсюда. Нужен помощник и двое рабочих.

Пышкин посмотрел на Сергея.

Сергей спросил:

— В Управлении есть агрохимическая лаборатория?

— Анализы проб я беру на себя, — сказал Руссо. — В лаборатории у геологов отличное оборудование.

— Еще нужны книги, особенно о вечной мерзлоте. И «Почвоведение».

— Разыщем. Это хорошо, что вы вспомнили о вечной мерзлоте. Можно сейчас зайти ко мне, выберем нужные. «Мерзлотоведение» Сумгина я привез с «материка».

— Коротко и ясно. — Пышкин прихлопнул ладонью по бумагам. — Бычков, вы подбираете трех рабочих. Один уже есть. Это Любимов, сторож на Дальнем поле. Палатка, инструмент,

одежда — вот забота. Инструмент имеется… Действуйте, Бычков. Если говорить откровенно, — тут он в упор посмотрел на Руссо, — то все нынешние хдопоты надо бы проводить по меньшей мере пятью годами раньше, в пору освоения Колымы. Но это уже не наши с вами упущения. После Билибина все бросились искать золото, тогда как обстоятельства требовали сперва создать условия для нормального проживания людям, а то ведь… Лес почти вывели. Почвы не знаем, про сенокосы никто и ничего, а без освоения лугов нельзя разводить крупные стада. Без коров и бычков не будет навоза. Без навоза не освоить слабые почвы. Логично, товарищ Руссо?

— Так, Василий Николаевич. — Руссо встал. — Но лучше поздно, чем никогда. Можно только предполагать, чем вызваны директивы Дальстроя.

— Два дня на все хлопоты и вы, Бычков, со другами, отправляйтесь на поиск земель, которые можно сделать плодородными. Вопросы есть? — и почему-то посмотрел на Сергея.

Он возвращался в теплицу с пятью книгами в руках. И на ходу перелистывал то одну, то другую. Не терпелось. Какой занятный этот Руссо! Ни единым словом за почти часовую беседу он не подчеркнул разницу в их социальном положении, говорил на равных, даже показал закладки, где можно найти ответ на главные вопросы.

Василий Васильевич встретил новость с недоумением и даже обидой:

— Не нашли другого! В управлении полон дом специалистов, а послали тебя. Будем надеяться, что уходишь ненадолго и вернешься ко мне как раз в месяцы самой интересной работы.

— Тут недалеко, Василий Васильевич, я заходить буду. Смотрите, сколько книг! — Глаза его азартно блестели.

Ранним утром третьего дня полуторка увезла двух рабочих, Бычкова и Морозова, на Дальнее поле. Сгрузили пожитки у хаты, где жил сторож Любимов, в машину набросали мерзлого турнепса, она укатила, а поисковики уселись отдохнуть.

Пожилой, но крепкий Николай Иванович Любимов предложил под жилье свою хибару, возле нее можно было установить и палатку. Топограф не согласился: далеко ходить к целине, которую им надо изучать. Лучше поставить палатку у опушки не вырубленного лиственничного леса, как раз на слиянии двух ручьев, где начиналась долина.

Так в Дукче и в других местах началась реализация вынужденного приказа Павлова об увеличении производства продуктов на месте — возврат к тому, что когда-то хотел было

делать погибший Эдуард Берзин.

Снег лежал чуть выше колена, изыскатели нагрузились вещами и гуськом пошли на выбранное место. Собака Николая Ивановича Любимова, черно-белая лайка по кличке Зоя, конечно, увязалась за ними, всем своим видом игнорируя приказ хозяина остаться караулить хатку. Сметливая северянка с острыми ушками и пышным хвостом, который служил ей одеялом в большие морозы, бежала впереди, каким-то образом догадываясь, куда шли люди.

Место нашли в лесу, у ручейка, он бежал в узких берегах, почти закрытый снежными наметами. Расчистили место, нарубили жердей, увязали углы и накинули палатку. Печка встала посредине. К вечеру в палатке забулькал пшенный кулеш с рыбой. Но к ночи мороз усилился, палатка никак не согревалась и пришлось выходить, забрасывать стены снегом — почти до крыши. И тамбур приделали из снега, облитого водой.

Утром все дрожали от холода, хоть и спали в полушубках. Но раскаленная печь на время согрела полевиков, и завтрак прошел при тепле.

Оба рабочих звались Петрами, дневалить и готовить дрова и обед оставили Петра, который повыше, отчего и нарекли его Петром-первым, а Петр-второй пошел с треногой на плечах. Он получил задание долбить шурфы, где укажет Сергей. Из них брали почву для анализа. Петр-второй еще «не понюхал пороху», избежал приисков и поэтому сохранил силенку.

— Золотишко, которое найдешь, принадлежит тебе, — заявил Бычков, чем очень обрадовал парю, верившего, что здесь, где ни копни, золота как насыпано. Может быть потому, шурфы на полигоне являлись с удивительной быстротой.

Мороз и ветер очень затрудняли работу, на стоянках приходилось разжигать костры, чтобы не обморозить лицо и руки. Одна Зоя не чувствовала неудобства. Когда останавливались на съемку, она разгребала снег и укладывалась клубочком, закрываясь хвостом.

Три следующих дня случилась непогода, валил такой промороженный и плотный снег, что раскрыть инструмента не представлялось возможным. Бычков нервничал. Любимов молчком правил пилу, вострил топоры.

— Кто со мой в лес? — спросил он. — Разыщем сухостой и сделаем лыжи, без них не работа. Ты, Серега? И ты Петро-первый? Пошли, погреемся.

Бычков снарядил Петра-второго в лагерь за продуктами, послал записку Пышкину. Палатка опустела, лайка выскочила первой. Ее метель не пугала.

Трое углубились в лес, поднялись выше. Здесь оказались в зарослях стланика, прилегшего под снегом, через который продирались, то и дело проваливаясь в пустоты до пояса. Когда Сергей в очередной раз провалился и сел в полутьме на землю, он увидел под ногами множество шишек. Поднял, пошелушил, в рукавице остались с десяток мелких орехов. Попробовал — вкусно, живое масло. Передвигаясь на коленях, он набил шишками карманы. И тут услышал, как к нему пробирается, фыркает Зоя. А сверху уже кричал Любимов:

— Куда пропал, Сережа!

И увидел вылезающего из-под снега Морозова. Нет, здесь не работа! Они пошли к крупному лесу, где вскоре и отыскали сухую, стройную лиственницу. Ее спилили, разрезали на двухметровые поленья и потопали вниз, оставляя за собой глубокую колею, которую почти сразу же стало заметать колючим снегом.

Петр-второй к ночи не пришел. Побоялся непогоды. Любимов разделывал тесины, а Сергей положил на горячую печь десятка три орешек и стал поджаривать их, то и дело переворачивая. Раскусил несколько горячих орешков, протянул Бычкову:

— Попробуйте, Алексей Михайлович. Дополнительный паек.

— Я сибиряк родом, — сказал Бычков. — Орешков этих прел предостаточно. Но там они крупнее. Будем знать, что колымский стелющийся кедр способен выручить.

На другой день, хоть метель и продолжалась, вернулся Петр-второй, скинул с плеч перевязанный вдвое мешок.

— На неделю отхватил. Жадюга-каптерщик выдал с точностью до грамма. Но пособил старик Кузьменко. Я зашел к нему привет передать, а там сидит продавец из магазина для вольняшек, лук забирал. Тепличник и спроси его — не может ли чего отпустить для полевой партии? Я помог торговцу отвезти лук, отдал две десятки, а он положил мне в мешок двадцать банок консервов, у него все полки ими забиты. Во, красавцы какие!

Бычков так и ахнул: крабы в собственном соку! Деликатес…

— Сказано мне, что этими банками все магазины в Магадане завалены. Целый корабль одних крабов привезли, аж с Камчатки. Дают без карточек, сколь хошь. Во, жизнь!

Крабы в собственном соку не очень понравились поисковикам: пресные, с особенным запахом. Но все же еда. Попробовали жарить их с солью и луком. Получилось прямо ресторанное блюдо!

Чуть полегчало с морозом — вышли на съемку. Жгучий ветер путался по долине, обжигал щеки, руки, приходилось все время

держать костер. Сергей брал в неглубоких шурфах пробы, нумеровал мешочки, откалывал ломом пласты для осмотра монолитов в тепле. Возвращались в палатку стылые, дрожащие, но никто не унывал. Поисковая партия, не обремененная лагерными правилами, вносила в жизнь что-то творческое, вольное. Никто не жаловался, не стонал, скорее, радовался вот этому вольному труду, возможности распоряжаться собой.

Отсюда, со стороны, Сергей увидел многое из того, что способно привносить из лагеря в нравственную чистоту человека: надо быть очень сильным и стойким, чтобы переносить подневольный труд годами, и не возненавидеть этот самый труд, превышающий возможности, вытягивающий все силы. Непомерный труд, голод, надругательства вымывали из человека достоинство, гордость, честь; что-то менялось в его психике и он падал все ниже и ниже, превращаясь в угодливое, покорное существо, пытаясь этой угодливостью получить для себя хоть какое-то послабление. Нередко шли на постыдные поступки, даже на подлость, чтобы спасти себя от смерти. Такие люди становились доносчиками, попадали в подручные оперативникам, писали под диктовку заявления, зная, что предают такого же, как ты сам, на верную смерть. Получив донос, оперчек отправлял оклеветанного в тюрьму вроде «Серпантинки» или «дома Васькова», где он исчезал без следа. А оперчек получал награду за бдительность, звездочку на погоны, оказывался на более высокой должности у того самого Сперанского, который возглавлял секретный отдел НКВД… И множились подлецы.

Мысли эти возникали чаще всего ночью, когда он просыпался от холода в палатке и тихо, стараясь не разбудить товарищей, подкладывал в печку дрова. Лишь лайка Зоя поднимала голову и с удивлением смотрела на него. Сергей ложился, слушал треск разгорающейся лиственницы и долго не мог уснуть, взбудораженный совсем не мальчишескими мыслями о странности жизни.

Конечно, хотелось поделиться с друзьями, ведь это так понятно. Но тотчас же отталкивал от себя эту мысль. Нельзя. А почему, собственно, нельзя? Значит, и в нем уж укоренился страх? Не просто поумнел, пройдя приисковый ад, а заражен вирусом страха, во власти того самого чувства, про который сказано: «Держи язык за зубами».

Вспомнилось: когда ехали от Волги через Сибирь и уже перезнакомились, его сосед по нарам железнодорожник Супрунов, с которым их развела пересылка в Магадане, однажды ночью с какой-то страдальческой интонацией прошептал ему на ухо:

«Забудь, откуда вышел родом,
И осознай, не прекословь:
В ущерб любви к отцу народов —
Любая прочая любовь…
И душу чувствами людскими
Не отягчай, себя щадя,
И лжесвидетельствуй во имя,
И зверствуй именем вождя».

Сергей тогда же повторил про себя ЭТИ удивительные В своей прозорливости стихи. Не удержался, спросил:

— Откуда эти стихи, Иван Алексеевич?

— Известного поэта, он почти так же молод, как ты. Вместе с отцом был сослан в Сибирь и всего там хлебнул. Стихи эти ходили по тюрьме.

Вот так… Не один он размышлял и переживал. Понятие добра, чести и достоинства неугасимо в человеке, даже, если смерть ходит по пятам того, кто пишет: «и лжесвидетельствуй во имя, и зверствуй именем вождя…»

Катились короткие зимние дни. Работа шла, понемногу открывались таинства скудной земли за Дальним полем. И здесь земля пригодна для огорода! В пойме больше, чем на склонах илистых и гумусных частиц, темно-серый слой под вейниковым дерном показывал урожайную способность поймы. К сожалению, долину во всех направлениях оконтурили бессточные и заболоченные низины, придется обрабатывать семь островов по пять-двадцать гектаров каждый.

Его пробы и монолиты, его записи осматривал Руссо, высказал «добро» и отправил пробы на Колымскую опытную станцию для более подробного анализа. Он дружески похлопал Морозова по плечу, еще раз сказал, что Колыме нужно много новых пашен, народу здесь все время прибавляется. И, оглядевшись, добавил совсем уже тихо:

— С первыми теплоходами прибывает новая партия заключенных женщин.

Сергей с трудом подавил грустную улыбку. Приглушенный голос этого уверенного, опытного человека показал ему, что и Руссо испытывает власть страха. Ужасно!

Шагая из центральной усадьбы на Дальнее поле, он подумал: а нет ли в сообщении почвоведа еще и завуалированной мысли — предупреждения об опасности, которая всегда, как говорится, на плечах у совхозных заключенных, — опасности отправки на прииски, поскольку совхозы получат замену? У него еще почти

четыреста дней впереди, окажись на прииске — десять раз можно оказаться мертвым.

В следующий свой поход к Руссо Морозов заглянул и в лагерь, сказав, что ему нужно повидать кого-нибудь из учетно-распределительной части — попросить одного механизатора для весенне-полевых работ. Это прозвучало убедительно, у Сергея на руках был пропуск и он вошел в барак, где жил первые дни.

Тревожная атмосфера чувствовалась здесь едва ли не с порога. Плотники, механизаторы, скотники, конюхи выглядели удрученными. Переговаривались, сгрудившись вокруг печки, — и только о возможности этапа. Кто-то видел списки в УРЧ, кому-то проезжий шофер рассказал о фанерных будках, уже приготовленных на автобазе. Его бывший сосед по нарам попросился к Сергею в полевую партию. Словом, опасность охватила всех. К концу зимы на приисках всегда начинается аврал: надо, во что бы то ни стало, очистить от торфов площади для летней промывки золота; за зимние месяцы этот план повсюду остается невыполненным из-за высокой смертности, инвалидности «наличного состава». План под угрозой… Все на борьбу!..

До первого домика на Дальнем поле Сергей пришел к полуночи. Затопил печку и, когда избушка нагрелась, лег, не раздеваясь, и уснул в одиночестве и голодный.

Чуть свет поднялся и побежал по едва заметной тропе к палатке. Все, конечно, были на работе, печь остыла, Сергей выпил кружку холодного чая с куском хлеба и побежал по лыжному следу к своим товарищам. Издали видные средь белого поля поисковики как раз готовились переносить треногу на новое место. Топографическая съемка шла уже на границе долины, далее начинался ред-колесный подъем, негодный для совхозных целей: он был обращен на север.

Рассказ Сергея у костра был деловым: приказано исследовать долину еще выше по ручью — хотя бы на предмет использования ее как естественного сенокоса.

— Как там жизнь? — спросил Бычков. — Грозы на горизонте не видно?

— Да как сказать… Главная еда на сегодня у вольняшек — крабы. Жуют, привыкли. Видно, ничего другого уже нет на складах. Но скоро подвезут, так, по крайней мере, толкуют.

О других своих опасениях не сказал. Лишнее беспокойство.

На здешних широтах весна приходит с опозданием даже против Сибири почти на месяц. В середине апреля бывают такие затяжные метели, что носа не высунешь. Хорошо, что они поставили палатку не на открытом месте, а в лесном укрытии. По

долине почти неделю метался такой снежный вихрь с сырым ветром, что о работе и думать было нечего. Выходили только за дровами. И без того скудный полумесячный паек растянули на три недели, иные дни ограничивались печеным турнепсом: успели натаскать из бурта…

Чуть поутихло, и Любимов с лайкой пошел к своей избушке. Знал, что приедут за кормом из совхоза, без него бурта не найдут: все заметено.

Трактор с двумя грузчиками в кабине действительно пробился на Дальнее поле. Когда Любимов появился возле избы, они сидели там и отогревались, а машина работала на холостом ходу. Не нашли бурта. Любимов оглядел седые головы грузчиков, спросил у тракториста:

— Где твои постоянные, молодые?

— Уже нема молодых. Вчера поехали на золотишко.

— Проштрафились?

— Куда там… Ты лагеря не узнаешь, как метлой вымели. Вольных и тех подняли. Явились лейтенанты из Магадана и подчистую разгрузили мужские бараки. Мастеровых тоже угнали, случись поломка, некому ремонтировать машины. Всех скотников, шоферов… Сказали, совхоз — бабье дело, скоро новые прибудут. Первый корабль уже в Нагаево муку привез, чего-то там еще. А тут, видишь, пурга на всей трассе, заносы, аварии. *Я* две ночи не спал, то и дело вызывали с трактором вытягивать машины. Вот такие дела.

— Ты чем питался все дни?

— Как бычок, турнепсом.

— А собачка твоя? Тоже на коровьих кормах?

— Маленько крупы осталось, варю ей кашу. Не пропадать же созданию. В другой раз поедешь сюда, утяни с фермы полмешка ячменя или овса, разотру, кисели ей буду готовить.

— Завтра приеду. Метель — не метель, все одно надо, скотина оголодала.

Отсиделись поисковики. Не взяли их…

Они еще раза три выходили на работу, паек им привозил тот самый тракторист, но, вообще говоря, можно было сворачивать съемку, оставались только камеральные работы для Бычкова и Морозова.

Следующие дни удивили внезапным затишьем и теплом. Ручьи потекли, дороги стали темнеть. Весна… Сняли палатку, собрали пожитки и вместе с печкой и трубами погрузили на сбитые лыжи. До избушки тянули лямку, пока не завечерело. Тут и ночевали.

От этой сторожки трасса хорошо просматривалась. Она

спускалась в долину реки Дукчи от небольшого перевала, закрывавшего Магадан, и шла на мост и по долине до самого двадцать третьего километра, где кончались владения совхоза.

В иные часы из Магадана на север тянулась почти непрерывная лента грузовиков. В их кузовах везли машины, ящики, бочки, мешки, разные железки для приисковых механизмов. Потом возникали машины с некрашеными фанерными будками: везли заключенных. Лишь в одной такой веренице, прошедшей на закате солнца, Бычков насчитал пятьдесят семь трехтонок. До полутора тысячи заключенных! Ночью такой же караван прошел по трассе еще раз. Утром — снова.

Смотрели и считали молча. Морозов с внутренней дрожью пытался прикинуть, сколько же народу явится на Колыму в сезон 1939 года. Значит, не утихает кампания арестов. Требуется пополнять заключенными этот промороженный континент, где погибает больше, чем привозят…

На территории совхоза Бычков и Морозов появились, когда Пышкин обходил парники. Они увидели его издали, шел с директором и о чем-то озабоченно говорил, помогая себе жестами обоих рук. Бычков и Морозов встали, топограф коротко доложил, что задание выполнено.

— Прекрасно, — ответил агроном и глянул на директора: — Это те самые поисковики, которые изучали Дальнее поле.

— Чем теперь займетесь? — спросил Бычкова.

— Составлением плана-карты. Дней двадцать. Нужен ватман, тушь, готовальня. И место для работы.

— В бухгалтерии есть свободный стол. Устроит?

— Конечно. Только вот пропуск в зону…

— Это моя забота.

Пышкин перевел взгляд на Морозова.

— Об этом молодом человеке я вам говорил. Кузьменко просил вернуть его в теплицу, пока хлопот на Дальнем поле нет.

— Ну, если просил…

— А вот что мы будем делать с парниками, ума не приложу. Бригадир явно не справляется. Может, молодого агронома на парники? Что скажете, Морозов? Справитесь?

— Если у меня выбор, то я — за парники.

— Сколько у вас осталось сроку? — спросил Пышкин.

— Триста сорок дней, — быстро ответил Сергей. — Если можно, оставьте меня работать на парниках, а жить, если можно, я буду в теплице, тогда смогу помогать и Кузьменко. У нас осенью неплохо получалось.

— Завидный энтузиазм, — заметил директор. — Лагерь

опостылел?

Морозов не ответил. Пышкии понял его и сказал:

— Назначим бригадиром на парниках. Наука сложная, опыт будет полезным. А теплица… Если сам тепличник просит, почему и нет? Иди к нему, оставь там свою поклажу. С утра принимай бригаду на вахте. И скорей разжигайте бурты навоза, время подгоняет. Непогода нас отбросила на две недели.

Счастливый таким окончанием разговора, Морозов чуть не бегом бежал в гору. Кузьменко приветливо встретил помощника, покормил. Они разговаривали и работали весь вечер. При свете ламп готовили почву под посев капустных семян. В нескольких метрах от них подвязывали к опорам огуречные плети две пожилые женщины, они только вчера прибыли с этапом.

— Опять жены «врагов народа», — тихо сказал Кузьменко. — Многих напрямую из Москвы, из Бутырок, где провели чуть не по году.

— Сын за отца не отвечает, — вспомнил Сергей. — Так говорил Сталин.

— Когда это он говорил! Теперь и теща за зятя… Чтобы и следа от несогласных с вождем не осталось. Такое было у Ивана Четвертого, рубил не только знатных бояр, а всех до третьего поколения. Уроки истории…

Когда женщины ушли в лагерь, Сергей сказал, что сам напросился к Василию Васильевичу в ученики, если он не возражает.

— Научу всему, что знаю сам. Завтра сядем и составим вместе график работ. Непогода задержала, мы опаздываем, потребно догонять весну. Вот этот стеллаж хотел оставить под огурцы, а придется под посев семян капусты, для первой очереди, пока приготовишь парники.

…Годы спустя, когда Сергей Морозов оглядывался в прошлое, он непременно вспоминал Василия Васильевича Кузьменко, своего наставника на первых шагах в северном растениеводстве. Не будь его, сомнительно, чтобы молодой агроном так глубоко и скоро познал бы сложнейшую науку закрытого грунта, как и практику освоения молодых земель Колымы, где все не так, как на рязанщине или юге России. Не родившись агрономом, Кузьменко сызмала любил крестьянский труд, он и его родители, Бог знает, с каких времен жили на земле и получали от нее все нужное для людей. Крестьянская душа его очень легко познавала любое дело в поле, в огороде, в саду, он ощущал себя частью живого, сроднился с миром живого и стал уже не владыкою, а той мыслящей частицей, которой дарована способность улучшать окружающий мир, творить красоту в этом мире. Будучи священником в деревне, он не отходил от заветов земледельца, всегда имел и образцовый огород, и прекрасный сад, не гнушался никакой работы, а в своих беседах с прихожанами непременно призывал к единству с миром живого, и к миру — к тому

несколько отступившему от нас милосердию, которое сближает не только человека с человеком, но и человека со всем прекрасным и изменчивым окружением, поражающим своим совершенством и целомудрием.

Таких учителей Морозов в свои двадцать четыре года еще не знал.

Есть предел и для собственной жизни, это для отца Василия не было секретом. В своей духовной деятельности он крестил бесчисленное множество новорожденных и, наверное, стольких же старых и немощных отпевал, скорбя вместе с родственниками об усопших. Сознание заполненности старческих лет, радость появления ученика, которому можно передать все понимание труда и мастерства, которыми держатся и семья, и государство, наполняло его душу покоем. Ниточка доброты, так необходимая в их одинаковом положении, теперь уже не оборвется, чтобы не случилось с ними в лагерных веригах.

Уже поздней ночью они вышли из теплицы и раскатали сенные маты поверх стекол. Печи были затоплены. И тогда они спустились ниже, где между рядами парников глыбились кучи мерзлого навоза.

— Твое хозяйство, — сказал Кузьменко, — один не справишься.

— Боюсь, что так.

— А у тебя есть помощницы. Или забыл? Катя да Зина, они тебя вспоминали. Уже не новички в парниковом деле. Так что есть опора.

Трасса гудела машинами за забором. Стояли, смотрели. Было сыро и холодно. Прошла колонна машин. Сорок пять, посчитал Сергей. Сорок шестая и еще пять машин за ней были без укрытия, в них тесно сидели, согнувшись, заключенные. Эти шесть машин свернули к воротам лагеря.

— Господи, еще несчастных привезли, — сказал Кузьменко. — Когда этой страсти придет конец? Сколько же надо придумать преступлений, чтобы осудить такую тьму людей?

Из открытых кузовов под светом лагерного прожектора сползали на землю толсто одетые узницы — в ватных штанах и бушлатах. Доносилась крикливая команда, темноту взрезал чей-то истерический плач. Открылись ворота, донеслась скороговорка принимавшего: «первая, вторая, третья… Быстрей, быстрей! Стоп!» Наконец, вся колонна втянулась за проволоку, ворота закрыли.

— Около двухсот, — сказал Морозов. — Дадут им завтра отдохнуть или сразу на работу?

Долина Дукчи была во тьме. Ярко светились прожекторы

вдоль проволочной ограды лагеря. Там продолжалась суета.

Утром Морозов встречал рабочих. Отдохнуть им не дали.

Сергей не привык командовать другими людьми. И не любил командовать. Когда утром на парниках появилось более ста женщин, он растерялся. Лишь увидев среди них Зину и Катю, почувствовал облегчение.

— Ты где пропадаешь? — требовательно спросила Катя.

— На Дальнем поле, в экспедиции. Пашню искали.

— А мы думали, тебя снова на север укатали. Жалели. Ну что, за дело?

Славные его помощницы довольно скоро расставили всех по местам, объяснили, что и как делать. Неумело, словно на пробу, а, скорее всего, чтобы согреться, новенькие начали дробить мерзлые глыбы. Сергей ходил между ними, вглядывался в незнакомые лица, закутанные платками, брал кирку у одной, другой, показывал, как легче разбивать, но у слабых женщин не получалось. Работали медленно, с тем старанием, которое вообще присуще женщинам. Часа через три в пещерках, сделанных по обеим сторонам бурта, зажгли дрова. Весь бурт задымился, тепло изнутри согревало его, остро пахнущий дым и пар сносило ветром в сторону.

Выглянуло запоздавшее солнце, стало теплей. Женщины разматывали лагерные платки из старых одеял, расправлялись. Начались разговоры.

— Ты откуда будешь, парень? — спросила Сергея самая смелая.

— Из Рязани…

— Бабочки, кто есть рязанские? Земляк нашелся!..

Рязанских не оказалось. Сергей различал открытые лица, такие разные, улыбчивые и грустные, смешливые и сдержанные, старые страдальческие и молодые неунывающие. У четырех седовласых он отобрал тяжелые кирки, дал вилы — округлять бурты. Послал в теплицу Зину, она принесла два ведра теплой воды — умыться.

Снова работали — медленно, но добросовестно. Откуда-то появился Пышкин, дал несколько советов Сергею. Бурт с конским навозом уже сильно парил и оседал.

— Остается сообразить, — сказал главный агроном Сергею, — сколько дней уйдет на набивку парников. И с этим расчетом сеять капусту, чтобы во время начать пикировку. Записывайте, чтобы не прогадать. Больше спрашивайте у Зины и Кати, они уже освоили весь процесс подготовки.

И пошел — руки за спиной — в теплицу.

Чуть позже к работающим явился и начальник лагеря,

капитан.

Все притихли и подобрались, заработали усердней. Сергей оставил вилы. Капитан, щурясь, оглядывал его, словно видел в первый раз.

— Что-то я тебя в лагере и на разводе не вижу? Где пропадаешь?

— Ночую в теплице, там и работаю.

— Не ночью же?

— Печи топим до полуночи и дольше.

— Этак ты можешь забыть, что лагерник.

— У меня круглосуточный пропуск. Ваш заместитель подписал.

— Мне он не доложил. Порядок есть порядок. Надо в лагере ночевать. Ты не на вольном поселении, а в тюрьме.

— Вы Пышкину скажите, гражданин начальник. Одному тепличнику не справиться с весенними работами. Главный агроном как раз там. Пройдите к нему и поговорите.

Через несколько минут Пышкин и капитан вышли из теплицы. Агроном что-то говорил и, кажется, сердился. Капитан разводил руками.

Подошедши, капитан очень строго спросил:

— Почему не сказал, что агроном? Почему не приходишь за сухим пайком? Не отмечаешься в УРЧ? Это нарушение лагерной дисциплины. На первый случай ограничусь устным выговором, но впредь…

Сергей промолчал. Гроза укатилась. В душе осталась горечь. Тюрьма так и ходит следом. Ты — в ней…

Пышкин улыбнулся ему: все в порядке.

Сергей, как и многие в зоне, знал, что капитан безвольный, слабохарактерный человек, часто запивает, что лагерь фактически в руках некоего грузина, осужденного за убийство собственной жены; этот делец и бабник, который к тому же богат, получает и деньги, и посылки, уголовники выплачивают ему дань за всякие послабления. Но такие безвольные тем и опасны, что в часы прозрения они с необыкновенной настойчивостью начинают пользоваться ускользающей властью, становятся беспощадно жестокими, придирчивыми и мстительными. Не дай Бог попасться такому в минуты ожесточения.

Женщины сели отдыхать. Солнце грело хорошо, особенно в затишке. Весна улыбалась, и все страхи в такой день утихали.

Сергей присел рядом с Катей и Зиной. Катя, смуглолицая, с озорными глазами, заговорщически произнесла:

— Ты смелей с капитаном, он уступчивый, если нажимаешь, мы знаем. А здесь, если что забыл, спрашивай, все-таки мы

третий сезон на парниках, опыт есть. Из новеньких поносровистей отберем и обучим, если тюрьма их не очень пришибла. Тут несколько женщин пережили очень страшное.

Она подозвала высокую и красивую женщину лет сорока со строгим волевым лицом.

— Вероника Николаевна, присядьте с нами. Расскажите, если можно еще раз, наш бригадир не верит…

— О «Джурме»? Вы и сами можете рассказать, если бригадиру интересно.

— Да он такой же, как мы. На прииске уже побывал. Страшнее этого, кажется, не бывает. Вот разве что вы пережили…

Вероника Николаевна подумала и села рядом:

— Знаете, у меня в последние годы только бедствия, какой-то апокалипсис. Все потеряно и все погибло. Как сама живу — представить не могу. В тридцать шестом исчез муж, полковник. Никаких следов. А в следующем отправили в тюрьцу меня. Детей успела отвезти к сестре, позже их всех выслали куда-то в Казахстан. Полго-да провела в одиночке, в Лефортове. Голод, бесконечные думы, от которых нет спасения. И допросы, по семь часов кряду перед следователем на ногах. Когда садилась на пол — подымали, стояли рядом, мои ноги были как колоды. И все время в уши одно и тоже: «подписывай и пойдешь домой…» Ничего не подписала. Обвинение ужасное, во всех смертных грехах. И Особое совещание — десять лет. Ну, а дальше — этап. Пересылка «Вторая речка», пароход «Джурма», через два моря на Колыму. Вот тогда-то и произошло это самое… — Она как-то странно прищурилась, словно в дальнюю даль всматривалась, спрашивала, наверное, себя — а за что эта фатальность в ее судьбе, как и в судьбе России? Поправила седые волосы и продолжила: — Где-то еще в море «Джурма» загорелась. Проливы мы уже прошли. А что и как загорелось — никто не знает, под тем трюмом, где битком мужчины. Мыв другом трюме, шестьсот, кажется, женщин. Слышим крики, потом сплошной рев, как из-под земли. Очередная группа наших бежит по палубе из уборной, кричат: «Пожар!», с кем-то истерика, по палубе стучат сапоги, конвойные орут, командуют, потом выстрелы. И все очевиднее запахи пожара, знаете, когда железо в раскаленном масле, какой-то особенно ядовитый дым. У нашего люка уже трое конвоиров стоят, не выпускают на палубу, а там Бог знает что. Паника. Потом мы узнали, что это за выстрелы были: горело в нижнем трюме, заключенные почувствовали дым, железный пол уже горячий, толпа бросилась на трап к выходу, передних конвоиры расстреляли в упор, мертвые не упали, их подпирала сзади обезумевшая толпа, охрана просто захлопнула люк и на замок,

подыхайте там… А мы все-таки выбрались, видим, что сзади парохода дым стелется, «Джурма» торопится изо всех сил, горит внутри, скорее тлеет, чем горит, потому и дым. А сзади километрах в трех идет еще один пароход, позже узнали, это небольшая «Индигирка», тоже с заключенными. К вечеру впереди горы завиделись, кто-то из матросов сказал: «Остров Завьялова, ночью будем в Нагаево, если успеем…» Что «успеем», мы все поняли. Что там с мужчинами — так и не узнали. И тут явился боцман матросами, которые притащили и бросили на палубу куски парусины, дали нам иголки, суровые нитки. Мы с плачем сели шить мешки, по размеру поняли: для покойников, тех, которых убили. Смертные мешки. В них, значит, труп и железки, завязывают — и в воду, уже не всплывут. Все-таки международные воды, нельзя, чтобы плавали… Видим, люки в мужском трюме открыли, наложили решетки, конвоиры стоят, ружья стволами вниз, оттуда сплошное «а-а-а», задыхаются, на палубе запах гари, смрада, мы плачем в голос, какой-то кошмар! Глубокой ночью загремела цепь, якоря бросили уже в Нагаево, нас быстро-быстро на выгрузку. Бежим, очень холодно, на сопках снег лежит. И уже в порту кто-то из моряков сказал: «Подфартило нам, огонь не вырвался и приказ не пришлось выполнять». На пересылке пошел разговор, что на «Джурме» из НКВД приняли радиограмму: команде пересесть в шлюпки и плыть к «Индигирке», «Джурму» — потопить. Представляете себе? Капитан, к счастью, этот приказ не выполнил, не взял на себя преступление. Что с ним было — неизвестно. И сколько там мешков потребовалось — тоже. Вот такая трагедия. Что жива — до сих пор не верится. — Замолчала и снова уставилась странным взглядом во что-то видимое только ей одной.

Катя и Зина растормошили ее, заговорили о совхозе так, словно тут была райская жизнь, а Вероника Николаевна сидела, как каменная, только губы у нее мелко-мелко дрожали.

— Здесь мы будем выращивать огурцы и все другое вкусное, дорогая Вероника Николаевна, — сказала Катя таким тоном, будто подо всем прошлым можно подвести черту и начать жизнь по-новому. — Скоро вся эта гора зазеленеет, солнышко подобреет и мы заживем на свежем воздухе и под голубым небом. Вам надо жить! У вас дети и вы встретитесь с ними, вот поверьте мне…

— Но десять лет…

— Наверное, уже не десять, а девять?

— *Я* по тюрьмам полтора года.

— Ну вот, уже восемь с половиной. И не одна вы тут, это общая беда. Поглядите на трассу: опять везут.

По шоссе, соблюдая дистанцию, шли десятки машин с

фанерными коробами. Еще теплоход?..

Вечером Морозов пересказал тепличнику историю Вероники Николаевны. Василий Васильевич выслушал молча, не задал ни одного вопроса.

— Ей надо помочь, бедняжке. Утром приведи ее в теплицу, пусть поработает здесь. Поручим ей цветами заниматься. Не одним же магаданским дамам глядеть на красоту…

Уже в полусне Сергеи видел, как Василий Васильевич поднялся, прошел в конец теплицы, куда свет едва доставал, повернулся лицом на восток, опустил-голову. Молился. Сергею очень хотелось подойти и стать рядом: Но не посмел. И уснул сном молодого, наработавшегося человека. Утром открыл глаза, а Кузьменко уже готовит немудрый завтрак.

До прихода женщин Сергей обошел заметно осевшие бурты, проверил, в каких парниках горит, а где навоз остыл. Поеживаясь от утреннего холода, принялся бросать горячий навоз в незаполненные парники.

Подошла бригада, Сергей встретил Веронику Николаевну и повел в теплицу.

— Здравствуйте, здравствуете, это место вашей работы. — Кузьменко поклонился: — Будем сажать помидорную рассаду. Не торопитесь, раздевайтесь и делайте, как я. Почаще вспоминайте, что приносите людям добро. Вечное крестьянское добро, о котором мудрец Сократ сказал: «Земля дает обрабатывающему ее все необходимое для жизни, прибавляя еще и то, что услаждает существование». Не слыхивали такой мысли? И ничего, что не слышали. Куда важнее самому делать это добро…

В середине мая, когда все парниковые рамы были подготовлены, а Зина и Катя уже усаживали более ста женщин за пикировку капусты, Сергея позвали к Пышкину.

У него в кабинете уже сидели Руссо и пожилой, главный агроном управления Андросов. Все поздоровались, Пышкин показал на стул.

— Вот какое дело, Морозов, — начал Пышкин. — Наши наставники, — он поглядел на Руссо и Андросова, — просят поручить вам работу на целине Дальнего поля. Под их руководством. Совхоз не против, там нужен бригадир с образованием, способный грамотно использовать и уже возделанную пашню и разработку целины, которую вы наметили.

— В условиях вечной мерзлоты, — вставил Андросов.

— Да, предмет со многими неизвестными, — уточнил Руссо. — Режим влажности, температуры, глубина залегания корневой системы и все другое. Научное познание с помощью приборов.

— А парники? — Сергею жалко было расставаться с ними.

— Мы можем оставить их двум молодым женщинам. Как их зовут?

— Зина и Катя.

— Похоже, они неплохо освоили технику парниководов?

— Лучше, чем я. Двухлетний опыт.

— Понимаете, — сказал Руссо, — освоение новины на Колыме все еще проходит по методам, которые заимствованы из мест старого заселения России, без учета особенностей Дальнего Севера. Нам с Михаилом Михайловичем, — он посмотрел на Андросова, — хотелось бы организовать здесь опытную площадку для испытания иных способов создания пашни. Правда, на Колыме есть опытная станция в районе Эльгена, но ей очень не повезло: её затопила полая вода при разливе реки. Все опыты смазаны. Все придется начинать сначала. Брали пробы, делали съемку местности. Бычков передал нам крупномасштабную карту, можно начинать освоение. Но как? Тут придется всем нам подумать. И вам больше других, поскольку площадки для наблюдений и замеры в ваших руках.

Морозов слушал и ощущал приятное, все более захватывающее возбуждение. Спросил Пышкина:

— Мне позволят там жить?

— Разумеется! Тем более что срок у вас небольшой. Заботу о пропуске мы с директором берем на себя. Жилье на участке довольно вместительное. Любимов вам знаком. Вот и условия для жизни. Не Бог весть какие, но посвободней, чем за проволокой.

— Я согласен.

— Ну и прекрасно, — Пышкин улыбнулся. — Вот так, господа присяжные, считайте, что сосватали хлопца. Введите его в курс задуманного, два дня он в вашем распоряжении. И потом два часа на сборы. Так, Морозов?

Сергей еще долго сидел с Руссо и Андросовым, ему приготовили и отложили две книги, в том числе «Мерзлотоведение» Сумги-на, познакомили с разными точками зрения на способы освоения почв в зоне вечной мерзлоты, предложили методику, которая ему не очень понравилась. Но он промолчал, считая спор неудобным. Из конторы не шел, а бежал в гору, к Кузьменко. Запыхавшись, сказал Кате и Зине, что его переводят жить на Дальнее поле, и услышал двухголосое «счастливчик!» А своему наставнику обстоятельно выложил весь разговор в совхозной конторе. И очень удивился, когда Василий Васильевич спокойно сказал:

— Пышкин говорил мне об этом плане.

— А вы?!

— Одобрил. Да и сейчас по твоим глазам вижу, что доволен. Тебе надо готовиться к настоящей, большой работе агронома, Сережа. Стажировку в закрытом грунте ты прошел. Теперь надо посмотреть на земли уже изучающим взглядом. Вон там, внизу у реки огороды. Они доброго слова не стоят. А ведь кто-то распахивал, надеялся на удачу. И допахались — голое поле из гальки и песка, два паводка за сезон промывает весь мелкозем. А почва — это, прежде всего, перегной, все плодородие от него. Вспомни усадебные огороды в деревнях: никакого сравнения с наделами вдали от хлева. Вот такая истина земледелия.

— На Дальнем поле — меньше одного процента гумуса. Не разбежишься.

— Вот это и есть твоя главная заботушка: сделать почву плодородной. Навоз, навоз и навоз. Город рядом, а всю ли органику мы берем оттуда? Так ли ценим каждый навильник навоза? И еще забота о тепле в пахотном слое, ведь ниже — вечная мерзлота. Что с ней? Как поступить? Все это интересно, все нужно знать. Я очень рад за тебя: не кончив срока, ты уже учишься и практикуешь. Тем более, не за три моря от меня.

И, усмехнувшись, вручил Сергею длинный, только что сорванный огурец.

— Садись, позавтракай. Когда приеду к тебе в поле, отдаришь молодой картошкой.

…Тогда он далеко не все понимал в психологии человеческих поступков, этот молодой агроном с надломанной судьбой. Даже приблизительно не мог понять таких людей, как начальник лагеря или оперчек при лагере, или начальник охраны — они постоянно были рядом, но в другом каком-то измерении. От них исходила беда, это он ощущал, они распространяли вокруг себя страх понуждения, физической расправы, даже смерти, они так свыклись с этим своим правом карать и унижать, что считали подобное палачество неким трудом, необходимым в жизни. Их уже самих — правдой и неправдой — убедили, что разделение людей на приказую-щих, способных определять события и поступки, и на бесправных, обязанных к подчинению, есть обязательное явление жизни и времени, такое же неоспоримое, как законы природы. Всякое отступление от таких «законов», утвержденных в органах НКВД здесь и на «материке», где в тюрьмах и пересыльных лагерях царили насилие и зверство, безусловно карается смертью от пули, голода и холода. Убеждение это в те годы настолько укоренилось, что понятие убийство за шаг в сторону, за протесты и споры не вызывало у самих убийц ни колебания, ни раскаяния. Убивают же врагов на войне? Так почему не убивать «врагов народа», тем более в

«условиях все более ожесточающейся классовой борьбы», как ни раз утверждал великий вождь народов, укравший приемы создания диктатуры, скорее всего, у Робеспьера, которого считали одним из вождей Парижской коммуны…

Не мог Сергей Морозов понять и тех вольнонаемных специалистов, которые привыкают равнодушно смотреть на современное рабство, как на нечто оправданное, вызванное необходимостью. И хотя милосердие изначально заложено в душе каждого человека, оно может быть заглушено, может почернеть, обрекая душу на вечную жестокость. В здешних условиях милосердие было наказуемо и потому редко проявлялось. Вольнонаемные очень тщательно избегали прилюдно высказывать даже признаки жалости или сочувствия к заключенным. Они с близкого расстояния насмотрелись на ужасы и бесправие по ту сторону колючей проволоки и в забоях, сами боялись очутиться за этой проволокой.

Не за это ли надругательство над собственной душой Дальстрой платил вольнонаемным двойные оклады и предоставлял двойные отпуска на благословенные южные моря? Оплаченный отказ от проявления человечности. Уже знакомые Сергею интеллигентные, много знающие люди — Руссо, Андросов, Пышкин — ни словом не выразили Сергею даже простого сочувствия. Привлекая его к интересному труду, они, прежде всего, думали о собственной задаче, отрабатывали свою обязанность. Но в разговорах с ними Морозов все время ощущал некое расстояние, стену разделяющую: это мы, а это ты… В сострадании Сергей, положим, не нуждался, он был молод, физически здоров и уже этим подымался выше своих именитых, пожилых коллег. Тень неравноправия сказывалась в безучастности к его личной судьбе. Приговорен — отбывай. Так что, молодой коллега, вот тебе задание, вот тебе некоторые советы, поезжай в избушку на Дальнем поле, трудись во славу и на пользу… Все необходимое для жизни ты получишь из рук того органа, который определил тебе срок. Гуд бай! И благодари судьбу.

Теперь ему предстояло идти на прием к полупьяному придурку — начальнику лагеря за новым пропуском для вольного хождения, за сухим пайком, за постелью и бельем. Сергей все еще носил свой потерявший от стирок цвет комбинезон, полученный от инженера Антона Ивановича, — мир праху его! — на дебинской стройке.

И он поплелся из конторы в лагерь, куда же денешься. Пришлось сидеть в «предбаннике», где за обитой дермантином дверью находился начальник лагеря. Долго сидел, пока из

кабинета не вышел бравый грузин. Он грубо спросил:

— Что надо?

— К начальнику за пропуском.

— Каким пропуском? Куда?

— На Дальнее поле. Посылает совхоз.

— Заключенными распоряжаемся мы, а не совхоз, понятно? Иди за мной.

Сергей пошел, поняв, что указание уже есть, что этому напыщенному калифу на час поручено сделать все, что полагалось.

Они пришли в учетно-распределительную часть, где у грузина был кабинетик. Сергей закрыл за собой дверь, а грузин плюхнулся на стул и уставился в окно. Не глядя на Сергея, сказал:

— Я люблю огурцы и помидоры. Все, что есть в совхозе. Витамины нужны, понятно? Я южный человек, без витаминов мне нельзя. Кругом бабы… Что молчишь?

— Я огурцами и помидорами не заведую, начальник. На Дальнем поле только турнепс, морковь и капуста.

— Я не бык, чтобы жевать капусту. Я — мужчина! Ты дружишь с тепличником. Обеспечь.

— Украсть?

— Не надо говорить громких слов. Обеспечь — и будет порядок. — Он вдруг легко вскочил, пересел за стол, поворошил бумаги.

— Держи, Сережа. Вот пропуск. Вот записка в каптерку, там все получишь. Иди.

Из его волосатых рук противно было брать даже бумажки. И этот жеребец, эта скотина вершит судьбами трехсот женщин, царь и бог в лагере. Ни слова не сказав, Сергей вышел, получил все необходимое и до позднего вечера работал в теплице, где все зеленело, цвело, как на летнем огороде. Конечно, рассказал Василию Васильевичу о грузине.

— Обойдется и без витаминов, — ответил Кузьменко. — Меня он тоже уговаривал. Осечка вышла.

На парниках Сергея встретила Зина, позвала и Катю.

— Бросаешь нас, негодник? — спросила Катя. — И не жалко?

— Ты меня лучше пожалей. В дикое место ухожу, как в ссылку. Иду с надеждой на успехи в трудах.

— Нам бы твои заботушки, — вздохнула Катя. — Ты скоро вольняшкой будешь, а у нас и края не ведать.

— Есть край, — решительно сказал Сергей. — Верю, что пройдет беда.

— Мы тоже верим. — И Катя заплакала.

Он ушел от них расстроенный. Вот такая жизнь…

СНОВА НА ДАЛЬНЕМ ПОЛЕ

К Любимову заявился около полуночи. Было относительно светло, но дорога очень грязная, а по обочинам кочкарная хлябь. Устал, поклажа в матрасном мешке казалась многопудовой, у избушки сбросил, сел на лавочку.

Скрипнула дверь, выскочила и завертелась у ног лайка, норовила лизнуть в лицо. Любимов вышел одетым и очень удивился:

— Ты что, Серега? Никак больной? Или убег?

— Устал, дядя Коля. И груз на плечах порядочный. Жить у тебя буду, Пышкин послал. Целину разрабатывать начнем. Еще двое постояльцев придут. Шалаш надо ставить.

— Да ведь палатка-то на чердаке! Вот ее и поставим. Пусть живут. А жердей нарубим. Значит, пахать новину? А я все думал — и зачем мы зиму по снегам ныряли? А оно вон что! Отдышись, посиди, а я кипяточек налажу.

Избушка стояла на пригорке у самого склона. Ниже избушки и чуть выше ее лежало Дальнее поле, покрытое, как одеялом, толстым слоем молочного тумана. Вверх по склону уходило еще одно ровное поле, оно все лето сочилось водой, и Сергей еще во время зимних работ понял: без канавы здесь не обойтись. Излишек воды сделал эту удобренную пашню холодной и неродимой. Выше пашни, на горе темно стояла стланиковая заросль с редкими лиственницами. По другую сторону долины, за ручьем с распаханными берегами, тоже подымалась пологая сопка, а через нее шоссе.

За мостом ручей впадал в Дукчу, дальше река прорывалась к морскому заливу, на берегу которого стоял поселок Ола — первоначальные ворота на Колыму, откуда началось продвижение в нагорную Колыму в поисках золота.

Места, выбранные для новой распашки, отличались от пахотных массивов своей защищенностью. С севера и востока подымались лесистые сопки, они закрывали путь холодным ветрам. А от влажного и прохладного дыхания моря долину загораживала седловина перевала. Все это Сергей усмотрел еще зимой, во время съемки. Микроклимат на Дальнем поле позволял растить культуры без опасения холодов и ночных заморозков. Когда-то по всей долине стоял хороший лес, но теперь от него и следа не осталось, пни выкорчевали и увезли на топку. Лесная земля? Нет, скорее вейнико-вая, травянистая, трава росла и под покровом леса, возможно, он был редкий.

Уставший, измотанный за день Морозов поужинал с

Любимовым, отошел от стола, прилег и уснул. Солнце еще не вышло из-за седловины, когда он открыл глаза. Сбегал к ручью и, ухая от ледяной воды, вымылся до пояса. Бегом пробежал до избушки, там уже дымился на столе брусничный чай. Прошлогодней брусники по ближним полянам краснело великое множество, только не ленись собирать.

Трактор с плугом прогрохотал на поле, они с Любимовым пошли следом. Заглубили плуг на самую малость, пустили. Но что это? Плуг не врезался, а скакал по неровностям, по кочкам. Если лемеха углублялись, то царапали по близкой мерзлоте, на стойки наматывалась старая трава, отвалы громоздили рваную дернину, позади оставалась не пахота, а срам, сплошные бугры и навалы. Морозов остановил трактор, задумчиво оглядел исковерканный луг и поверженные кочки. И вдруг понял, что плугу здесь просто нечего делать. Прежде чем пахать, надо как-то разорвать, изрезать плотную дернину, сделать верхний слой рыхлым, тогда теплый воздух свободно пройдет в глубину и мерзлота отступит, а уж потом можно и плуг, и борону. Но чем рыхлить? Диски не взрежут крепкую и мягкую поверху дернину, они будут просто плясать по ней.

Любимов сосредоточенно думал. Сергей стоял и покусывал губы. Вот задачка! Он ощущал в себе настойчивое желание, возникшее из необходимости принять решение. Это был порыв творческой мысли, явление редкое и счастливое, посещавшее его, когда требовалось что-то решить, придумать…

Любимов вдруг сказал:

— У нас на Алтае целину сперва раздирали рельсовой бороной, такой треугольник из толстых бревен, а через эти бревна пропущены десятка полтора рельсовых кусков — вверх и вниз, как зубья. Железная гребенка, что хошь взрежет. Как сором забьется, так трактор заходит сбоку и переворачивает угольник, и опять режет и коренья, и дернину. Получалось.

Отправив трактор на вспашку уже посеревшей старой пашни, Морозов ушел в совхоз советоваться. В кабинете Пышкина, куда пригласили и Андросова, Сергей нарисовал рельсовую борону, как она представлялась ему по рассказу Любимова. Все вместе отправились в мастерские.

Бревна нашлись. И старые рельсы от узкоколейки ржавели в куче железа, их порезали автогеном на метровые куски, сбили из бревен крепкий угольник, пропустили рельсы через железные крепления. И взору явилось страшное по виду орудие с рядами железных штырей вверх и вниз, неподъемная рельсовая борона, вещь незнакомая ни Андросову, ни ученому Руссо. Ее погрузили на тракторные сани и повезли краем дороги к месту работы.

Большой ЧТЗ с трудом выволок борону на край целины и прибавил газу. Потянул, пошел!

Вот что, оказывается, требовалось северной земле для создания на ней пашни! Рельсы углублялись до мерзлоты, царапали ее, разворачивали корневища, плотные осоковые кочки, дерн, сзади оставалось месиво из песка, глины, разбитых кочек, дерна — все рыхлое, вспученное. Трудно было верить, что тут можно увидеть в дальнейшем цивилизованный огород.

— А вот и увидим, — заявил потный, красный от возбуждения и беготни за трактором Морозов. Он был в работе — не той унылой, подконвойной, треклятой, когда считаешь минуты до «отбоя», а в настоящей, азартной и пусть нескончаемой, но приносящей удовлетворение человеку, открывшей что-то новое и полезное.

Молчаливый Пышкин стоял в стороне, еще не очень уверенный, что таким весьма примитивным способом можно разрабатывать мерзлые грунты. Он ощущал добрую зависть к молодому азарту и энергии этого парня с клеймом лагерника, который так скоро проявил и знания, и энергию, не опустился до бездумного положения исполнителя, ждущего приказа.

Сергей подошел к главному агроному:

— Можно достать термометры? Я помню, Руссо обещал.

— Попрошу. Для чего?

— Для измерения температуры почвы на разных глубинах. Вместо специальных, почвенных. Проследим, как скоро и как глубоко будет прогреваться земля после такого рыхления. И вообще, как изменится температурный режим у взлохмаченной целины. Три-четыре термометра, если можно. Проверим, есть ли смысл…

— Мысль верная. Чтобы не на глазок оценить. Сам Руссо приедет. Ему полезно посмотреть на эту работу.

Колготной день быстро подошел к концу. Все устали. Перед сном Любимов вышел из хаты, но сразу вернулся.

— Погляди, что на шоссейке делается. Сергей набросил телогрейку, вышел. Вся трасса светилась огнями. Из Магадана опять двигалась бесконечная вереница машин, хвост ее пропадал за пе-ревальчиком. И все с будками на кузовах.

— Похоже, еще один караван прибыл, — произнес Николай Иванович. — Новеньких привезли. Россию через сито просеивают. Все крупные отруби — сюда. Всю мелочь оставляют при себе, из нее, что хошь потом делай, хоть тесто меси, хошь квас вари, али самогонку гони. Сырье…

Морозов провожал глазами этот уже привычный — какой по счету? — караван. Будки, будки, будки… Успевают к сезону

промывки. Чем будут кормить такую массу людей? И будут ли заботиться, давать хоть какой отдых? Или эта рабочая сила рассчитана на один-два сезона, чтобы потом превратить людей в замороженные трупы, какие он видел на «Незаметном»? Вообще, как можно говорить об освоении северного края, не устроив для людей нормальной жизни? Авантюрное дело, рабство по-азиатски.

— Страшно, — сказал Сергей и отвернулся от мигающего огнями шоссе. — Все они останутся здесь. На свое кладбище едут.

— Кто нас будет считать, — отозвался Любимов. — Это знаешь, когда началось?

— С тридцать четвертого, когда Кирова?..

— С одна тысяча девятьсот двадцать четвертого, вот когда «Этот» вознесся…

— Я не помню, — просто сказал Сергей.

В эту ночь даже лайка Зоя спала беспокойно. Гул моторов будил ее, она вскидывала голову и тоскливо взлаивала.

Рано утром из совхозной усадьбы пришел рабочий человек и передал три термометра с инструкцией Руссо, как их «заленивить», то есть укрыть нижнюю часть, чтобы при выемке из скважины температура не сразу подскакивала.

Трактор с рельсовой бороной работал, прибавляя к полю новые гектары. Морозов и Любимов выдолбили на краю поля скважины, вставили в них куски цементных труб с пробками и опустили термометры. Среди дня прошел скоротечный сердитый дождик и долина на глазах зазеленела, отмылась. Посмотрели термометр, что был на поле, потом два других — на целине. На развороченном поле было теплей на три градуса, чем на нетронутом. Вот так борона! Сразу — на три!

Сергей уже налаживал сеялку, проверил высев на первой борозде и поставил сеять турнепс смышленного парня, который уже второй год работал в совхозе.

За неполную неделю посеяли морковь, свеклу, турнепс. Трактору на целине хватало работы, он ходил по одному и тому же месту три-четыре раза, пока не разбивал дерн в пух, не сглаживал валы и ямы. А Морозов уже думал, что можно заняться другим делом, без которого пашня не вполне сработает: искать навоз, возить как можно больше. И где он, тот навоз?..

Все, что накопилось у скотных дворов, уже вывезли частью на парники, частью на огород перед совхозом. Дальнему полю, для целины и для старого участка требовалась не одна тысяча тонн органики. Морозов помнил наставление Кузьменко: без навоза урожая на севере ждать не приходится, земля малоплодна, скупа.

Тогда же Василий Васильевич сказал, что на 23-м километре

есть инвалидный лагерь, а при лагере большая конюшня, на лошадях привозят в бараки дрова и нарубленный лозняк, из которого инвалиды плетут корзины. Пока не началась посадка капусты, где нужен глаз да глаз, можно бы «сбегать» на этот 23-й километр и договориться о навозе.

Он заручился бумагой от совхоза на имя начальника инвалидного лагеря, переночевал в теплице у Кузьменко, рано утром пошел в гараж, дождался выделенной ему машины и поехал на разведку в этот лагерь.

От верстового столба с цифрой «23» к инвалидному городку шла узкая гравийная дорога, по виду малонаезженная. Лагерь находился в двух или трех километрах от шоссе, но не в самой долине, а на плоском уступе сопки. Бараки его были видны и с трассы.

Сперва Морозов отыскал конюшню, она стояла почти на краю уступа, ворота настежь, в стойлах всего три матки. Кобылы насторожили уши. Заржал один жеребенок, потом другой, потверже голосом. Откуда-то явился заспанный дядька, темная щетина покрывала его щеки и подбородок.

— Чего надо? — недовольно спросил он. — Курева у меня нету.

— И не надо, — дружелюбно сказал Сергей. — Я к тебе по другому делу.

— Сказывай, — важно отозвался конюх.

— Я из совхоза. От навоза хотим вас очистить. Есть навоз?

— А как же! Здеся он ни к чему, огородов-полей нету. Вон, под откосом лежит.

Под откосом!.. Надо же…

— А в «Дукче», восемь километров отсюда, есть и огороды и поля, которые удобрять надо. Затем и приехал. Покажи-ка, как подъехать. И сколько того навоза.

Конюх лениво вышел из ворот, еще раз зевнул, отбрасывая остатки сна, и повел к уступу.

— Мы с ним запросто. В тачку — и вниз. Из обоих ворот. Горит он, аж дымится.

С высокого откоса, почти до речного уреза тянулся вниз плотный завал хорошего навоза. По сторонам горка уже почернела, успел перегореть, а по центру лежал более светлый, недавний. Сергей даже присвистнул.

— Ты из крестьян? — спросил конюха.

— Раскулаченные мы, пензенские, — погрустневшим голосом ответил мужик. — В лошадях толк знаем, конечно. И назём у нас шел в дело. Только здеся нечего удобрять, так что можешь увозить, раз для пользы дела. Но сперва доложись начальству, без

того нельзя. За вахтой они сидят.

И кивнул в сторону лагеря.

ГОРОД ИНВАЛИДОВ

Вблизи зона, со слегка поднимающимся по склону забором из колючей проволоки, казалась бесконечной, где-то вдали она упиралась в крутой обрыв сопки и едва ли не на километр уходила вправо. Внутри тремя рядами стояли бараки, из труб их лениво подымался дымок. На углах изгороди чернели вышки.

— Зачем вышки-то? — спросил Сергей. — У вас же инвалиды.

— Конечно, какие из них бегуны. Наверное, порядок такой, чтобы охранять. Тута разные враги народа, ну и такие, как ты, мальчишки, кто без ноги, али без руки, кто того-этого, — конюх покрутил у виска пальцем. — И вовсе старые есть, даже которые генералами бывали.

— Ну, уж, чтобы в лагере генералы?

— Случались и они. Знавал одного. В годах. Его с прииска привезли. Еле живого. И у нас не долго прожил. Помер.

Блеснула догадка: уж не Рокоссовский ли, о котором слышал, будто арестован?

— Ты мне фамилию скажи, отец.

— Да рази нам докладают? Сидел, это точно. Корзинки плел. Видел в лицо. Строгий мужик, бровастый. Но и его сивки-горки укатали.

Сергей нащупал бумагу в кармане комбинезона и пошел к вахте. Спросил вышедшего вахтера:

— У меня дело к начальнику лагеря. — И показал бумагу.

Вахтер оглядел его глазом профессионала, видно, принял за вольнонаемного, сказал кому-то на вахте:

— Тут посетитель по делу… Откуда ты? Из Дукчи, сказывает. Из совхоза. Спроси, пропускать али нет?

Человек ушел, вернулся, сказал, что можно пустить. И повел Сергея в контору.

Начальник лагеря в погонах майора сидел за столом и пил чай, то и дело остужая его струей воздуха из странно маленького, прямо-таки детского рта. Глянув на Морозова, он ткнул пальцем на стул, показав, что тот может садиться. Отхлебнув еще раза два, поставил стакан:

— В чем дело?

Сергей протянул бумагу. Она была подписана директором совхоза. Майор прочитал и очень удивился:

— Назём? Своего вам мало! А всякое-другое дерьмо не берете? Дешево отдам. Только сами грузите-возите. — И засмеялся, откинув голову назад.

Сергей вежливо объяснил, зачем совхозу навоз, что это

топливо для парников, где выращивают огурцы и помидоры, что совхоз снабжает овощами город, что навоз нужен для улучшения огородов, где растут овощи.

Майор слушал, склонив голову на левое плечо, весь внимание. Ладони его обняли стакан, грелись. Затем он сделал какое-то движение, переложил голову на правое плечо и протянул руку:

— Документы! — Видно Сергей показался ему подозрительным.

— Я же отдал вам… — И показал на бумагу.

— Личный документ!

— У меня нет. Я заключенный, агроном в совхозе. Вот пропуск на вольное проживание.

— Ага. Понятно. А говоришь, нет документов. Это и есть твой документ, без бумажки ты никто, ясно? Так, Морозов? Значит, агроном? Ведаешь этими парниками и огурцами? Тогда давай уговоримся, так сказать, устный договор заключим. Я тебе навоз, ты мне огурчиков. Как уж там сделаешь, но товар за товар.

Теперь, оживившись, он держал голову прямо, чуть откинув назад, отчего стал выглядеть солиднее, уже не майором, а, пожалуй, полковником. В такой позе и ждал ответа. Глаза его сощурились.

— Наверное, это можно, — сказал Сергей. — Правда, с огурцами у нас строго. Вы напишите в совхоз требование, для больных, что ли, я передам главному агроному. А навоз мы начнем возить сразу, если позволите. Наши грузчики и подъезд устроят. А вы сейчас и напишите заявку на овощи. Я попробую уговорить, чтобы продали и огурцы. А для лагеря немного зеленого лука. Позже можно и редиску. Вообще-то лучше, если вы и грузчиков выделите, чтобы не катать своих. Наверное, найдутся в лагере. — Сергей надавил на последнюю фразу.

Майор поднял брови:

— У нас кого хочешь можно найти! Всяких специальностей, разных высоких чинов, вплоть до министров. Бывших, конечно. Но грузить они не того… Слабаки. Их по приискам насобирали. В общем, найду грузчиков. Ты вот что, агроном, скажи мне: а нельзя у нас огород учинить?

— Можно. Но надо землю сперва найти, годную под распашку.

— А ты можешь?

— Могу, наверное.

Майор нажал кнопку, из другой комнаты явился человек непонятного чина, без погон, но в потертом военном кителе. И вытянулся по стойке «смирно».

— Отряди к конюшне пять лбов покрепче, пусть нагрузят машину навоза. И доложи. А мы с тобой, агроном, пройдемся, поищем эту самую землю. Я всегда живу по принципу: «Куй железо, пока горячо». Договорились?

— Мне надо сказать шоферу и подыскать подъезд.

— Тридцать минут! И сюда. На вахту я позвоню. Давай, топай, огуречный мастер.

Вообще говоря, Сергей не имел полномочий на такого рода переговоры. Но этот майор был какой-то чудной, не чванливый. Во всяком случае, не злой. И за идею с огородом сразу ухватился, что можно объяснить природной склонностью к добрым делам — не без выгоды для себя, а для лагерников хоть какое-то дополнительное питание. Сергей уже смелее спросил:

— Сколько людей в зоне? Нужно знать, чтобы определить примерную площадь огорода.

Майор удивился, снова откинул послушную голову назад и о чем-то подумал. Наверное — сказать или нет?

— Четыре тысячи с небольшим. Из них половина безнадежных, в смысле без рук, без ног, всякие параличные и чокнутые.

— Поначалу вам хватит и десятка гектаров земли, чтобы улучшить питание на летнее время. И надо подобрать хорошего агронома.

— Покопаемся в делах, десяток профессоров найдем, — хохотнул майор.

— Профессора не всегда практики. Нужен практик.

— Вот ты и поможешь выбрать. Лады?

Морозов, конечно, мог и отказаться, поскольку спешил, горючее на исходе, нет полномочий. Но что-то подтолкнуло его: соглашайся. И тут же понял, откуда возникло это «что-то». Вдруг в лагере окажутся его старые друзья? Тот же отец Борис или несчастный подполковник Черемных. Или милый Николай Иванович Верховский с тяжкими своими мыслями?

— Идемте, посмотрим долину у реки, — поторопил Сергей. — Или кто другой пойдет?

— Нарядчик. Устроит?

— Нет!

— Начальник конвоя?

— Что он смыслит в этом деле?

— Тогда пойду я, — и поднялся, оказавшись ростом едва ли не в два метра. Одернул китель, влез в шинель и зашагал впереди, как Петр Великий на известной картине художника Дейнеки.

У конюшни бестолково переругивались пять заключенных, не

знающих, зачем их вызвали.

— Вилы, вилы им давай! — крикнул майор, тыкая вытянутой рукой в плечо ленивого конюха.

— Счас, счас… — И побежал в глубь конюшни, где нервно ржали матки и жеребята, непривычные к такому многолюдству.

Сергей тихо сказал шоферу:

— Нагружайся сполна, чтобы впустую не возвращаться. И жди меня. Смотри, не уезжай. И не застрянь у навозной кучи. Тут тракторов нет, чтобы вытаскивать.

— Куда пойдем? — спросил майор. И, не дожидаясь ответа, зашагал в сторону от конюшни.

— Подождите, гражданин начальник, — крикнул Сергей. — Не туда, не торопитесь, пожалуйста.

И остановился возле него, осматривая долину сверху. Там, где река делала изгиб, приближаясь к откосу с постройками, в самом ее изгибе летними паводками было намыто великое множество песка и мелкозема. Река сама насыпала, приподняла этот полуостров, скорее остров, потому что по другую сторону изгиба по яркой осоке легко угадывалась недавняя протока, где в половодье вода шла напрямую. Отсюда остров по цвету напоминал небритые щеки конюха: весь зарос тальником, который много раз срубали, а он отрастал опять. Лучшей земли во всем этом месте, чем песок с богатым наилком, для огорода и придумать трудно. На долю земледельца тут остаются только две работы: вырубать длинные корневища тальника и запахивать на каждый гектар тонн по пятьдесят или сто навоза.

Вот эта последняя мысль родила у Морозова беспокойство: скажи он про это и майор может не отдать даже части навоза. Получится, что он сам ущемил свое Дальнее поле. Но, окинув взглядом навозную гору под откосом, понял, что здесь в десять раз больше добра, чем потребуется на небольшой новый огород. Кроме того, на карту ставилась честь агронома, доброе отношение к нему майора. И еще желание сделать что-то полезное для несчастных инвалидов. Ведь они вкус овощей уже не помнят…

Майор стоял рядом, нетерпеливо переступая с одной длинной ноги на другую. Г олова его то и дело меняла левое плечо на правое и обратно: размышлял.

— Вот ваш будущий огород, — и Морозов показал на остров.

— Плешь какая-то! Пустота, — выкрикнул майор. — Ты что, смеешься?

— Почву вы сделаете сами. Навозу здесь хватит и вам, и совхозу. Главное близко, все рядом. Осенью река замерзнет, вот тогда и возите на салазках кучу к куче. Я сделаю расчет, сколько

нужно. Но прежде надо зарисовать остров, определить границы и площадь.

— У нас есть и художник. Даже заслуженный, с десятком годов за плечами. Нарисует. В красках.

— Заслуженный пусть картины создает. Землемер нужен.

— Все специальности имеются, как в главном колымском отделе кадров. Можешь сам поискать специалистов по формулярам, поговоришь с ними. У нас где-то даже академик был. Да весь вышел. Похоронили. — И со вздохом добавил: — Все мы смертны…

Сергея как током ударило. Поискать он — с удовольствием, такая возможность в другой раз не повторится. Вдруг знакомых найдет.

Для своей должности майор был не только человечен, но и сентиментален. Лицо его как-то очень легко меняло выражение, отражая перемены в душе. Оно или хмурилось и делалось начальственно строгим, или разглаживалось и тогда казалось освещенным изнутри простотой, отзывчивостью. Сама его манера откидывать голову назад, чтобы казаться начальственным, склонять ее на левое или правое плечо, как бы предаваясь рассуждениям, обдумывая намечаемый поступок, его грубоватая открытость, когда он торговался насчет огурчиков, — все это выдавало в нем не профессионального тюремщика, не лагерного мерзавца, а, скорее, человека случайного в Севвостлаге — этом сборище палачей и прохвостов. И вот это совсем уж простенькое «все мы смертны» тоже выдавало в нем человека, только по капризу судьбы напялившего на себя мундир майора НКВД.

Мнение утвердилось, когда Морозов оказался в учетно-распределительной части лагеря, в УРЧе, как называли такие учреждения все заключенные.

— А ну-ка, картотеку! — приказал майор двум сержантам, застигнутым за столом, где играли в «козла». Те ловко смахнули со стола костяшки, вскочили. — Быстро!

На столе появились продолговатые ящики, полные твердых карточек размером в половину писчего листа бумаги.

— Все, все выставляйте! И помогите этому молодому человеку разыскать нужного нам специалиста.

На столе возникло шесть ящиков. Сергей испугался. Тут и недели не хватит, чтобы просмотреть. Но желание было велико. Подобный случай уже не подвернется, ведь картотека является охраняемым объектом, во всяком лагере двери УРЧ даже опечатываются на ночь, а окна зарешечены.

Его мысли были прерваны гневным криком майора:

— Вы что, безголовые вовсе! Зачем ему картотеки мертвецов?

Это вот что? А это? Соображать надо! Ищем специалиста, живого. И хорошо, если бы оказался на ногах.

Два ящика, битком набитые карточками, мгновенно оказались на полках железного шкафа, где находились еще шесть или семь таких же: последнее напоминание о несчастных, от которых остались только фамилия, имя, отчество, статья, срок, дата рождения и смерти. Когда Сергей уже часа два прокопался в картотеке, он определил: в каждом ящике находилось семьсот-восемьсот карточек. А в железном шкафу, куда убрали нечаянно выставленные листки с покойниками, таких ящиков было девять или десять. За недолгие годы существования инвалидного лагпункта, одного из многих на Колыме…

Майор ушел. Работники УРЧ по очереди ходили в столовую, второй принес Сергею кружку довольно сладкого компота и горбушку хлеба — конечно, по распоряжению самого начальника. Не забыл!

Искал агронома долго. И все-таки нашел. Арестован в плодоовощном совхозе Брянской области, 44 года от роду, беспартийный, осужден в тридцать седьмом году по статье 58–10, срок семь лет лагеря и пять поражения в правах, окончил плодоовощной факультет Тимирязевки. Инвалид второй группы. Имя Павел Петрович Петров. Кажется, подходит. Сергей выписал данные, чуть приподнял карточку над другими и с удвоенной быстротой стал листать соседние, стараясь выхватить только одну фамилию.

Вот он, Супрунов. Да, Супрунов. Его даже в пот ударило. Но имя-отчество — увы! — не сходилось. И статья другая — СОЭ — социально-опасный элемент. Нашлись и Верховские, даже три, но не тот желанный Николай Иванович. Был генерал-майор Верховский, строкой ниже стояло: инвалид первой группы. Вообще, здесь было много военных разных чинов, почти все судимые Военной коллегией на 10–15 лет тюрьмы. Они доживали здесь свою сломанную жизнь.

Тикали на стене ходики. Служивые опять засели за домино, но то и дело выглядывали в окно: как бы не прихватило начальство. Сергей нервничал, слышал, как гулко бьется сердце, но не оставлял этой редкостной возможности что-то узнать о друзьях по этапу.

Судьба была милосердна к нему. Слова «Черемных Виктор Павлович» так и бросились в глаза. Он. Он! Подполковник танковых войск, срок десять лет, инвалид второй группы. Находится в одном из бараков. Как изловчиться встретиться с ним? Ведь Сергей агронома ищет, тот же майор увидит при встрече в бараке, что не один агроном нужен приезжему и

заподозрит в чем-то преступном. Он заставил себя запомнить номер заключенного: 650732 и несколько раз повторил цифры с закрытыми глазами, словно увидев их в темноте. Так лучше запоминается. И тотчас сказал негромко:

— Петров Павел Петрович, вот кто вам нужен.

Оба сержанта оставили недобитого «козла», подошли, взяли карточку. Один сказал:

— Третий барак. Ходячие. Так что, вызвать?

— Когда майор придет. А третий барак — с живыми?

Служивые засмеялись:

— В бараках все живые. А которые мертвые, они в распадке. Здесь только их формуляры. На всякий пожарный случай.

— Этот агроном точно в третьем? — спросил сержант у своего коллеги.

— Да, числится там.

И Сергей зарубил себе на память: в третьем. Там, где и заключенный номер 650732. Под каким предлогом вызвать его? Увидеть? Поговорить?..

Пришел майор, сытый, блаженный, довольный:

— Ну что? Нашелся подходящий?

— Так точно! — в два голоса ответили сержанты, словно открыли все это дело они, а не Морозов.

— А ну-ка, ну-ка… — Майор прочитал сведения о Петрове, остался доволен. — Хоть и контрик, но не троцкист. Ко мне его, по-быстрому! — И, сделав знак Морозову «за мной!», вышел. Следом двинулся Сергей.

Ждали в кабинете недолго. В дверях завозились, охранник открыл створку и пропустил вперед тощего, сутулого и маленького человека, будто усохшего, с лицом испуганным, готовым услышать сейчас нечто ужасное для себя. Впалые щеки его были покрыты давно небритым волосом, то ли седым, то ли светлым от природы. Одна рука его висела тяжело и мертво, другой он держался за косяк двери.

— Проходи, — сказал майор. — Помогите ему сесть. Вот сюда. Ничего страшного, Петров Павел Петрович. Тебя нарочно так нарекли, чтобы три «П»?

— Не знаю, — через силу сказал Петров. Лицо его понемногу теряло напряженность.

— Тебе слово, — майор поглядел на Морозова. И склонил голову на левое плечо: слушать и вникать.

Скоро прояснилось: Петров пригоден для задуманного дела. Он долго работал в одном хозяйстве, знал овощеводство и, видимо, способен руководить людьми.

— Всего для начала с десяток гектаров, — сказал Сергей,

ободряя коллегу. — А там видно будет, от майора все зависит.

— Потянешь? — Майор откинул голову назад.

— Постараюсь. Я и сам мечтал предложить вам. Видел тут, за конюшней хорошее место, мы там лозняк рубили.

— Одной рукой?

— Приноровился.

— Где это вас? Или болезнь? — спросил Сергей.

— На промприборе, прииск «Ударник». Камень под ленту попал, хотел вытащить, а руку смяло, какой-то нерв перебило. Висит как чужая.

— А где там, за конюшней, если точнее? полюбопытствовал майор.

— На излучине, — сказал агроном. — Остров такой.

И тут майор захохотал. Уж очень складно выходило: два разных человека в одночасье показали на одно и то же место. Смеялся он с какой-то икотой, но заразительно. И Сергей засмеялся.

— А ты гвоздь, агроном! Вишь, сразу угадал. И землю, и специалиста, из шести тысяч Одного нашел и вытащил. Гвоздь! Эй, кто там? Ко мне, быстро!

Лицо вохровца показалось в дверях, глаза навыкате.

— Сбегай на кухню, скажи, сейчас придут двое. Накормить хорошенько. Ты как, не против? — обернулся к Морозову. — Шофер твой подождет. В столовой еще поговорите, как коллега с коллегой. Приедешь за навозом, заходи, посиди, нашего «ППП» просвети, тут ведь не Брянск, верно?

Майор поднялся, но от дверей обернулся:

— Наш уговор, Морозов, в силе. На вахте для тебя будет пропуск. Можешь заходить к Петрову в барак.

Грузовик с навозом уже стоял на дороге. Сергей быстро сел в кабину. И всю дорогу улыбался. Завтра он приедет с двумя или с тремя машинами. Пока будут грузить, зайдет к Петрову в барак и постарается найти подполковника Черемных. Какой подарок он может, привезти своему другу? И Петрову — коллеге? И майору? Тут без помощи Василия Васильевича не обойтись.

Машину с навозом он отправил на Дальнее поле, сам пошел искать главного агронома.

— Значит, есть? — переспросил Пышкин. — Отдадут?

— Да, если мы… — И Сергей замялся.

— Понятно. Что надо?

— Начальник лагеря попросил огурцов, килограмм-другой. А заключенным, от которых зависит погрузка, — хлеб, конечно, консервы, лука. Меня этот майор уговаривает помочь устроить у них огород. Есть удобная площадка, я ее осмотрел.

— Много там навоза?

— Дели взять хотя бы половину, то до сотни машин, удобрим весь новый участок на Дальнем.

— Почему половину?

— Другую они оставят себе. Загорелись огородом. Вы не представляете, какие там инвалиды! И сколько их! До сих пор начальство не додумалось создать даже крохотное подсобное хозяйство! Ведь на каждом прииске можно, если захотеть…

— Ты им подсказал?

— Жалко людей, Николаи Васильевич. Умирают ежедневно и не одиночками. Тысяч шесть в бараках, выбракованные на приисках. Домой не отпускают, хотя к труду непригодны. Инвалиды, старики, даже безумные.

— Еще бы. При таком режиме… — И осекся. Откровенничать с заключенным нельзя.

— Дайте мне три-четыре машины дней на десять. Удобрим всю свою целину. И успеем, пожалуй, засеять ее вико-овсом для скота. Или капусту высадим. По нови хорошая пойдет!

— Попробую… Утром иди прямо в гараж, потом зайди ко мне, передам кое-что.

У совхоза было шесть машин и бездна всяких перевозок. Но Пышкин, как и директор, знали цену навоза, три машины отдали Морозову. Вернувшись от главного, Сергей положил на сидение три буханки хлеба, несколько банок рыбных консервов и лук. И отдельно завернутые огурцы для майора.

Пока ехали, он со знанием тюремной конспирации разрезал вдоль три хлебных кирпича, засовал плоские куски и три банки консервов под комбинезон и в карманы, а сверток с огурцами взял в руки. Майору позвонят с вахты, и он догадается…

Так оно и случилось. Начальник лагеря приказал пропустить агронома, вышел из кабинета, увидел сверток:

— Ага! — И даже засмеялся. — Ты с машиной? Грузчиков надо? Трех достаточно?

— У меня три машины, значит, десять грузчиков. А я пока пройду, если позволите, к Петрову в барак. Поговорим, потом выйдем, с ним на остров.

— Топай. Скажешь дневальному у входа, он проведет. Они там корзины плетут, надомники, так сказать.

При этом майор обшарил опытным взглядом фигуру Сергея, конечно, угадал припасенное и определил: для своего коллеги калории несет. Пусть себе несет. Дело того стоит.

Третий барак, огромный, прокопченный, с метинами от прожогов на брезенте, стоял, как ковчег, вполне подготовленный к потоплению: старый, набитый существами, некогда бывшими

людьми. Двери его были настежь, сквозняк выносил из глубины запахи старческой плоти, потного белья и карболки — этого основного лекарства во всех колымских лагерях.

Сергей вошел и остановился. Весь широкий проход между двумя рядами нар в три этажа был завален пучками лозы. Готовые корзины, сплетенные довольно умело, с ручками и с ободком, громоздились у дверей, всунутые одна в другую до верхних нар. Большие электролампы без абажуров одинаково'безлико освещали и верхние нары, и пол, обрывки жалкого тряпья, на котором лежали и сидели люди с одинаково страдальческими, бледными лицами. Ни у кого из них уже не было будущего. Только неспешная смерть от дистрофии, пеллагры, гнойных незаживающих ран. Они привыкли к ожиданию смерти, не страшились, готовы были идти ей навстречу, чтобы избавиться от страданий. Это был худший из лагерей, которые видел, в которых жил Сергей. Отсюда до небрежно взорванного рва на перепаде двух сопок для этих людей оставался один короткий шаг. Вспомнился железный шкаф с ящиками в комнате УРЧ, плотно набитые в них картонные карточки — все, что остается от заключенных, прошедших приисковые мясорубки.

СТАРЫЕ ДРУЗЬЯ

…Перед Морозовым вырос дневальный. Ноздри его чутко подрагивали. Почувствовал запах съестного:

— Куда идешь? Не заблудился? Кто нужен?

— Петров Павел Петрович. По приказу начальника лагеря.

Дневальный, низенький мужчина с острым лицом и жадными глазами, еще раз вдохнув желанные запахи, сказал:

— Пойдем. Мне говорили.

Они шли, лавируя между сидевшими людьми, связками ивняка, кучами корзин, на них отовсюду глядели пустые глаза, в которых не было ничего, даже любопытства. Здесь не жили. Просто существовали до завтрашнего дня. Дальше не заглядывали.

Агроном Петров сидел на краю нар и одной рукой, помогая себе зубами, скусывал кору с прутьев, откладывал белые оголенные лозины, ровнял стопку, а кору бросал вниз.

— А, это вы! — Петров едва заметно улыбнулся. — Честно скажу, не ждал. Думал о вчерашнем: мистификация. Садитесь рядом.

И подвинулся. Дневальный топтался возле них. Сергей полез за пазуху, вытащил плоскую половинку буханки, разломил, одну сунул в руку Петрова, другую протянул дневальному. С соседних нар несколько бледных лиц, не мигая, смотрели на эту процедуру. И Петров и дневальный уже жевали, быстро оглядывались по сторонам, старались скорее проглотить. Лишь справившись с первым куском, Петров, а за ним и дневальный, тихо сказали «спасибо» и опять взялись за хлеб.

Сергей подтянул дневального за груды прошептал:

— Найди мне Черемных, Виктора Павловича, он в этом бараке. И приведи сюда.

— Знаю, — дневальный кивнул. — Такой, высокий, без зубов. — И вертко пошел по проходу, продолжая жевать.

Петров уже спрятал остаток хлеба под рубаху. Когда Сергей протянул ему еще банку консервов и огурец, он как-то странно хихикнул, банку сунул под себя, а огурец с хрустом в три приема съел — боялся, что кто-нибудь отнимет.

— Пойдем, коллега, на вахту. И на речку. Осмотрим остров поближе.

— Так это серьезно? *Я* все не верю. А нас выпустят? Вдруг я не дойду? Слабость, понимаете?..

— Помогу. Это недалеко. Если дело удастся, майор переведет вас в отдельный закуток при бараке и выдаст пропуск на вольное

хождение. Определим, что надо для первых работ, сколько людей в огородное звено.

Хлеб был съеден. Петров вздыхал, словно ему не хватало воздуха. Он сонно закрывал глаза.

— Вам что, плохо?

— Нет-нет, это так… — Он провел по лицу ладонью, улыбнулся.

— Одевайтесь, пройдитесь туда-сюда, разомните ноги. У меня тут знакомый должен быть. *Я* подожду.

Возник дневальный, прошептал:

— Он не встает. Просит к нему. — И зашагал впереди.

Но дневальный ошибся. Черемных, предчувствуя нечто важное, поднялся сам. И придерживаясь за нары, переступая ослабевшими ногами, двигался навстречу. Или свет был слабый, или Черемных уже забыл соседа по пересылке, но только Сергей оказался проворней, сходу обнял подполковника, почувствовал его слабое тело и когда откинул голову, близко увидел глаза, полные слез:

— Неужели это ты, Сережа? Как очутился в нашем аду, как нашел? Господи, вот радость-то какая! Сергей Морозов, здоровый и живой! Тебя освободили? Можно поздравить? Надо присесть и поговорить.

Как только они сели, Морозов вытащил еще две плоские половинки хлеба и сунул их с банками консервов под тюфячок. Но Черемных тотчас вынул хлеб и, виновато улыбнувшись, впился в буханку.

— Вот с этим вкуснее… — Сергей протянул зеленый огурец.

Подполковник взял огурец так нежно, как берут святыню или мать своего ребенка-первенца. Секунду-другую смотрел на него, а потом откусил и заплакал. Жевал, а слезы катились по щекам, и до того было больно смотреть на его заплаканное, некогда такое волевое лицо, что и у Морозова защипало в глазах. Черемных плакал и ел, откусывая и хлеб, и огурец, не разговаривал, пока не утолил голод, пока не обрел способность владеть собой.

— Откуда вы попали сюда, Виктор Павлович?

— С прииска имени Водопьянова, это в Северном управлении.

Почти два сезона там. Пока не превратили в существо, какое ты видишь. Позволь мне… — И опять взялся за хлеб. Голод подавлял другие чувства.

— Это ужасный прииск, — сказал он. — Там нелюди начальники Холостюк и Гранков. Каждый день умирающих везли в зону.

— Убивали?

— Чаще просто садились без сил в забое и умирали.

Замерзали. Это так просто: полчаса^ и все мучения кончались… По вечерам мы их везли к вахте на полозьях от коробов. В это невозможно поверить, надо видеть.

— Я видел, был на прииске «Незаметном», где такой же режим. Чудом спасся и очутился на стройке, где мы с вами встретились, помните? Я еще не освободился. Работаю недалеко отсюда, в совхозе «Дукча».

— А здесь почему?

Экономя минуты — о нем, наверное, уже вспоминал начальник лагеря, — Сергей коротко рассказал, почему здесь и скороговоркой добавил:

— Тут в бараке Петров Павел Петрович, запомните? Он будет создавать подсобное хозяйство, возьмет вас в бригаду. Назовитесь огородником. Я буду навещать вас, тогда еще поговорим. А сейчас ухожу, Виктор Павлович, боюсь войдет начальник. Петров Павел Петрович, запомните!

Договаривал последние слова и тут же выкладывал оставшийся хлеб, консервы, еще один огурец. Черемных мгновенно прятал драгоценную пищу, согласно кивал и тоже вглядывался в барачный проход.

Простились вовремя. Едва Морозов вернулся к Петрову, который уже приготовился к выходу, как в дверях выросла длинная фигура начальника.

— Задержался ты, агроном, — сказал он, осматриваясь по сторонам. Барак как-то притих. — Ну что? Потопали?

— Петров очень слабый, пока растормошил его, пока помог одеться… С одной-то рукой не очень…

— Такие вещи, как руки, терять не положено. — И хохотнул: — Новые не вырастают. Готов к походу?

Втроем они вышли за вахту, спустились вниз. Восемь инвалидов неторопливо, как во сне, грузили дукчанские машины. Шоферы, увидев начальство, тоже взялись за вилы. Прошли мимо на остров, куда был сделан пешеходный мостик. Сергей подобрал у конюшни лопату и теперь рыл пробный шурф. Показал Петрову и начальнику отвесную стенку:

— Видите темный слой? Это природный гумус из наилка. Самый плодородный слой. А глубже песок, так? Пахать поле вряд ли надо, чтобы не выворачивать песок наружу. Раскорчуйте гнезда тальника, сровняйте поверхность и возите перегной лошадьми, один воз на десять квадратных метров. Это хорошая доза. Вы, Павел Петрович, с разрешения майора и с его письмом приезжайте в Дукчу, возьмете культиватор, у нас есть списанные, за день-два отремонтируйте. Впрягайте три-четыре коня, за пару дней прорыхлите культиватором вдоль и поперек для начала

гектар или два, лопатами сделайте гребни, обязательно с юга на север. А потом к нам с письмом за рассадой. Семена моркови, редиса, свеклы тоже можно получить в совхозе. Успеете посеять, если не все десять гектаров, так половину и то хорошо. Я подъеду, как будет время.

— Будем рады, — сказал майор и откинул голову. — Тебе все понятно, Петров?

— Так точно, гражданин начальник! Могу подбирать звено? Человек десять?

— Да хотя бы и сто! А ты, Морозов, приезжай, не будем терять связи, раз полезны друг другу, так?

— Пока наши машины сюда ходят, это не трудно. Письмо пишите на имя директора совхоза Бабичева, или главному агроному Пышкину.

— Запоминай, Петров. Напишешь сегодня же. Пошлю человека за семенами, чтобы не терять дня.

— Петрову пропуск нужен, — напомнил Сергей. — И всему звену. Лучше, если они шалаш себе поставят на лето, чтобы оберегать поле.

— Будет пропуск, если постараются. Свой огород, как же!

Майор был необычайно доволен. Все так просто и несложно, никаких хлопот для него! А приедет начальство, можно показать сделанное и заслужить похвалу. Колыма, а они с овощами! И не возникло у него горечи, что до сих пор не додумались до такого простого дела. Ведь тысячи людей, сколько из них могли бы поработать на земле, да получить в обед хоть две редиски!

В хорошем настроении пребывал и Морозов. Его друг Черемных получит пропуск — это раз. Навоз — бесценнейшее средство для урожая на Колыме пойдет в совхоз и будет идти, пока майор не хватится и не наложит запрета: себе нужней…

Спустя два часа Сергей докладывал Пышкину о первых десятках тонн конского навоза, получил «добро» на продажу семян инвалидному городку и не удержался высказаться по поводу «дубовых» руководителей, которые не используют возможности огородничества на Колыме. Что эти пять совхозов, когда можно иметь сотню подсобных хозяйств везде, где имеются лошади или коровы!

Сергей, не дожидаясь попутки, ушел на Дальнее поле. Шел и перечислял, что надо сделать для посадки капусты, для разделки целины. Его приятно удивил Любимов, который уже кое-что сделал. Наладил две конные сеялки и без агронома закончил посев столовой свеклы и моркови, а тракторист нарезал на трети пашни гребни под капусту. Хоть завтра начинай, были бы люди.

Стояла ветреная и мокрая погода, по распадку со стороны

моря низко бежали рваные облака, из них временами сыпался мелкий и холодный дождь, все на земле потемнело, обрело старческую, немилую окраску. Тоже весна называется…

Пышкин сказал, что пора посадки наступит, как подтянется рассада в парниках. Она, как видел Сергей, была уже «на выходе», рамы открыты, зеленый лист кое-где выпирал выше сруба.

Раз такое дело, то надо поторопить главного, погода для посадки самая благоприятная. С этой мыслью Сергей с первой попутной машиной из-под навоза отправился на усадьбу совхоза.

Появление Морозова в теплице обрадовало старика.

— Загордился, забыл свой дом, — с притворной строгостью пробурчал Василий Васильевич. — Говорят, ты уже консультант? Не рано ли?

— Да они там ни в зуб ногой! — засмеялся Сергей. — Земля под боком добрая, тысячи людей в лагере, коней два десятка и до сих пор не могли сообразить, что можно иметь свои овощи! Тоже хозяева. Навоз отдают нам, мне стыдно брать, но ведь и нам требуется, вон какая землица получилась на целине! Под капусту пойдет.

— Это же тюрьма, милый, а не колхоз или совхоз. Тюрьма! За что начальству платят? За охрану, за страх, за голод, за то, чтобы в будущем никто из выживших и потомков их и не пикнул против указаний, какие они дикие не будь, эти указания. А ты нашел святую простоту, своего майора, и забил ему памарки огородом. Ведь ждет, поди, награды: вот придумал, как лучше кормить лагерников! Вдруг поймет, что сделал святое дело, что ты подтолкнул его на добро. Успеха вам с этим майором и да благословит вас Гос-подь! Пошли в нашу комору, свежими щами угощу.

Они обедали, Сергей рассказывал, как встретил Черемных и Петрова, начал было показывать, каков тамошний майор с подвижной головой, по положению которой можно определять его настроение. Но тут явился посыльный:

— Морозова — к начальнику совхоза! Быстро! Весь совхоз обегал…

Сергей побледнел, глаза его испуганно вспыхнули.

— Вот видишь, — ласково заметил Кузьменко, — и в тебе уже страх сидит. Ничего дурного не сделал, а страшишься. Когда во власти страха, тогда серьезной работой не занимаются, не получится. Гаснет доброе. Иди спокойно.

У Бабичева сидел главный агроном. Расспросил о 23-м километре, переглянулся с Бабичевым и сказал:

— Придется пока отказаться от поездок, Морозов. Хоть и приятно, но… Не сегодня, так завтра в Дукчу прибывает большой

женский этап. Они не на день, не на два, а надолго, кажется. Поручаем принять и распорядиться. Надо заранее подготовиться. Пусть этапные сажают капусту.

— К посадке мы готовы. Давайте распоряжение о выборке рассады.

— Уже, уже. Ты поезжай на место и еще раз проверь, есть ли фронт работ. Если ночью привезут, то утром — за работу.

— Так сразу? — не удержался Морозов.

— Режим устанавливаем не мы, а Севвостлаг, — напомнил Бабичев.

В семь утра темная и длинная колонна показалась на дороге. Женщины шли тихо, обходя лужи и грязь, охранники уже перестали подгонять и орать. Бесполезно. Когда сгрудились у избушки, Морозов сказал:

— Отдохните с дороги. Вот брезент. В котле кипяток.

— Сто сорок три, — раздраженно выпалил начальник конвоя. — Тянулись как на кладбище. — И отвернулся, будто от грешного.

Здесь был очень разный народ, молодые и старые, седые, болезненные, задирчивые и любопытные, ко всему безучастные, в разномастной одежде, не с колымского склада.

Когда Любимов спросил, откуда прибыли, разноголосо ответили:

— Из Ярославского политизолятора…

— Из Владимирской тюрьмы…

— Из «Крестов»…

— Из Смоленска, Казани, Орла, Вильнюса…

Слышалась и нерусская речь: украинская, польская с шипящими окончаниями, кажется, румынская, окающая северо-русская, немецкая, латышская.

Пожилая брюнетка не без вызова сказала:

— Семьи «врагов народа» и перебежчики из-за рубежа. Уголовных нет.

Из всего этапа только четверо оказались крестьянками. Любимов назначил их звеньевыми и разделил на бригады остальных.

Когда привезли рассаду, работа началась недружно, кое-как, некоторые украдкой ели горьковатые капустные листочки. Что можно поделать? Люди из тюрем, пересылок, из пароходных трюмов, по многу месяцев на перловой каше, изголодались по зеленым овощам, им и молодая рассада в радость. Этот городской народ едва ли когда имел дело с землей и растениями, женщины быстро уставали кланяться земле и садились прямо на гребни, чтобы переждать боль в пояснице.

В этом этапе было на удивление много иностранок из зарубежных и других европейских стран: Польши, Румынии, Болгарии, Австро-Венгрии, даже из самой Германии, с которой как раз в эту пору происходили какие-то непонятные переговоры о дружбе и сотрудничестве, что не укладывалось в голове. С фашистами?! Оказывается, в этапе — зарубежные коммунистки или семьи коммунистов. Они пытались укрыться от наступающего фашизма, от собственной жандармерии и полиции в дружественной по идее стране, в СССР, где у многих жили мужья, отцы. Переходили границу, их интернировали, некоторых устраивали на работу в разных городах, а с 1937 года стали арестовывать и предъявлять стандартное обвинение в шпионаже или в незаконном переходе границы. Наказание от пяти до десяти лет лагерей. А тюрьмы и ближние лагеря были полны-полнехоньки «своими» заключенными, не оставалось иного выхода, как отправить этих «чужих» через три моря на Колыму, благо емкость Северо-Востока была необъятной и могла вместить всю Европу…

На второй-третий день выявились лидеры, они подобрали себе бригады, дело пошло лучше, погода не препятствовала труду, нежаркое солнце после тюрем и этапа обернулось радостью для бедных и слабых женщин. Еду из лагеря привозили получше, это уже обговорил Любимов со знакомыми поварами. У избушки, кроме того, готовили кисель из просеянного молотого овса. Женщины становились говорливей, несколько раз принимались петь песни — всяк на свой манер, смеялись. И вот так, с шутками, незаметно засадили всю площадь, на которую хватило рассады. Опытные парниководы Катя и Зина вырастили капусты несколько больше, чем требовалось: не в первый раз видели, как голодные едят рассаду. Сами, когда приехали, тоже грешили…

Многонациональный этап проработал почти три недели, а затем явилось только четырнадцать женщин с одним конвоиром, остальных неожиданно посадили в машины и увезли на север, кажется, в Эльген. Эти четырнадцать так и остались на Дальнем поле.

Ходили утром и вечером с конвоиром, который весь день потом отсыпался где-нибудь в стороне, предупредив Любимова, чтобы разбудил при наезде начальства.

Сергей все реже ходил на центральную усадьбу. С утра, определив людей по работам, он отправлялся на целинный участок — «научный полигон» — как назвал это поле Пышкин. Там были термометры, измеряющие температуру почвы на разных глубинах и при разной погоде, в сущности, метеостанция,

которой не было в совхозе. Здесь Морозов вырыл шурфы, чтобы определить, какова вечная мерзлота. И к удивлению специалистов Управления доказал, что в долине не везде вечная мерзлота, она встречается только линзами — под моховыми и лесными участками, тогда как в травянистой части долины ее нет. Зависела мерзлота и от грунтов: много ее было под суглинками. Все это вызывало не просто любопытство, но могло помочь землеведению, которое на Колыме оставалось в зачаточном состоянии. Руссо, Андросов и Пышкин поощряли Морозова к занятиям такого рода.

Целинное поле отличалось от старой пашни даже по внешнему виду. Оно было рыжеватого цвета от еще не перепревшей дернины. Здесь росли турнепс и вико-овсяная смесь, хорошо росли. Таких мокрых лугов на Колыме было бесконечно много: резерв для будущих пашен и лугов для скотины, которая дает навоз — опять же на удобрение пашни. Почему не распахать?

В совхозе оценили такое вроде бы примитивное сооружение, как рельсовая борона. Она станет прообразом нового орудия для освоения северной целины, заменит здесь не очень подходящие плуги.

Сергей рассказал Руссо и Андросову об огороде на 23-м километре, устроенном за считанные недели. И сам загорелся проведать своих подопечных, тем более что майор приглашал его.

В середине июля нашлась возможность затратить день для поездки на инвалидный участок.

Не без умысла Сергей от шоссе направился прямо на огород, а не к майору. Хотел убедиться, удалось ли Петрову забрать к себе из барака ослабевшего подполковника Черемных. Там конюшня рядом, а значит, и овсяный кисель — уже подспорье! Ну, и оценить, что получилось с огородом, а уж потом поделиться своими впечатлениями с майором.

Какова же была его радость, когда около хорошо сложенного домика он прежде всех увидел Виктора Павловича. День был теплым, подполковник сидел на солнышке в старенькой, желтой от стирок рубахе и дремал, а в домике слышались громкие голоса.

Мельком глянув на светло-зеленый огород на гребнях, — освоили и засадили! — Сергей тихо подошел к своему другу и когда тот — не без испуга — открыл глаза, поднес палец к губам: тихо!.. Черемных бесшумно, а главное, довольно легко поднялся, они отошли к кустам и прежде чем сесть, обнялись и поцеловались.

— Ты вырвал меня у смерти, — со слезами на глазах

прошептал подполковник.

— Преувеличиваете, Виктор Павлович. Счастливое стечение обстоятельств, а не моя роль.

— Побольше бы таких обстоятельств! Ты знаешь, майор назначил меня сторожем на огороде. Номенклатура! Днюю и ночую здесь. Обнаружил съедобные растения на меже и соседственных лугах, варю суп из них. Ну и овес… Чувствую, как поправляюсь. Вот только зубы… Трудно откусывать.

У него недоставало трех верхних и двух нижних передних зубов.

— Память о начальнике участка на прииске имени летчика-ге-роя Водопьянова. Удар кулаком в ответ на замечание о палаческих способностях этого прохвоста. Зубы и пять суток карцера. Мог и не выйти оттуда: спасла перекомиссовка, определила инвалидом и списала вот в этот лагерь. Знаешь почему? Чтобы скрыть показатели прииского лагеря по смертности. Всех, кто за шаг до смерти, отправляли в инвалидный лагерь. Здесь с отчетностью проще: все раннесмертны.

Он говорил шепелявя. И всё-таки улыбался. Как мало надо человеку для доброго настроения! Отойти всего на несколько шагов от гибели…

— Вы ничего не узнали о Супрунове? Помните железнодорожника в вагоне? Или об отце Борисе?

Виктор Павлович тяжело вздохнул. Хотел что-то сказать, но не решился. А Сергей добавил:

— Верховского Николая Ивановича я встретил в бараке на «Незаметном». Он был в гипсе, быть может, сломана спина. Мы поговорили всего несколько минут. Если он жив, то прикован к нарам.

Черемных закрыл лицо ладонями и застонал:

— Вот что сделали сталинские палачи с милосердной нашей страной, с людьми! Если так продолжится, то в живых останутся одни жестокосердные — «кто не с нами, тот против нас…» Так используют даже евангельские слова от Матфея. И будет страна верных слуг, доносчиков-мерзавцев, покорных исполнителей его воли. О каком нравственном воспитании может идти речь? Ведь даже секретарей ЦК комсомола, воспитателей молодежи — Сашу Косарева, Валю Пикину уничтожили.

Разговор в домике сделался громче. Виктор Петрович и Сергей переглянулись. Черемных отошел и сказал в дверь:

— Павел Петрович, а у нас гость.

— Неужели Морозов? — И Петров выскочил из домика. На нем был пиджак с чьих-то более широких плеч, пустой рукав

неприкаянно болтался.

— С инспекцией! — Сергей широко улыбнулся. — Надо же посмотреть на новый огород? Докладывайте по всем статьям, коллега.

Как скоро и разительно может меняться облик и настроение человека, когда беспросветная голодная жизнь отпускает его из своих когтей, и он снова получает возможность заниматься любимым делом, распоряжаться собой. Павел Петрович распрямился, поднял голову, он светло улыбался, жал руку Сергею и с понятной поспешностью принялся показывать и рассказывать. Всего и освоили-то около трех гектаров, но гребни и гряды с овощами выглядели чистыми, аккуратными, ощущалась рука опытного агронома.

Они обошли остров. Черемных едва успевал за агрономами, поддакивал, уточнял, ощущая и свою причастность ко всему сделанному.

— Теперь за парники и теплицу, — сказал Сергей. — Без них далеко не уедешь.

— Если бы вы сказали об этом майору. Он пока что понукает расширять площадь, чтобы побольше капусты для лагерной столовой.

— Скажу. Редкостный начальник, который вдруг позаботился о голодных людях! И заботы не Бог весть какие.

Виктор Петрович проводил Сергея до мостика, что-то хотел сказать наедине. И вот тут остановился, сказал:

— Не одолел болезни наш Николай Иванович Верховский. Отвезли его на сопку в общую могилу. Десятый день как отвезли. Я поздно узнал от дневального, соседи по нарам подтвердили, говорят, был в сознании до конца. Написал письмо жене…

— Сохранилось?

— Вот оно. Ношу при себе, жду оказии.

— Я отправлю. Адрес есть?

Черемных огляделся, вынул из пояса штанов помятые листки и протянул Сергею.

— Помянем его. Помолчим…

Под мостиком тихо струился ручей, прозрачная вода шевелила и нагибала водоросли на дне. Высоко над ручьем темнел крутой берег с тополями, тень от них почти добиралась до мостика. В огороженном загоне носились, играли жеребята. Мир, как мир. Серое небо, летнее тепло, комары над головой, живая вода под мостиком. А на сердце тоска и глубоко запрятанная мысль о собственном будущем. Такая вот участь…

— У меня еще семь лет впереди, — Черемных вздохнул.

— А у меня… — Сергей помедлил, посчитал. — У меня

восемь месяцев. Но надежду терять нельзя.

— Я крепко надеюсь. Верю, рабству будет конец.

Они обнялись, Морозов пошел к вахте, переложил с одной руки на другую сверток с огурцами для майора: подарок директора совхоза за триста тонн навоза.

На вахте дукчанского агронома уже знали, но все-таки позвонили майору. Тот сказал, что ждет Морозова в своем кабинете. Когда Сергей открыл дверь, майор задумчиво разглядывал бумаги, голова его покоилась на правом плече. Увидев в руках посетителя сверток, оживился:

— Ну, здравствуй! Садись.

— Это вам от дукчанского начальства. — Сергей положил сверток на стол.

— Добре. Спасибо. Ты был на огороде? Твое мнение?

Морозов высказал похвалу. И сразу повел речь о парниках, теплице. Советовал строить их наверху, где-нибудь около конюшни. В долине все-таки есть опасность паводка или наледи. Не стоит рисковать.

— А как же огород, если паводок? — резонно спросил майор.

— С риском. Ведь другой земли вокруг нет. Можно вал соорудить для защиты. А теплице и парникам там не место.

— Поможешь строить? — Майор переложил голову на левое плечо. Весь в ожидании.

Они потолковали минут двадцать, и начальник пожал руку заключенному Морозову. Лицо его излучало прямо-таки мальчишеский задор: ручковаться с зэками категорически запрещено, а я пожимаю! И совсем осмелев, предложил:

— Слушай, а может, перетащить тебя в мой лагерь? Все удобства обеспечу. У тебя сколько годков по приговору?

— Три. Осталось восемь месяцев.

— Кто судил?

— Никто не судил. Особое совещание.

— Когда по Особому, то эти три могут растянуться, как резина. А у меня не залежится, получишь отличную характеристику.

— Нет, останусь в совхозе. Спасибо за доброе слово. Там у меня друзья, учителя-агрономы.

— Как знаешь. Но не забывай, наведывайся.

Они расстались почти друзьями. Но была и тень: напоминание майора об опасности: приговор — резина…

Что это не оговорка, Морозов знал и по Дукчанскому лагерю, где был свой оперчек, ничтожный человечек, которому не по силам, не по уму пришлась бы любая самая простая работа. В лагере он не сидел без «дела». И Морозову рассказывали, что, по

крайней мере, троих он «укатал» перед освобождением на новый срок. Словом — бояться было кого. Тем более что общее положение на Колыме менялось в худшую сторону. Вести о новых сроках приходили из лагерей-приисков. Лучше бы не приходили, не терзали сердца тех, у кого срок малый.

* * *

Весной и летом тридцать девятого года и почти до начала сорокового этапы заключенных, проходившие мимо Дальнего поля и мимо лагеря, являлись взору почти ежедневно. Кого везли и откуда везли, можно было только догадываться. Осведомленные шоферы сказывали, что все еще слышат в кузовах нерусскую разноязычную речь. Вроде страна ни с кем не воюет, а иностранцы прибывают на Колыму. Называли по догадке языки эстонский, латышский, литовский. Слышали польский. Особенно много видели заключенных в форме польских офицеров, гражданских поляков в ненашенской одежде, даже разговаривали с ними, когда приходилось останавливаться «по нужде» на голых, просматриваемых местах.

Летом повезли людей, разговаривающих на украинском, но не совсем похожем, улавливали слова: «Львов», «Ужгород», «Тернополь». Кто имел возможность читать газеты, те прокладывали мостик от этих дорожных слухов к сообщениям об освобождении Западной Украины и Прибалтики от «ненавистного буржуазнонационалистического гнета», после чего там проводили «чистки». В тылу Красной Армии обосновались специальные части, не подчиненные армейскому командованию. Ну а где «чистка», там и вычищенные, вот им, наверное, и приходилось менять мягкий климат Карпат и Прибалтики на жгуче-ксщтинентальный северо-восточный у черта на куличках.

Прииски в те годы сильно поредели, лагерный народ вымирал, но в Севвостлаге не унывали, бригады пополнялись из новых этапов третьего или четвертого потока, если считать с «набора» 1932 года. Самым страшным и многолюдным все же оставался «набор» 1936–1939 годов. От них на Колыме оставалось совсем мало, люди тех лет переполнили инвалидные лагеря под Магаданом, на 23-м километре, в Оротукане, Спорном, в малых лагпунктах по трассе, в Чай-Урье, на новых местах близко от водораздела рек Колымы и Индигирки, откуда до «полюса холода» оставалась сотня километров; Начальники приисков прямо-таки проклинали этот полюс холода, поскольку зимой приходилось «актировать» и не выпускать заключенных на работу

во все дни с температурой в минус 50 градусов и ниже. Таких дней набиралось до двух десятков. Заключенные сидели в бараках, облепив раскаленные печи, а план вскрыши «торфов» горел, что называется, синим пламенем. И в пламени этом сгорали многотысячные премии и ордена, на которые так падки были дальстроевские золотооловодобытчики с погонами офицеров НКВД.

В лютые зимние месяцы начальник Севвостлагеря особенно часто отправлялся со своей командой в «экспедицию наведения порядка» — как называли его наезды на прииски. Молва опережала приезд на несколько дней, оперчеки сидели ночи напролет, и вместе с начальниками лагерей и участков составляли списки зэков, которые подлежали ликвидации. Их «труд» облегчался зловещими пометками на «делах», которые ставили еще в местах осуждения. Такие пометки. обознаналц не только общие работы, тяжелый физический труд, но и верную гибель заключенного по любой причине. Приговор — приговором, а человек должен умереть, и чем скорее, тем лучше…

Гаранину (а потом Сперанскому) эти списки преподносили сразу по приезде, он просматрйвал их, но если спешил, то просто отделял какое-то число из ста или двухсот, подчеркивал цветным карандашом первых двадцать, сорок или пятьдесят — учитывая возможность своей команды — и добавлял одно слово: «расстрелять». После чего витиевато расписывался…

Смертный час назначался обычно после ужина, когда заключенные укладывались спать. Раздавалась команда «всем — на выход!» В бараках поспешно одевались, уже знали, что последует за этим вызовом. Каждый в меру своей совести и воспитания либо молился, либо плакал, но выходил. Больных выносили — вдруг окажется в списке? Лагерь выстраивался под прожекторами у вахты, как можно плотней друг к другу. Над молчаливой человеческой грудой перед смертным часом подымался парок сдавленного дыхания. Вокруг стояли охранники с винтовками наизготовку. Офицер зычным голосом выкрикивал фамилию, названный выходил, называл свои имя и фамилию. И оказывался в окружении команды палачей. Подгоняемые жгучим морозом, они торопились. Обре; ченных строили попарно и в окружении охранников вели к воротам лагеря. И здесь звучала концовка приказа: «вышеназванных заключенных за саботаж, контрреволюционную деятельность, лагерный бандитизм и невыполнение норм выработки — расстрелять». Кто валился без сознания, кто-то истерически плакал, кто-то хрипло проклинал Сталина. Охрана торопилась, тех, кто не мог идти, бросали в короба и везли, процессия выходила за вахту, а лагерь все стоял,

в бараки никого не пускали. За зоной, из морозного тумана вдруг доносился недружный залп, второй, третий, потом несколько одиночных выстрелов. Все! И тогда раздавалась команда: «В бараки!» Сотни людей разбегались по своим местам, и только там, где только что лежали смертники, нары оставались незаполненными. По крайней мере, до следующей ночи. Страшно ложиться на такие доски…

После расстрела начальник колымского СМЕРШа с чувством исполненного долга шел со своими двумя адъютантами и шофером к начальнику прииска, мог спросить — где устроили его команду, мог пожаловаться на большой мороз, узнать у приискового начальника о его здоровье — все это голосом обычным, как между друзьями. В теплой прихожей ему помогали снять белый полушубок, отряхивали с меховой шапки морось, шутили. Он входил вместе с хозяином в светлую комнату, щурился на яркий свет и с нескрываемым удовольствием оглядывал накрытый стол, где стояли бутылки и тарелки со всякой вкусной снедью.

Гость усаживался, улыбчиво поглядывал на хозяина, у которого в груди могло твориться черт знает что, но с лица не исчезала улыбка доброжелательности и гостеприимства. Гаранин обращался и к хозяйке с любезными словами. Потирая хорошо вымытые руки, пододвигал свою рюмку под коньячную бутылку. Так, словно бы все они только что вернулись домой после просмотра кинофильма: слегка в приподнятом настроении и в добром здравии.

Говорили, что полковник после расстрелов не терял присутствия духа, напротив, проявлял дружелюбие, любезность к гостеприимному семейству, а выпив, громко смеялся и сам рассказывал новые анекдоты. Ничего особенного: он только что исполнил служебное предписание — навел порядок среди заключенных. Это предписание шло от комиссара госбезопасности Карпа Александровича Павлова, который в свою очередь получил такое же предписание от более высокого начальника на Лубянке. А тот, конечно же, действовал не самовольно, а в полном соответствии с указанием самого высокого ранга. «Кто не с нами, тот против нас…»

Когда все это страшное, из ряда вон выходящее, подлое, еще не обрело законченности, на страницах центральной печати появилось стихотворение Демьяна Бедного без названия, но по содержанию вполне под стать понятию оды:

Да здравствует вождь
Большевистской коммуны,

Чудесное сердце
И руки из стали.
Так было сегодня,
Когда на трибуну
Поднялся Товарищ Сталин!

И тогда же, на 7-м Съезде Советов другой писатель — Авдеенко — с небывалым подъемом духа заканчивал свое выступление словами: «Когда моя любимая женщина родит мне ребенка, первое слово, которому я его выучу, будет «Сталин»!»

В те же годы, через каждые три месяца в доме на улице Магадана, проложенной вдоль правого берега реки Магаданки, работники УРО Севвостлага НКВД СССР сверяли свою картотеку с наличным составом заключенных, полученным фельдсвязью изо всех лагерей и лагпунктов. Дела заключенных, чьи имя-фамилия не находились в присланных списках, перекладывали в отдельные ящики, наподобие тех, Что стояли в УРЧ инвалидного лагеря на 23-м километре. Это были места хранения «мертвых душ». Только картонки, поскольку сами души уже не существовали.

На особо отчаянные запросы родных о судьбе своих близких отвечали редко — только с согласия ГУЛАГа — одной недлинной фразой: «Имярек умер в 19…..году от приступа астмы». Или «от сердечного приступа», «от желче-каменной болезни». На другие «болезни» фантазия лейтенантов из УРО не распространялась. Зачем травмировать семьи погибших ненужными подробностями?..

Тем более что иногда, крайне редко, и на этом «фронте» могли случаться непредвиденные происшествия…

ВЬЮЖНЫЕ ДНИ ПЕРЕД МАРТОМ СОРОКОВОГО

Тот убийца-грузин, который сумел перехватить в Дукчанском лагере едва ли не всю власть у безвольного и никчемного начальника с погонами, уже успел выдвинуться, уверовать в себя. Он развернул свою деятельность при негласной поддержке толстого и круглого, как шарик, оперуполномоченного. Этот деятель спал часов по пятнадцать в сутки, потом возникал в лагере оплывший, с выпученными водянистыми глазами и мучительно придумывал, чем бы заполнить медленно идущие часы. Бабий голос его слышали возле, конторы, куда он приглашал для докладов своих осведомителей. Они приходили тайком, ночью, не без основания опасаясь мести со стороны даже своих блатарей.

Морозов уже знал, что с теми, у кого скоро заканчивается срок заключения, оперы особенно не церемонятся: любой донос — и все надежды на благополучное расставание с лагерем исчезают. А тут этот грузин, друг оперуполномоченного, его бесстыдные просьбы… Впрочем, боязнь нового срока не заставила Сергея подличать или «работать» на мерзавца.

Уже близилась зима, последняя лагерная зима для Сергея Морозова; уже убирали и складывали в бурты корнеплоды, свозили и квасили капусту. Все чаще портилась погода, приходили шквалистые ветры с дождями и мокрым снегом. В парниках собирали огурцы-последыши, в тепличной пристройке пахло укропом, уксусом, гвоздикой — там готовили для дальстроевского начальства маринованные овощи. Все на земле потемнело — небо, сопки, деревянные постройки. Конец сентября был концом огородного сезона, у Морозова накопилась бездна неотложных дел. Сергей метался от усадьбы к Дальнему полю, на капустные делянки на берегу Дукчи, повсюду пешком, стараясь успеть и ничего не упустить.

Именно в такой до краев занятый день его и настиг около парников этот лагерный грузин, появлением своим сразу напомнивший Морозову о чем-то страшном, об опасности для жизни.

— Па-даж-ды, друг-товарищ! — Лагерный божок поднял руку, догнал Сергея и молча пошел рядом, изредка оглядываясь — нет ли близко чужого. Молчал и Сергей.

— Ты забыл наш уговор. Совсем забыл, да? А я помню и жду…

— Мы с вами ни о чем не уговаривались, — через силу ответил Сергей, хотя не забывал — как о занозе — требования этого хама снабжать его огурцами и помидорами.

— Ну как же ты забываешь об очень важном для тебя! Столько добра в твоих руках. А почему в твоих руках — не догадываешься?

— Потому что я, Гурам Астиани, заслоняю тебя от начальства, даю право ходить куда хочешь, ездить куда желаешь и жить как вольный человек. Много или мало сделал я для тебя, скажи?

— Такое право я получил от совхозных руководителей, а не от вас.

— У них руки короче. У меня длинней. Директор и главный агроном не вмешиваются в лагерную жизнь. В лагере есть свой начальник. И есть Гурам Астиани, это я, понимаешь, я! Ты не платил за мое добро своим добром. Ты перестал замечать меня, а я помнил Морозова и заботился о нем. И вправе ждать благодарности. Чего ждать — сам понимаешь. Почему не понимаешь, а?

— Я не распоряжаюсь продуктами. *Я* их выращиваю. А воровать не хочу. Не умею воровать. И не буду!

— Напрасно, мой друг. Это принесет тебе много неприятностей, поверь старшему товарищу. Желаю напомнить… — И тоном приказа; приблизив лицо, быстро зашептал: — Помидоры — раз, бочонок маринада — два. На первый случай, если хочешь, чтобы мы оставались друзьями.

— Воровать не умею, — осевшим, но решительным голосом повторил Сергей. — Отстань от меня, слышишь! Иначе морду набью!

И остановился — с покрасневшим лицом, со жатыми кулаками, такой крепкий, решительный, ненавидящий. Грузин откатился и, оглядываясь, ушел. Прилюдной драки он боялся. У него имелись другие пути для сведения счетов.

А Морозов вдруг круто повернул и, не остановившись возле Зины и Кати, всегда с ним ласковых, словоохотливых, почти бегом побежал к теплице. И только перед дверью остановился, чтобы перевести дух. Прекрасно понимал, чем может обернуться гнев фактического хозяина лагеря: в лучшем случае натравит ораву уголовников, а скорее всего, подбросит донос оперчеку. Это так просто — сочинить и дать на подпись своим подопечным. Последствия такого «документа» просто непредсказуемы! Кто может помочь ему в такой беде? Немедленно, вот сейчас? Чуть позже будет поздно. Только один человек — Кузьменко.

И он вбежал в теплицу.

Кузьменко сидел и что-то писал. Глянул на Сергея и положил карандаш. Сказал просто:

— Что случилось? Садись и рассказывай. Ты бледен и напуган.

— Этот лагерный мерзавец, Гурам… Подкараулил меня и снова потребовал дани: огурцов ему и бочонок маринада, подумайте только!

— А ты?

— Послал его… И сам не рад, надо было как-то иначе выворачиваться. Но теперь поздно. Ведь он «накапает» и начальнику, и оперчеку.

Василий Васильевич снял очки, поднялся и надел телогрейку:

— Пошли, Сережа. Начальник совхоза и Пышкин только что были у меня, сейчас они в управлении. Расскажешь.

В кабинете Бабичева, куда они, постучавшись, хотели войти, был посетитель. Крупный мужчина с начальническим лицом ходил из угла в угол кабинета и о чем-то говорил, сердясь и негодуя.

— Потом, потом, — Бабичев махнул рукой. — Чуть позже.

Почти сразу же в коридор вышел Пышкин.

— Что случилось? — спросил обоих.

— Нет мочи, Василий Николаевич, — сказал Кузьменко. — Тот мошенник в лагере, ну, который перехватил у капитана всю власть, только что потребовал у Морозова маринада и огурцов. Толкает на воровство. И грозит. Для Сергея это большая опасность, у грузина есть своя банда в лагере. Могут сделать кое-что похуже: написать донос на Морозова, придумают, как отомстить. А для него это… Вы знаете.

Агроном нахмурился. О положении в лагере он знал, старался не вмешиваться. Но эта история особо опасна.

— Подождите здесь. — И вошел в кабинет.

Прошло десять, пятнадцать минут. Дверь открылась. Пышкин пропустил тепличника и Сергея, сказал «садитесь» и стал рядом:

— Повторите, Морозов, что у вас произошло.

Сергей, все еще красный от волнения, повторил угрозы грузина и его требования.

— И такая омерзительная личность держит в руках весь лагерь вместе с начальником! — Директор совхоза говорил это для гостя, смотрел на него, ждал его реакции.

— У вас и крупных проблем предостаточно, — густым голосом сказал посетитель, видимо, облеченный властью. — А тут еще мерзкая история. И вы, Бабичев, конечно, знаете о безобразиях в лагере, но мне почему-то не соизволили доложить.

— Другое ведомство, Сергей Сергеевич. В Севвостлаге не

любят, когда хозяйственники вмешиваются в лагерные дела.

— Они не сами по себе. Они всего-навсего снабжают Дальстрой рабочей силой. И подчиняются Дальстрою. А под носом у сельхозуправления такие страсти. Воровская банда вымогает деликатесы…

Лишь несколько позже Сергей узнал, что этот разговор вел начальник Управления сельским хозяйством Дальстроя Сергей Сергеевич Швец.

— Если потребуется, вас пригласят еще раз, — сказал он Кузьменко и Морозову. — Кстати… Вы тот самый Морозов, который помог сделать огород в инвалидном лагере? И вывезли оттуда навоз на дукчанское поле?

— По совету Василия Николаевича Пышкина.

— А нет ли там подходящей земли для совхоза? Ведь рядом. Пора бы знать, так Бабичев?

— Надо осмотреть. Еще экспедицию?

— А почему и нет? Удвоение плана по овощам — строгий приказ, он касается всех. А вы, Морозов, идите и спокойно работайте. С вашей неприятностью разберутся. И улыбнулся Сергею.

— Ну, что скажешь? — спросил Кузьменко по дороге в гору. — Вот, что значит, не откладывать в долгий ящик! Как зовут этого лагерного хама?

— Гурам Астиани. Бандит. У него даже собственная охрана из воров. Он спасает их от этапов. Конюхов, трактористов отправляют на прииски, а эти, что «в законе», целехоньки, сыты и ходят с пропусками.

— Не все коту масленица, теперь начальник управления потрясет их. Не сам, конечно, а через высокое лагерное начальство. Считай, что тебе повезло.

…У входа в теплицу сидел вохровец с наганом на поясе. Ноги у Сергея мгновенно ослабли. Вохровец лениво поднялся, отряхнул штаны:

— Морозов? Айда со мной.

— Куда? — воскликнул Кузьменко. — У него здесь работы…

— Работа не волк, старик. Давай вперед, Морозов!

И подтолкнул растерянного Сергея.

Ночевал он в пересыльном бараке среди согнанных со всех бараков заключенных. По проходу, чего-то выискивая, расхаживали остроглазые подручные Гурама. Двое из них остановились перед Сергеем, сидевшим на нарах.

— Этот? — спросил один, что повыше ростом.

— У-у, паразит! — другой вор нацелился пальцами в глаза Морозова, он отшатнулся и тут же почувствовал сильный удар в

бок. Соскочив с нар, он наотмашь, со всей накопившейся злостью хватил по уху высокого, тот упал. Сергей обернулся к другому и увидел в руке его нож. Чем бы кончилась эта стычка, трудно представить, но рядом оказался пожилой конюх, знавший Морозова.

— А ну геть! — И подтвердил свой приказ хорошим ударом. Оба «разведчика» исчезли за дверью. Сергей понял, что спокойной ночи у него не будет.

— Давай сюда, поближе к нам, — сказал заступник. — Нас все-таки четверо, отобьемся. Не ехать же на прииск с побитыми физиономиями.

— Думаете, на прииск? — упавшим голосом переспросил Сергей.

— А то! Как насобирают на машину, так прости-прощай, Дукча. Вещички твои где?.

— Я в теплице жил, не успел забрать.

— Скажи нарядчику. Пошлет кого-нибудь. Нас четверых еще с утра забрали. Залезай на вторые нары. Отсюда легче обороняться.

Он послушно перебрался наверх. Лежал, а сон не шел. Вставал, сползая в проход, шуровал печку и думал только об одном: ведают ли его заступники о происшедшем? Конечно, ведь на глазах Кузьменко… Но что могут сделать?

Он забылся на поленьях у печки, задремал. Легкий шорох заставил его открыть глаза. В двух шагах от него стоял грузин, за ним трое ухмыляющихся физиономий.

— Ну как ты здесь, честный человек? — притворно ласково начал Астиани. — Достукался? В этап завтра пойдешь, кайло по тебе соскучилось. Если жить хочешь, становись на колени, гаденыш, поцелуй мои туфли и поклянись делать все, что прикажу. Спасай шкуру, пока я добрый.

Лагерный прохвост явно переборщил. Уже не страх, не испуг породили у Сергея издевательские слова. Перед ним стоял мерзавец, ничем не лучше тех убийц, которые именем правосудия издеваются над заключенными во всех лагерях. Морозов не испытал страха, он ощутил злобу, ожегшую сердце. Он вскочил — с дрыном в руке кинулся на противника, огрел, целясь в голову, но тот укрылся руками, однако оказался на полу. Сообщники бросились на Сергея, с нар проворно скатились четверо сразу, сбились, свалили в сутолоке печку, загремели падающие трубы, дым и гарь наполнили барак, и в этом дыму свалка продолжалась все с тем же ожесточением. Сергею обожгло руку, нож порвал телогрейку, кровь потекла, и все-таки он нашел в полутьме голову грузина, приподнял ее над полом и ударил о раскатившиеся поленья.

От входа бежали два вохровца с наганами в руках. Они расшвыряли дерущихся, главарь банды поднялся, обхватил обеими руками голову. Ненавидящими глазами впился в Сергея и прохрипел:

— Ты подписал себе смертный приговор, мальчишка! Клянусь жизнью!..

И, пошатываясь, ушел. Друзья стащили с Морозова одёжку.

— Э-э, да тебя надо к лекпому. Резанули. Гляди, как набухло в рукаве. Топаем…

И двое, в сопровождении вохровца, пошли среди ночи будить фельдшера.

— Могли бы и сами перевязать, — недовольно проворчал служитель Эскулапа. — Подумаешь, царапина. А кровь? Что кровь? У тебя, молодец, много той крови.

Шли назад опять с вохровцем. Кружилась голова. Все, только что происшедшее, казалось кошмарным сном.

Хотелось плакать.

Печку уже поставили. Барак успокоился. Сергей забрался на нары и забылся, не ведая, что сулит ему день грядущий.

У входа в барак до утра дежурил вохровец.

На рассвете, как всегда, застучали по рельсе. Вахта требовала на выход. Этот звон не относился к пересыльному бараку. Здесь ждали машину. И час, и три. Сходили в столовую, вернулись. Машины все не было. Гурам Астиани нигде не показывался. Не видели и его охрану, кажется, они сидели в карцере. В полдень явился нарядчик, выкрикнул от дверей Морозова и увел на вахту.

Там ему дали бумагу и велели написать о драке и ее причине. С неохотой он написал об угрозах грузина и о приказании воровать, иначе говоря, стать членом банды.

Дежурный прочитал два листа и заметил:

— Давно пора отправить этого негодяя подальше, пусть мерзлоту подолбит. Ты в бараке ничего не забыл? У меня распоряжение отвести тебя к начальнику лагеря, но за ним приехали из Магадана и увезли. Что с тобой делать — не знаю. Иди пока на свою работу, пропуск твой действителен до двадцати одного часа. Понадобишься — вызовем.

Василий Васильевич встретил Сергея и прослезился. Осмотрел руку, убедился, что неопасно, усадил за стол с борщом и куском рыбы, потом куда-то уходил. Сергей взялся, было, снимать одной рукой желтые усохшие плети в теплице, но не смог, лег в пристройке, а когда проснулся, увидел тепличника и Пышкина, они сидели за стеклянной дверью в самой теплице и о чем-то разговаривали. Сергей встал, и тогда его позвали.

— Ну как настроение, герой? — спросил Пышкин. — Слух

прошел, что воевал? А этот тип и в самом деле первостатейный мерзавец. Как ему удалось взять в свои руки весь лагерь? Но с этим покончено. Пока что грузин посидит в карцере, а потом мы его отправим подальше. Начальника лагеря сняли, приедет другой человек. Все это устроил Швец. Он мужик умный. И не из тех… Но боюсь, что тебе все-таки придется ночевать в лагере. Появился — независимо от наших событий — приказ. Пропуска на свободный выход с твоей статьей будут действительны лишь до двадцати одного часа. Вот такие дела. Тебе ведь скоро?..

— В марте сорокового.

— Напряженный сезон у нас кончается, — раздумчиво продолжал Пышкин. — Можно снова заняться исследованием почв, ты уже имеешь опыт. Я о 23-м километре думаю. Лошадь, повозку, инструмент и двух рабочих мы выделим. Поезжай, побродди по долине Дукчи, по нижним склонам, вдруг приглянется кусок-другой под пашню? Нам к весне надо увеличить площадь пашни на сорок-пятьдесят гектаров. Каждый капустный лист дорог, с «материка» не навозишься. Хотелось бы и картошкой заняться, но метеоданные регистрируют у нас заморозки во все летние месяцы. Побьет ботву, хотя… — И главный агроном задумался, покусывая ус. — Возможно, где-то отыщутся места с подходящим микроклиматом. Нашли же такие земли в долине реки Тауй, в Балаганном, на Оле. Так что…

— Но вы сами говорили о новом приказе: пропуска до девяти вечера…

— Ах, черт! Действительно, затруднение. Одна рука делает то, что не ведает другая. Можно приезжать до девяти, тут недалеко. Туда-сюда, а потемну — в лагерь. Да, лагерь… Вот придумали!

— Все равно, Василий Николаевич, нам не хватит органики, — сказал Морозов. — Землю найдем, а без навоза — что она? Может, сначала поискать по поселкам навоз?

Пышкин и Кузьменко переглянулись.

— Справедливо, — сказал главный агроном. — Не побоялся усложнить для себя задачу. Будешь искать вместе с топографом Бычковым и целину для распашки, и навоз для старых и новых пашен. Вот и занятие на твои остальные лагерные месяцы. Договорились? А что касается пропуска, то что-нибудь придумаем. В порядке исключения, что ли…

Новый начальник лагеря с первых дней, конечно же, старался наладить добрые отношения с руководителями совхоза. Может быть, поэтому Бычков и Морозов без промедления получили пропуска, но с приказом являться на вахту для отметки через каждые пять дней. Чтобы не очень увлекались свободой, ощущали

свою зависимость от режима заключения.

— И на этом спасибо, — буркнул себе под нос Бычков. — Начнем с двадцать третьего километра, со знакомых тебе мест. Так?

Груз у них получился большой: палатка, печка с трубами, одежда, матрасы, инструмент, — словом, горка целая. Стояли рядом с этой горкой, голосовали на трассе. И через полчаса, забросив свое добро в кузов грузовика, ехавшего за дровами, попросили остановиться километра за два дальше поворота на инвалидный лагерь.

Неуютно чувствовали себя, оставшись вдвоем; заброшенными и жалкими среди сопок с давно сведенным лесом.

Южный ветер сделал снег податливым и мокрым, голубое небо гляделось далеко и холодно, мелкие лиственницы среди пеньков стояли потерянно и голо. Топограф долго осматривался, выискивая подходящее место под стоянку, и все оборачивался к дымкам, которые виднелись по другую сторону трассы.

— Там для нас ничего интересного нет, — сказал Сергей. — Что было подходящего, все разделал инвалидный лагерь. Свой огород… Теперь займемся правой стороной, вон той ложбиной, видишь?

— Да, там что-то проглядывает. Не болото ли?

Они налегке поднялись к вершине небольшой сопки и осмотрели ложбину. Довольно широкая, кажется, с ручейком по низу, ложбина имела пологие склоны, южный порос мелколесьем и стлаником, тут, несомненно, был свой микроклимат, некая прикрытость от холодных ветров и прямой нагрев от солнца.

Там они и поставили палатку, и в нетерпении, еще до темноты, успели посмотреть в нескольких местах — что же скрывается под слежавшимся слоем снега.

Радости первый шурф не доставил: толстый слой мха открылся им, ниже зеленел болотный глей, и только глубже полуметра начиналась глина с песком. Нет почвы, нет основы для создания огорода! Прискорбный факт.

Три дня они потратили на обход всего склона и всюду натыкались на толстый мох, на глей. Сергей не мог понять, как на таком месте оказались все признаки болота? О пашне и думать нечего. А вот для парников — такой склон исключительно хорош: защищен от ветра и хорошо обогревается.

— Если бы поблизости еще кусок для пашни! — мечтательно сказал Морозов. — Здесь устроить базу и парники, благо от трассы всего полкилометра, возить навоз со всех лагпунктов вдоль дороги. А поблизости где-нибудь в долине распахать гектаров сорок… Вот и отделение совхоза.

Еще два дня, вставши на самодельные лыжи, которые сохранились у Любимова, они ходили по широкой долине реки на противоположном склоне от знакомого Сергею лагеря. Река Дукча, не зажатая здесь сопками, оголенными лесозаготовителями, петляла из стороны в сторону, как ей хотелось. Вся плоская ее долина была изрезана старицами и протоками, уже теперь там поблескивала вода, выступившая под напором холода снизу и сверху. Какая же разгульная стихия предстанет здесь весной! Да и зимой, наверное, будут бесконечно рваться бугры наледей и течь, дымясь на морозе, холодные ручьи, чтобы замерзнуть и перегородить поток в новом месте.

Словом, ничего. подходящего. Вышло солнце, долина похорошела. Изыскатели спустились в поперечную долину, дно которой высоко подымалось наддукчанским. И переглянулись: вот оно, что требовалось! Инвалидный лагерь остался сбоку и позади, лес, правда, и здесь был вырублен, но склоны и дно долины даже на первый взгляд казались пригодными для распашки.

До позднего вечера они долбили шурфы и, наконец, убедились, что здесь почва, что долинка суха и хорошо освещена, что от трассы всего пять километров. Место ничуть не хуже, чем на Дальнем поле.

На другое утро палатка и оборудование были перенесены на это место. Началась съемка. На ватмане вырисовывалась поверхность, довольно ровная, с легким уклоном на юго-запад. Внизу петлял приток Дукчи, был он слабым и неопасным из-за высоких берегов в голубичных кустах. Порадовали и верховья долинки: они закруглялись, из-под снега выглядывали кисточки вейника: какой-никакой, но лужок. Можно распахать, а можно и обратить в сенокос.

Поднявшись на вершину травяного закругления, оба остановились и удивленно переглянулись. Перед ними лежало ровное озеро, покрытое поверх льда снегом, большое озеро, гектаров на пятьдесят. Пробив лунки, они определили глубину озера: всего от полуметра до двух метров.

— Водичка своя, неплохо, — сказал Бычков.

— А я о другом подумал, — задумчиво сказал Сергей. — Если его спустить, какая пашня получится! Ведь на дне слой ила, богатого пищей. И ровное… Обсохнет — вот и готовая пашня или сенокос, если посеять травы. Ни тебе раскорчевки, ни навоза — готовая пашня для пудовых кочанов капусты.

Бычков смотрел на него с понятным удивлением:

— Ну, ты даешь! Пока нигде, насколько я знаю, нет такого факта, когда спускают озеро, а на дне устраивают огород.

— Есть. У нас, на рязанской земле, когда в начале тридцатых пришел голод, так спускали воду из прудов и засевали. С неплановой площади продукция обложению не подлежала, вот и кормились неделю-другую всей деревней.

Перед рассветом нового дня они пошли к трассе, чтобы явиться в лагерь на обязательную отметку. Доехали, показались и, чтобы не попадаться на глаза оперчеку, убрались восвояси, благо питание получили сразу на десять дней.

Шли от трассы по своему следу, спешили, побаиваясь — не обокрали бы их палатку, но в эти места из инвалидного лагеря никто не доходил, поскольку весь лес давно был вырублен. Отдохнув, они с какой-то приподнятостью взялись за отбор почвенных проб, за съемку. Удача всегда окрыляет, тем более в таком неожиданном образе.

Алексей Бычков, улегшийся чуть раньше, вдруг поднялся и сказал:

— Слушай, тут близко есть навоз. Я вспомнил!

— Я тоже помню, — Сергей засмеялся. — В инвалидном. Но они и сами…

— Нет, в другом месте. Знаешь, когда мой этап прибыл, нас с теплохода снимали и волокли волоком, такие были никудышные: три дня не кормили, стояли: японцы задержали в проливе Лаперу-зы. Трюм закрыли, держали, пока не сняли запрет и не прошли чужие воды. Ну, мы и оголодали. Стаскивали в Нагаево — и на пересылку. Неделю кормили, на прииски таких не брали. Доходяги. И я с полусотней других оказался где-то вот здесь, на лесозаготовках. Дрова пилили для города. Там конюшня была на сто голов. Это же три с лишним года назад, сколько теперь там навоза — навалом! И до совхоза меньше сорока километров. Машины из тайги в город часто идут пустые, можно нагружать — и сюда. Или на Дук-чу. Только проверить надо, есть ли та лесозаготовка.

Морозов помолчал, потом грустно сказал:

— Что-то нам с тобой очень везет, Алеша. Даже страшно. Везение часто бедой отзывается.

— Ну, тоже страсти! Я тебе о деле, а ты в мистику. Впрочем, понимаю, у тебя же всего ничего до свободы, волнуешься. Ты спокойней, все будет ладно, отпустят и пинка в зад дадут, езжай, куда хочешь!

— Твоими бы устами, да мед…

Утром Морозов сказал:

— Поедем на эту лесозаготовку! Посмотрим, пощупаем, как говорят торгаши.

— Оберут нашу палатку соседи, они же голодные…

— Ты погляди на долину. Вся дымится от мороза. Разливы на наледях. Кто рискнет через воду? Ты знаешь, как взрываются бугры наледные. О-о! Как из пушки! Льдины во все стороны. Я видел. А с трассы воры тропу нашу не углядят, мы ее можем и засыпать.

Мороз за ночь окреп, приходилось вставать и подкладывать в печку каждый час, хотя вся палатка и была завалена снегом. Воду согрели еще потемну, позавтракали и потопали на трассу, закрывшись рукавицами, чтобы не обморозить лицо. Стояли долго, никто не сажал, потом нашелся добряк, притормозил, они тесно уселись в кабине, расщуровали печурку и сказали — докуда. Шофер как раз ехал туда за дровами, повезло.

Упал густой туман, поехали тихо, чтобы не врезаться во встречные машины. Включили фары, мигали. Шофер тихо матерился: что за погода? Сказал неуверенно:

— Где-то здесь должен быть поворот. Глядите в оба, хлопцы, а то проедем, время потратим.

— Далеко еще? — спросил Бычков.

— Вроде вот тут.

Машина пошла еще тише, шофер высунулся, осмотрелся и рывком свернул налево. В таком тумане, поднявшемся над этим уже значительно возвышенным местом, дорога и лес по сторонам трассы выглядели призрачно, словно в подводном царстве. Теперь ехали по узкой лесной колее. Мохнатые от насевшей мороси лиственницы казались грустными и необычайно высокими, они прокалывали само небо. Колея спускалась, виляла по сонному, замороженному лесу, просека трудно просматривалась. И когда вдруг блеснули электрические фонари, душа повеселела, хотя эти фонари освещали не что иное, как зону. Машина прошла мимо проволоки. Показался бревенчатый дом.

— Вам сюда, хлопцы, — Сказал шофер. — Управляющий здесь живет.

— Как звать — не знаешь?

— Фамилия у него Мацевич, а вот имя не знаю. Скажет. Он, поди, дома. Спит. У него это запросто. Сядет, разговаривает, посмотришь — уже посапывает. Та еще работенка. Вы не больно долго, я погружусь за час — и обратно. Обождите, если что, у этого Мацевича, расскажите ему байку-другую, он уже одичал в одиночестве.

И поехал грузиться.

Из деревянной высокой крыши в небо нацелилась железная труба, белый дым над ней сливался с туманом. Сергей постучал и раз, и другой. Никто не ответил. Тогда они с Бычковым вошли в незапертую дверь. Комнатуха была без прихожей, гудела печь, а

на топчане посапывал мужчина с рыжеватой бородой до самых глаз. Под боком у него спал щенок, он пробудился, сонно оглядел вошедших, хотел было залаять, но вместо этого широко зевнул, спрыгнул и только тогда залаял без всякой злобы, поздоровался.

Бородатый вмиг сел на топчане и уставился на вошедших. Был он широк лицом, скорее всего опухший от чрезмерного сна.

— Кого надо? — раздалось густо, как из трубы.

— Мацевича надо, — сказал Сергей и улыбнулся.

Бородатый встал, подошел в носках к столу, сел и сказал:

— Садитесь. — И кивнул на табуретки.

Чинно усевшись, Сергей начал говорить про совхоз, про прля и капусту, про людей, которые в лагерях на перловке сидят, про землю, которую можно обратить в огороды, если будет удобрение. И, наконец, о навозе, который без толку лежит здесь годами.

Мацевич слушал и ковырял крепким ногтем стол. Спросил:

— Агроном, что ли?

— Угадали. А товарищ мой землемер. Мы из Дукчанского совхоза.

— Это там, где бабы?

— Есть и женщины.

— Вот их и присылай для перевозки. Скукота у нас. Как волки живем. Чем расплачиваться будете?

— За навоз? Есть он у вас?

— А то… Не были у конюшни? Пройдите, тут близко. Возвернетесь, договоримся.

К конюшне шла санная дорога, на ней след ихней машины. Они вошли в конюшню и прошли ее насквозь. Лишь в четырех стойлах были кони, один осторожно заржал и потянулся к людям: на волю просился.

Дальние ворота были приоткрыты, снаружи через щель заплывал морозный пар и стелился по полу. За воротами конюх с вилами сбрасывал куда-то вниз свежий, еще теплый навоз. Обернулся, сердито крикнул:

— Больной, больной мерин, нельзя запрягать, плечо у него побито!

— Мы не за мерином, — сказал Сергей. — Мы за навозом. Куда ты его кидаешь?

— Куды надо, туды и кидаю.

Через три минуты они уже мирно обсуждали, как подъехать к свалке, где спуск в ложбину и сколько там навозу. Мужик-крестьянин сразу согласился с Сергеем, что для огорода «пользительно», что навоза здесь «возить и не перевозить», много годов сбрасывают.

— Без сена живете? — спросил Бычков.

— Летом пущаю на траву, есть тут поляны с вейником, а восемь месяцев, конечно, на одном овсе. *Я* говорил начальству про огород — давай, мол, распашем и все такое. Ну, высмеяли, кобели городские, чего они понимают в крестьянстве? Так что забирайте, не жалко.

Десятник Мацевич тоже не возражал. Что ему? Сам всего месяц как из барака, отбыл срок «от седьмого-восьмого», теперь отсыпался за все годы.

С начальником лагпункта договорились, чтобы принял из совхоза пять грузчиков, лейтенант намекнул о магарыче, сошлись, его любой овощ устроит, вкус кислой капусты начисто забыл.

Опять зашли к десятнику, он чай согрел, пожурил гостей, что не привезли «этого-самого», но добродушно, по-отцовски.

Тут и груженая машина подъехала, шофер тоже приложился к кружке с горячим чаем. Мацевич всем сунул крепкую лапу и сказал, что ждет в гости. И не с пустыми руками. А так на так.

Через час Морозов уже рассказывал Пышкину, как им «подфартило». И про новую земельную находку, про озеро, которое можно спустить и заиметь на 23-м километре отделение совхоза с хорошей пашней — тоже рассказал, упомянув, что нельзя упускать такую находку, с чем главный согласился, спросив:

— Сколько на лесозаготовке навозу?

— Тонн до пятисот, много свежего, — ответил Сергей. — Этот хоть сейчас на парники.

— Ты побудь здесь, я поговорю с директором. — И ушел.

Вернулись они гурьбой: Бабичев, Андросов, Руссо и, конечно, Пышкин. Снова пошел разговор об озере, долинке, о навозе. Да, вот и возможность еще расширить хозяйство, вот и начнем возить навоз. Куй железо, пока горячо.

Бычков и Морозов ночевали в теплице. Разговорам с Кузьменко не было конца. Спать легли поздно, а ранним утром тепличник поднял Сергея и тот убежал сперва в кладовую за «магарычом», а потом в гараж. К полному рассвету он уже ехал на лесозаготовительный лагпункт.

Половина февраля осталась за плечами. Сергей вспоминал об этом по десять раз на дню. И всякий раз с каким-то волнением, которое никак не назовешь радостным. Скорее, тревожным.

Оставалось пятнадцать дней до свободы…

Размышляя о будущем, Морозов ловил себя на мысли, что радостного у него будет немного. Да, покинет лагерь. Да, получит паспорт. Но куда бы он не приехал, за ним следом приедет и

«дело». Местный райотдел НКВД сразу поставит бывшего зэка на особый учет, за ним будут строго следить и даже малая ошибка в его работе немедленно обратится в преступление, а неудачное выражение в разговоре, в споре так же легко превратится в антисоветчину. Словом, начнется условно вольная жизнь. До первой ошибки. А там…

Мудрый наставник Кузьменко не однажды твердил ему, не обольщайся скорой свободой, подумай, не лучше ли на год-другой оставить мысль о возвращении на родину, найти работу здесь, даже заключить договор с дьяволом, называемым Дальстрой, на Год, на три года. На Колыме таких, как Морозов, великое множество, слежка хоть и велика, но и «бывших» с каждым годом прибавляется, без них не обойтись; в этой среде легче остаться незамеченным, тем более что агрономы нужны, авторитет у Морозова имеется, устроиться ему легко.

Сергей согласно кивал головой, но в душе постоянно жила нарастающая мысль о теплоходе, который увезет его от здешних проклятых берегов… И сердце учащенно билось, рвалось туда, где родные люди и родимый край — пусть и бедный, разрушенный коллективизацией, залповыми посадками, дикой несусветицей в хозяйственных делах, когда думающие люди сведены в разряд исполнителей, а безнравственные неучи и недотепы — в категорию руководящих.

Он с благодарностью вспоминал, сколько добрых, умных, воспитанных людей встретилось ему за три года заключения. Без их мудрых советов, без направляющих мыслей, без их поддержки он бы скатился до положения безысходности, пропал бы в безвестности, не встреться ему на пути Черемных, отец Борис, Антон Иванович, Машков, Кузьменко, Пышкин, Руссо, Андросов, друзья по лагерю… Слава Богу, такие добрые, нравственные наставники еще есть, они будут на Руси, что бы ни случилось с ней. И придет время…

После одного из трудных дней, когда Морозов «выкачивал» органику из лесозаготовительного пункта, ночевать он снова остался в теплице. Самого Кузьменко не было, работали три женщины, среди них Вероника Николаевна. Она так и осталась работать в теплице, освоила новую профессию тепличницы. Кузьменко оценил ее ум и трудолюбие. Морозова она всегда встречала по-матерински ласково, советы ее были уместны и благодатны.

И на этот раз они поговорили. Вероника Николаевна участливо сказала Сергею, что он похудел, и добавила: — Не надо задумываться над тем, чего может и не быть.

Он понял, кивнул.

И тут Вероника Николаевна смущенно спросила:

— Не может ли он помочь ей?

— Могу, — не задумываясь ответил Сергей.

— Вы свободно ходите по совхозу, ездите по трассе. У вас есть знакомые из вольнонаемных. А я не могу отправить письмо с уверенностью, что оно дойдет. Не могли бы вы… Через вольнонаемных. В письме нет ничего запретного, предосудительного. Из лагеря я отправила уже шесть писем. И никакого ответа. Их просто сжигают. Ведь я — без права переписки.

— Давайте ваше письмо. Попробуем, — сказал Сергей.

Исписанные листки он свернул и спрятал.

— Ради Бога, будьте осторожны! Если что — скажите, нашли на дороге и хотели прочесть из простого любопытства. Простите, что затрудняю вас…

Так уж получилось, что через день Морозова пригласил к себе Руссо. Они посидели над составлением текста о возможности использования мелких озер в высоких широтах, даже в тундре, для создания пашни или пастбища. Ученый был доволен, то и дело завязывался разговор на разные темы. И вот тогда Сергей решился спросить, а не может ли он, Руссо, помочь ему в одном добром деле.

— А почему и нет? — сказал несколько удивленный почвовед.

— Письмо… — сказал Сергей и почувствовал, как у него пересохли губы. — У меня есть письмо одного заключенного к семье. Не могли бы вы отослать. Просто опустить в почтовый ящик, когда будете в городе. Или заказным.

Руссо задумался. Знал, что это деяние наказуемо, договорники давали подписку не входить ни в какие отношения с заключенными. Тем не менее…

— Там ничего такого, надеюсь?..

— Там решительно ничего… *Я* ношу это письмо с собой, в город, как понимаете, поехать не могу и потому обращаюсь к вам.

Руссо думал, сидел, сблизив светлые брови в какой-то отчаянной решимости, потом посветлел и протянул руку:

— Давайте. Я завтра буду в Магадане. И опущу в ящик на почтамте. Адрес есть?

— Есть. А вот конверта и марки нет.

— Поправимо. — Он достал из стола конверт и положил перед Морозовым. — Пишите четко и разборчиво. А я пока выйду.

Вышел и повернул из коридора ключ. Такой конспиратор…

Сергей достал из распоротого брючного пояса сложенные страницы, расправил их, взял чистый лист со стола и вместе с

письмом положил в конверт. Написал адрес и засунул конверт под бумаги.

Руссо вошел, сел. Глянул на Сергея с вопросом. Тот подвинул к нему бумаги. Почвовед достал письмо, прочитал адрес и кивнул:

— Все будет в порядке.

Морозов вышел из Управления не то чтобы довольный, а просто облегченно-радостный: это письмо два дня не давало ему покоя, он ощущал себя нечестным человеком, мерзавцем, который не может выполнить просьбу доброй знакомой. Боялся, что при нечаянном обыске найдут, и тогда начнется допрос, «дело», которое Бог знает, чем могло бы кончиться. Хорошо, когда на свете есть хорошие люди. Ведь и Руссо понимает, на что идет. И все же, все же…

Последний месяц зимы добирал неиспользованные им низкие температуры. Жгучий мороз с ветром заставлял идти, опустив голову, закрыв лицо руками. Мела колючая поземка, трассу переметало, всюду были аварии и пробки, в газете «Советская Колыма» рвали и метали по поводу невыполненных планов вскрыши торфов, разумеется, ни словом не упоминая о положении в лагерях, которых вроде бы и не было на Колыме. В голосе ветра отчетливо звучала угроза всему живому. То и дело исчезал в домах и на производстве электрический свет: рвались провода, ломались столбы. Север показывал, на что он способен.

А лагерь на работы выгоняли, минуса пятидесяти не было, и женщины с закутанными головами копошились на разгрузке машин, на расчистке дорог, на копке каких-то траншей. Им и в обычные дни приходилось во много раз труднее, чем мужчинам. Тяжелый, постылый труд, долгий рабочий день, скверная еда, грязь, грязь, грязь, которая невыносима для всякой женщины, все это унижающие достоинства человека, бесстыдство лагерной охраны — и так день за днем, год за годом притупляло, уничтожало в женщине материнское, женское, доброе. Но не убивало. Во всяком случае, не всех убивало. Спасение находили в общности, во взаимной поддержке, когда можно отстоять попавшую в беду, подставить свое плечо.

Труднее переносили лагерную жизнь те, кому за пятьдесят. Они старели на глазах, они могли плакать целыми ночами, вспоминая внуков и детей, безумели от потери близких и от болезней, которые здесь не лечили, и от сознания абсолютной беспомощности, утраты всякой надежды на будущее. Тяжело оставаться в пустом бараке, когда все уходили на работу. Воспоминания окружали со всех сторон, погибшие вставали перед глазами, в темных углах виделись внуки, отнятые и брошенные в

какие-то интернаты уже под выдуманной фамилией, они подрастали там, не ведая своих, быть может, еще живых матерей и бабушек. Старье женщины чаще всего кончали с собой вот в такие часы одиночества…

Жуткий февраль заставлял Сергея чаще бывать у Василия Васильевича. Тепличник не справлялся с топкой печей, колкой дров, с порядком в большом хозяйстве. Вероника Николаевна работала за двоих. На немой ее вопрос, Морозов улыбнулся и показал большой палец. Она перекрестилась.

От Василия Васильевича Морозов иногда уходил в лагерь к Бычкову, чтобы глянуть, как выглядит на карте найденная ими площадка на двадцать третьем километре. Топограф работал в том же закутке мужского барака, где они уже однажды жили. В эти метельные дни окошко комнатухи начисто залепило льдом и снегом, только большая лампа-пятисотка позволяла работать с рейсфедером и ватманом.

В этот раз, когда Сергей открыл дверь коморы, то сразу зажмурился от яркого света лампы, даже попятился. А открыв глаза, увидел перед собой колючие глаза оперчека.

— Ты чего? — спросил он. — Нет уж, раз зашел, не увернешься. Садись и жди своей очереди. Давно я не проверял тебя.

Сергей обреченно сел на топчан. У Бычкова шел «шмон». Но почему сам оперчек? Обычно такую процедуру проводят надзиратели. Этот худосочный лейтенантик всем своим заносчивым видом, высокомерным взглядом поверх головы, манерой разговаривать «через губу» вызывал у Сергея приступ тошноты. Но сколько самомнения, основанного на праве карать и миловать! Этого права у него было куда больше, чем у генерала. Заключенные знали, что опер никогда не улыбается, считая, видимо, что улыбка и тем более смех умаляет значимость его персоны в глазах других людей. При его появлении все умолкали. От него в значительной мере зависело время нахождения в заключении. У него было свое досье, составленное по доносам осведомителей. По этому досье он мог возбудить вторичное «дело», сладострастно откладывая новое обвинение поближе ко дню освобождения. Обычный удар ниже пояса…

Все эти мысли молнией пронеслись в голове Сергея. Холодный пот выступил на его лбу. Вспомнил о письме, которое передал Руссо. А если бы оно осталось у него вот до этого несчастного вечера?! Верный срок! Ведь писала-то женщина, чьи близкие расстреляны. Значит, он помогает «врагам народа»…

Морозов вытер лицо.

— Жарко, что ли? — тотчас спросил опер. — Смотрю,

взопрел. Сиди!

Бычков уже одевался. Были просмотрены не только карманы, но и швы. Каждый листик на столе — тоже. Все углы комнатки. Матрасы.

— Раздевайся, Морозов, — приказал опер. — Не торопись, все по порядку. Вот так. Деньги? Смотри-ка, восемьдесят рублей. Откуда? Да, узнаю: твой заработок, конечно.

Он прошелся пальцами и по брючному поясу, где позавчера был сверточек бумаги, наверное, уже улетевший на «материк». Судьба? Везение?..

— Это что? — опер уже разглядывал карту на столе. — Что за точки, кружочки?

— Деревья или пни, — как на экзамене сказал Сергей. — Условные обозначения.

— А это? — и провел пальцем по извилистой линии.

— Это ручей. Где пунктир, там он пересыхает.

— Отвечай только на вопрос и не мудри. Зачем вам карта? Куда собрались по этой карте?

Бычков подавленно молчал. Он уже ответил на идиотские вопросы, но оперчеку хотелось перепроверить.

— Туда пойдут трактора и люди для обработки поля. И мы с ними. Чтобы было чем кормить заключенных.

— Весной ваш брат и собирается в побег. К морю. По теплу.

— Эта местность дальше от моря. Бегут, наверное, и на север?

— Не пудри мне мозги. — И вдруг сунул в лицо Бычкову письмо. Письмо родным. — Почему прячешь? Почему под фанеркой?

— Чтобы не мялось, гражданин лейтенант.

— Написал — немедленно сдавать дежурному. В распечатанном виде.

— Я так и сделаю. Видите, не заклеено.

В тишине оперчек читал исписанные листки. Лицо его багровело.

— Жалуешься? Тебе здесь плохо живется? На прииск потянуло?

— Я с прииска сюда приехал. И там не все отдают концы.

— А если твое письмо попадет за границу?

— Не думаю. Ведь вы всегда начеку.

— Забираю. Напишешь другое. И не оговаривай лагерь, понял? Здесь воспитывают. — И уже Сергею: — Что смотришь? Не так? У тебя другое мнение? Вообще, ты подозрительная личность, Морозов. Почему Особое совещание дало тебе три года, а не пять или десять?

— Знакомых у меня там нет.

— Да-а… — Этим многозначительным «да-а» и завершился визит.

Минуты три агроном и топограф сидели и подавленно молчали. Бычков прокашлялся и тихо сказал:

— Когда мы с тобой работали на Дальнем поле, этот тип вызвал меня и уговаривал написать на тебя донос. Я отказался. Он заявил, что мне будет плохо.

Сергей по-мальчишески хмыкнул:

— Когда мы с тобой заканчивали съемку Дальнего поля, этот тип вызвал меня в свой кабинет, положил лист бумаги, дал ручку, приказал: «Пиши»! И продиктовал первую фразу. Сейчас вспомню. Да, вот: «Заключенный Бычков А. М. систематически ведет антисоветские разговоры и вовлекает других в эти разговоры».

Я спросил, откуда ему это известно, если не известно мне и дальше разговаривать на эту тему отказался. Ты знаешь, что он еще спросил у меня? «А чем же вы занимаетесь в свободные часы?» У него такое понятие, что все в лагере только и толкуют о том, как бы повреднее насолить нашим руководителям, в число которых опер определял и самого себя. Я ему сказал, что днем мы работаем, как все люди, что не мешало бы нам давать газеты, ведь не знаем никаких событий, даже о построении социализма в своей стране.

Бычков приоткрыл дверь, оглядел затихший барак и закрыл дверь поплотнее:

— Право, даже жаль этого человека. У него совсем потеряно чувство реальности, он вдолбил себе, что окружен страшными существами, готовыми в любой момент разорвать его. Представь, что через год-два он станет начальником лагеря. Всех пустит ко дну! И сам пропадет. Вот так и воспитываются Гаранины.

— Что-то об этом палаче давно не слышно, — заметил Сергей.

— И слава Богу, что не слышно. Спокойней жить. Хотя бы скорей тебе освободиться.

— Четыре дня, — тихо произнес Сергей. — Всего четыре.

— Куда подашься?

— От родных вот уже год ничего нет. Наверное, свыклись с мыслью, что меня нет в живых. Куда поеду, если освободят? Все идет к тому, что придется остаться на Колыме и работать, благо есть добрые люди, коллеги, которые помогут.

— Поговорил бы с Пышкиным, что он скажет?

— Не могу. Какое-то суеверие, что ли: нельзя решать судьбу, пока не знаешь, чем она обернется.

Февраль кончался, погода продолжала лютовать. В иные дни

света белого не было видно, такие метели с морозом, что половина женщин оставалась в бараках по болезни. Машины все еще ходили на лесозаготовительный, шоферы сказывали, там легче, лес защищает от метелей, да и надо торопиться, потому что заметает карьер, где берут перегной. На Дальнее поле машины сопровождал трактор: все время заметало дороги. Сергей оставался единственным диспетчером этой работы.

Первый март открылся вдруг спокойным ветерком, к полудню проглянуло голубое небо, мороз только пощипывал. Сергей застрял у Любимова на Дальнем поле. Последняя машина чего-то не пришла, он не мог заставить себя ночевать тут. И уже потемну пошел пешком на усадьбу. Любимов проводил его до полпути и, остановившись, перекрестил в спину.

По трассе идти стало легче, да еще под ветер. Но идти не пришлось: из Магадана на север пошла длиннейшая колонна заключенных. Шли пешком, быстро, ему пришлось отойти подальше, ведь могли загнать в колонну, доказывай потом, что ты не тот… Боже мой, сколько их было, этих несчастных! Ветер подгонял их, ряды шли, клонясь вперед, сжимаясь, как можно плотней, охранники по сторонам. Это было страшное шествие, оно напомнило Сергею известную картину отступающих французов в 1812 году. Но то были чужие, завоеватели и кара их выглядела справедливой, тогда как здесь шли русские люди и шли по своей земле. По левой стороне колонны изредка проходила машина с фанерным коробом, она подбирала ослабевших, у кого отказали ноги. Их бросали в кузов и везли, чтобы не «засорять» трассу окоченевшими.

Видно, в пересылках города за метельный месяц скопилось столько заключенных, что размещать уже некуда. И Севвостлаг принял решение гнать пешим ходом, хотя до ближнего из приисков отсюда было почти триста километров.

«Континент особого назначения» площадью в 1200 тысяч квадратных километров продолжал пополняться.

Морозов пришел в теплицу. Кузьменко открыл дверь:

— Ты что припоздал? Тебя два раза спрашивали, вестовой приходил из лагеря. *Я* не знал, где тебя искать.

— Что им нужно, не говорили? — Сергей раздевался, с трудом дышал теплым и влажным воздухом теплицы.

— Так сегодня же второе марта, Сережа! Ты что, забыл? А сейчас уже половина двенадцатого, нет смысла идти туда. Поужинай — и спать. Утро вечера мудреней.

Когда он лег и закрыл глаза, то подумал о длинной и бессонной ночи. Но усталость, тепло и молодость взяли свое: он уснул но тут же вскочил, потому что над ним стоял нарядчик и

требовал к начальнику.

— Вы оба поешьте сперва, — предложил Кузьменко. — Вот тут кое-что у меня имеется. Давайте к столу.

Нарядчик не устоял. Сел и Морозов. Но выпил только кружку сладкого чая и поднялся. Спросил:

— Что там случилось?

— Будто не знаешь, — нарядчик смотрел весело. — На волю пойдешь, Морозов. Бумага пришла. Понимаешь: на волю! Ты гляди, даже не улыбнулся! Да я бы в пляс пустился!..

И, открыв дверь, пропустил Сергея вперед. А Кузьменко вытер мокрые глаза, пошел в уголок, где у него висел образ Спасителя размером в половинку школьной тетради, стал на колени и несколько минут истово молился о даровании свободы человеку, которого он успел полюбить, как родного.

Утро обещало день спокойный и не очень холодный.

С неожиданным для себя обладанием Морозов вошел в помещение учетно-распределительной части, где находился и кабинет начальника лагеря. Там сидел писец в форме и при нагане. Сергей назвал себя. Писец порылся в бумагах, взял одну, спросил, не подымая глаз:

— Имя-отчество? Год рождения? Срок? За что?

Морозов все сказал, а на вопрос «за что?» ответил просто:

— Не знаю.

— Дурачком прикидываешься? Статья?

— Нет статьи. Есть буквы: КРА.

Вышел из кабинета начальник, стоял, слушал, наблюдал. Чиновник сказал:

— Срок твоего заключения истекает сегодня. Распишись вот тут, что уведомлен. Так. Пока соберешься в бараке, кассир приготовит тебе заработанные деньги, зайдешь получить. Вот эту бумагу с решением УРО Севвостлага предъявишь лично в окно номер четыре. Знаешь, где УРО?

— Знаю. Бывал.

— Можешь ехать. Там получишь справку для паспорта. И век будешь помнить, что так легко отделался.

Начальник лагеря подошел и неожиданно протянул руку:

— Прими мое поздравление, Морозов. Желаю тебе честной и хорошей жизни. У тебя все впереди.

Вышел из лагеря с бумагами в руке, шел по сто раз хоженой дорожке и ощущал себя словно бы после долгой болезни, когда ты вышел из больницы, но еще не веришь, что можешь стоять, способен быть как все другие, идти по делам, работать, улыбаться, когда весело, и хмуриться, когда скверно на душе. Неведомое состояние, к которому он шел три года через

принуждения, страхи и саму смерть, а пришел — и что-то не ощутил радости, не потянуло его плакать от счастья.

Вдруг остановился. А куда ему идти? Да, ехать в Магадан, за паспортом, этой книжицей, без которой ты не человек.

Но сперва в теплицу, где у него верный друг, почти отец, где чистый покой.

Василий Васильевич, конечно, знал, что Сергей придет. У него на столе, под покрывалом, что-то бугрилось, в теплице переговаривались Зина и Катя, пахло весенней распаренной землей и мятными пряниками. Он первым и обнял Морозова, прижался мягкой бородой лицом к лицу и заплакал. Зина и Катя смущенно и тоже со слезами поздравили его. Сели за стол, поели, выпили мятный чай и только начали было разговор о новой жизни, как вошел Пышкин, пожал руку сперва Сергею, потом Кузьменко. Девчата мигом исчезли из теплицы.

— Ну что, товарищ Морозов? — Пышкин нажал на слово «товарищ». — Будем работать в Дукче? Или есть другие планы?

— А вы и беспаспортных принимаете? — без улыбки спросил Морозов.

— Нет. Но у тебя есть паспорт.

— Есть бумажки для получения…

— Ну, это формальность. *Я* вот что хочу узнать. Деньги у тебя имеются?

— Да. Восемьдесят три рубля, и еще пятьдесят из лагеря.

— Не Бог весть что, но на первый раз достаточно. **А** теперь уже официально: я предлагаю тебе работу бригадира-агротехника на Дальнем, поле. Оклад девятьсот рублей. Поработаешь год, а там…

— Спасибо за доверие, Василий Николаевич. Я готов к работе и на Дальнем, и здесь, если будет надобность.

— Отлично. Приказ мы напишем, как будет паспорт. А сейчас, молодой человек, извольте в Магадан. Нечего терять время даром. Это вам не в лагере, понятно?

И усы его задорно поднялись.

С ПАСПОРТОМ НА РУКАХ

Паспорт Морозов получил через два дня. Паспорт, как у всех, но на страничке, где «особые замечания» ему влепили продолговатый штамп черного цвета. В рамке крупно выделялась цифра «38», слово «ограничения» и еще какие-то не очень ясные и мелкие слова.

Он спросил, зачем штамп? Ответили:

— Не имеешь права проживания в Москве, Ленинграде, в столицах республик и в некоторых других крупных городах. И не ближе ста километров от них. Нарушение этого правила карается сроком тюремного заключения от трех лет и больше.

Он уже отошел от окна, но вернулся и спросил:

— А в Магадане я могу жить?

— Нет, — ответил паспортист, не глядя. — Пограничная зона.

Морозов постоял, подумал. И улыбнулся. От Рязани до Москвы более ста километров. От родного города все триста. Значит, хоть там можно. Впрочем, почему, там?..

Что за жизнь ждала его «там» — не знал ни сам он, никто другой. Три года лагеря просто так не отбросишь. Так и потянутся за тобой этаким грязным хвостиком на всю дальнейшую жизнь.

И он поехал назад, в Дукчу.

Совхоз отгородился от рядом идущей колымской трассы плохоньким штакетным забором в рост человека. Но не поскупился на въездные ворота. Они были высоки, на мощных столбах, с аркой поверху, где болтался какой-то вылинявший плакат. Правда, ворота давно не закрывались, одну половинку кто-то сбил, и лежала она в зарослях бурьяна, с угла помятая гусеницами неразворотливого трактора.

Два больших бревенчатых дома — торец в торец — стояли за воротами, образуя начало совхозной улицы, которая так и не состоялась, поскольку напротив домов еще не было строений — только фундаменты с разным хламом, а за ними открывались коровники, сенной двор и огороженный жердями выгон, с тем крепеньким запахом, который не переносят привередливые горожане.

Выше и правей шли парники, а над ними блестела стеклами и светилась в ночи большая теплица. Она закрывала собой пологую сопку, поросшую мелким стлаником, который ложился под снег при первых морозах.

Летом вся эта картина была вполне ничего, лиственницы и кусты голубики все скрашивали. А вот в марте, на исходе зимы, совхоз явно не смотрелся. Так, унылый поселок с лагерной зоной

за поворотом, скрытый за большими зданиями Управления сельским хозяйством с огромными, министерского вида окнами.

Во втором доме от ворот Морозову указали комнату с одним окном, оледеневшим и по стеклу, и по всем щелям. Тут стояли стол, два топчана и чугунная печь с закопченной трубой, уползающей в стену.

Сосед по комнате спал, запершись, Сергей не рассчитал силенки — сорвал крючок. Лежащий на топчане человек открыл один глаз и сонно сказал:

— Сам прибьешь.

— Попробую, — ответил Сергей и поднял с полу дужку запора. Сосед открыл второй глаз и безлико сказал:

— Сколько отмантулил?

— Три.

— Ну, это разминка. Жулик?

— Контрик.

— Скажи! Легко они тебя отпустили. Блат сработал?

— Того не ведаю. Отпустили — и все.

— А я пятерку отбарабанил. Тут недалеко. В городе. Паспорт дали и сразу из Магадана вышибли. Скажи, по правде это?

Он сел, накинул на плечи поношенное пальто и закурил. Сергей забрал матрасный мешок, наволочку и молча вышел. Когда вернулся с набитыми чехлами, сосед все еще сидел в том же виде, но у печки.

— Зар-раза! Ну, не горит — и все тут. Дай горстку сена. — И ловко выдернул эту горстку. Огонь взялся. А Сергей оглядел худосочного блатаря и аккуратно сказал:

— Что бы не ссориться, надо быть вежливым. Ясно? Учись с первого дня. Иначе сам буду учить. Дошло?..

Ни выходного дня, ни банкета Морозов по поводу обретенной свободы не устраивал. Полежал на холодном матрасе, подумал и ушел. Понял, что тут ему не жить. Дом был набит вот такими, которых не научишь жить по-человечески. Блатная суета, карточная игра, спирт и валерианка, когда нет спирта, драки — все это не для него,

Он обошел парники и поднялся в теплицу. Вместе с Кузьменко пообедал. И вот тогда Василий Васильевич сказал:

— Сережа, есть одно дело, которое надо как-то развивать. Для общего блага тех, что за проволокой. Я хочу напомнить тебе зимний разговор, который ты сам заводил. Про перегнойные горшочки. — Он огляделся, поднял с пола подсохшую форму с дырочкой на донце: — Это вообще-то придумка Пышкина для скорейшего роста огурцов и помидоров, прекрасная, скажу тебе, придумка. На Колыме она заметно удлиняет жизнь растениям,

вроде бы расширяет летнее время. Конечно, если есть парники и теплицы. Скоро мы набьем свои парники теплым навозом, сверху заставим горшочками с хорошей землей и посеем семена огурцов и помидоров. А когда они пойдут в рост, пересадим сюда, прибавим месяц к короткому лету. И урожай получим повыше. Говорю это к тому, что и с капустой, наверное, можно так делать. Ты как раз об этом зимой и говорил. Вспомни-ка? Ведь говорил?

— Да, но там надо сотни тысяч горшочков, пусть и меньшего размера.

— Много надо, правда. А у нас еще время есть. И женщинам легче пережить холода в большой палатке, если поставить ее среди парников, не на ветру. Пусть себе прессуют в тепле и выносят на холод, а как тепличную рассаду сюда перенесем, мелкими горшочками все парники займем, посеем в них капусту. Пышкину надо подсобить. И несчастным нашим женщинам какое ни на есть облегчение. Уж раз ты сказал тогда «а», то говори и «бэ», бери это новое дело на себя.

— Что же вы раньше-то мне не сказали?

Кузьменко смутился:

— Еще не был уверен, как поступят с тобой. Теперь ты вольный, надо самоутверждаться. Полагаю, что эту мысль — применить горшочки для капусты ты вынашивал давно, вот я и напомнил… Не обижайся на старика.

— Да что вы, Василий Васильевич! Спасибо большое. Конечно, думал, ведь если капустную рассаду высаживать на поле в горшочках уже с пятью листиками, да с корешками в перегное — это же как урожай поднять можно! Три недели короткому колымскому лету добавить!

— Для капусты можно горшочки поменьше делать. Правда?

— Тогда и возить их легче. И места, они займут в парниках наполовину.

Щеки Морозова зарумянились. Кузьменко улыбнулся. Человек при добром деле всегда на голову выше!

Пышкина им уговаривать не пришлось. Уж он-то знал цену такой технологии. Знал и трудности, двойные хлопоты. Но когда есть помощник, когда сам додумался… Спросил:

— Ты как и где устроился?

— В первом доме. С блатными…

— Ну, это мы переиграем.

Ему дали отдельную комнату в том же доме. Но все другие комнаты занимали блатари, по ночам шум, драки. Трудно сидеть за столом и писать письма. Кстати, на них почему-то никто из старых знакомых и даже родные не отвечали. Забыли? Считают погибшим? Или просто ему не отдают эти письма? И оставалась

только работа. Приезжал с Дальнего поля Любимов, они вместе мастерили первые формочки, сбивали ящики. В центре парников поставили большую палатку с двумя печками. И скоро сорок женщин, Катя и Зина за начальство, начали формовать. На первый случай полмиллиона штук, на двадцать гектаров капусты. Их тесно устанавливали в низкобортные ящики и выносили на мороз,' штабель от солнца закрывали матами, чтобы не оттаивали. А в конце апреля уже набивали парники и выставляли поверх теплого навоза те горшочки. И сажали в них крохотные ростки будущей рассады.

Все агрономы Управления побывали здесь. Дело-то новое! Кто-то одобрял, кто-то пожимал плечами. Пышкин помалкивал. Он-то верил, что выигрыш несомненный и поругивал себя, как не догадался раньше.

Вдруг явились на «эмке» два офицера из Дальстроя, а с ними высокий, худющий, со впалыми щеками штатский. И сразу к Пышкину:

— А ну, показывайте этого, ну, как его — молодого, да раннего!

Позвали Морозова. Высокий шагнул к нему. Руку подал:

— Табышев, Михаил Иванович. Поскольку я главный агроном Маглага, то сразу об огороде: сам придумал горшочки для поля?

— Нет.

— А кто же? — Вопрос прозвучал сурово.

Морозов стоял и молчал.

— Коллективное творчество, Михаил Иванович, — сказал Пышкин. — Началось с Морозова и с тепличника Кузьменко. Вы его знаете.

— Еще бы! — И главный как-то хорошо засмеялся.

Опыт Дукчи начальство оценило. Табышев приехал еще раз, уже на Дальнее поле, когда за три дня пашня зазеленела почти на трех гектарах, где высадили горшечную капусту. Ходил с Пышкиным и Морозовым и все твердил:

— Даже не привяла, а? Обманули мы колымскую погоду, удлинили лето на месяц. Колдуны! Ведь колдуны, так, Сергей Иванович? И вдруг спросил:

— Сколько тебе платят, Морозов?

— Девятьсот рублей. Агротехник-бригадир.

— Бабичев, Бабичев! И не стыдно тебе, директор?

— По штатному расписанию. Он не договорник.

— Вы вот что, коллеги. Заключите с ним договор. Это раз. Назначьте агрономом — за смекалку. Это два. Человек, можно сказать, зиме на горло наступил, а вы скупитесь. Если урожай возрастет, а я в этом не сомневаюсь, то еще премию учредим. Есть

за что.

Гости уехали в приподнятом настроении. Морозов с очередной машиной отправился на усадьбу. Ночевать он пошел в теплицу. И покаянно высказал Василию Васильевичу свою горесть: не по казаку чин. Не он же один эту идею вынашивал?

— Ты что-то перепутал, Сережа, — твердо сказал Кузьменко. — Да, идея наша общая. Но мы приспособили горшочки только для теплиц и парников, а ты увидел новую возможность и для поля. Ведь главный овощ для Колымы все-таки капуста! Огурцы-помидоры — это начальству. А капуста в подмогу тем, кто с кайлом и тачкой. Есть разница? И если нам Господь поможет и пошлет теплое лето, то ты на своем участке получишь такой урожай, что все ахнут! Тысячи и тысячи несчастных на приисках узнают вкус забытых щей. И помянут в молитве своей… Вот ведь как повернется наше еще хрупкое дело! Лишь бы лето дождливое…

— Теплое, хотите сказать?

— Капусте тепла много не надо. А вот дожди, облака от морозов — кочаны неподъемные.

Май, июнь, июль Морозов провел в избе на Дальнем поле. Там поставили большую палатку, кухню. Женские бригады приходили ежедневно, пололи сильно зарастающую новину, рыхлили, случалось, и поливали. Едва ли не впервые этот труд вдруг обрел какую-то непривычную обязательность: растили еду для таких, как сами…

Капуста подымалась хорошо, разлопушилась — пройти бороздой трудно. Сторожей поставили: из города уже жулье наведывалось. Дни летели скоро: вот он и поздний вечер, а вот и раннее утро. Пять часов сна в середине лета.

Приехал начальник Управления Швец, с ним Табышев. Обошли огород, много слов не говорили. Михаил Иванович, обняв Морозова, сказал полковнику:

— Повезло нам с этим рязанцем, а?

— Я Комарову доложил, — сказал Швец.

— Вот это напрасно. Заберет он у нас Морозова в большое хозяйство. В тот же «Эльген». Что тогда. Другого искать?

— Учеников оставит. Вон, какие расторопные девчата!

— Не отдам! Пусть расторопные и едут. Так и скажу генералу!

В середине августа сделали пробную уборку на стометровке. Кочаны с листьями взвесили. Почти две тысячи четыреста килограммов. Это сорок восемь тонн с гектара! Против привычных двадцати.

— Ну, Серега, жди ордена! — Табышев даже прослезился.

Полковник только покачал головой. Не было такого случая, чтобы после Особого совещания, да орден! И не будет…

А через четыре дня Морозова вызвали в отдел кадров Дальстроя, дама с презрительным прищуром черных глаз вручила ему под расписку приказ, подписанный генералом Комаровым. Там было напечатано: «Агронома совхоза «Дукча» Морозова Сергея Ивановича назначить с 25 августа 1940 года главным агрономом совхоза «Сусуман» с окладом по штатному расписанию».

— Распишитесь вот здесь…

Он расписался. И стоял с приказом в руках, невидяще осматривая расплывающиеся строки.

— Можете идти, — все тем же сухим тоном заявила вальяжная дама.

И Морозов спустился вниз по белой лестнице, мимо громадной статуи Сталина на площадке второго этажа, даже не глянув на усатую физиономию вождя всех времен и народов.

На душе Морозова было очень тяжело. Трудно было расставаться с друзьями и делом, которое он только начал…

* * *

…В начале шестидесятых годов в городе Краснодаре появился новый человек. Вскоре он отыскал местное отделение Союза писателей СССР и, с трудом поднявшись по крутой лестнице на второй этаж, сказал секретарю, что хочет встать на учет в местной организации.

— Вы член Союза писателей? — спросил его секретарь.

— Да, — сказал он. — Я начал писать и печататься давно, но приняли пеня в Союз только в 1962 году на Дальнем Востоке, где проживал. Теперь моя семья переехала, в Краснодарский край, в станицу Кореновскую.

И подал билет члена Союза писателей СССР, сказавши при этом с какой-то извинительной улыбкой:

— У меня четыре книги. Рукопись пятой готова и я хочу отдать ее в местное издательство.

— Вы прозаик? — поинтересовался секретарь. — Садитесь, садитесь, ради Бога, чего стоите? Поговорим, анкету заполним.

С Владимиром Васильевичем Колосовым постепенно перезнакомились все краснодарские писатели, кое-что почитали из его книг, нашли интересными повести «В пургу», «Дочь шамана», «Щедрая осень». И по книгам, и при личном знакомстве с Колосовым у писателей оставалось приятное впечатление

воспитанности, ненавязчивости, большой скромности, поскольку он был готов покраснеть даже от соленого слова, произнесенного в его присутствии. Человек начитанный, многознающий, Владимир Васильевич приезжал в Краснодар редко, публично выступать отказывался и только в разговоре открывался, как очень приятный человек. Его полюбили, со всеми он был в добрых отношениях — не более. Близкой дружбе с горожанами мешала его отдаленность от города. Так, по крайней мере, казалось.

Он часто болел, тогда его привозили в больницу, в так называемый спецкорпус, куда удостоились прикрепления и писатели. Приличная больница с палатами на четырех и даже на двух больных.

Однажды его привезли с тяжелым приступом и подняли в палату, где уже лежал писатель, тоже с больным сердцем. Обоим было не до разговоров, коллеги обменялись улыбками — жалкими улыбками — и затихли. То у одной, то у другой кровати хлопотали врачи с капельницами, со шприцами, приходили консультанты, но оба они знали, что никто не в силах что-нибудь изменить. Только судьба. Как она распорядится, так и будет. К этому они оба уже приучили себя и о будущем не мечтали.

Через какое-то время наступило облегчение. Больные могли поворачиваться, появилось желание поговорить не только о своем состоянии и болезнях. И вот тогда Колосов вдруг сказал:

— Мне, в общем-то, не страшно. Я уже один раз умирал. С тех пор прошло более двадцати лет.

— Тоже сердце?

— Нет. — Он вдруг замолчал, словно бы раздумывая, а стоит ли продолжать. Вздохнул и сказал: — Меня расстреляли.

— Как — расстреляли? — Сосед, невзирая на приказ врача не ворочаться, даже привстал, чтобы видеть лицо соседа по палате.

— Так, как расстреливают. Это было на Колыме.

— Боже мой! Но и я тоже был на Колыме!

— Заключенным?

— Да. Особое совещание, тридцать седьмой год.

— А я после убийства Сергея Мироновича Кирова. Работал в Ленинграде, там началась великая чистка. И получил десятку.

— А расстреливали вас?..

— На прииске «Мальдяк». Не слышали о таком?

— Много раз. Но Бог миловал. Был на другом. И то очень короткий срок. Не успели меня списать…

Он не ответил. Щеки его покраснели. Волноваться нельзя. Они долго лежали молча. Так и уснули.

Потом эта тема стала появляться все чаще, разговоры о Колыме возникали вновь и вновь. Вспоминали разные эпизоды,

нашлись даже общие знакомые, не говоря уж о начальстве и судьбе этого начальства. Постепенно Владимир Васильевич рассказал все, что с ним произошло. Все это было знакомо и его соседу. Однажды прииск «Мальдяк» посетил Гаранин, у Колосова, наверное, была в «деле» пометка об уничтожении, поскольку все, знавшие Кирова хоть немного, не имели права оставаться в живых и о чем-то свидетельствовать.

…Да, зачитали список, при упоминании его фамилии Колосов нашел в себе силы сказать имя-отчество, сделал шаг-другой к вахте и упал без сознания. Его бросили в короб и повезли на Голгофу, куда шли и десятки других. Кажется, было не слишком холодно, снег лежал мягкий, им приказали раздеться до нижнего белья, кто-то пожаловался, что «холодно», на что молодой командир команды со смешком и без злобы ответил: «Потерпишь, мы быстро, а там жарко будет…» «Там» — он имел в виду ад. Куда же противников Вождя? Их поставили у края выработанного карьера и тут Колосов, наверное, опять потерял сознание — на секунду раньше залпа.

Пуля все же царапнула ему руку, он повалился в карьер вместе с убитыми. Добивали лишь тех, кто ворочался, палачи тоже намерзлись и торопились. Ушли. Знали, что если кто и не до конца, мороз доберет…

А заключенный Колосов пришел в себя, понял, что произошло, помедлил немного, увидел кровь, перевязал как мог руку и пополз по снегу к зоне, еще не зная, зачем он это делает. Ведь все равно…

Но и судьба не всегда бывает беспощадной, иногда к ней приходит желание поиграть, порезвиться. Колосов вспомнил лагерного фельдшера, они не то, чтобы дружили, но лекпом иногда помогал Володе, своему ровеснику и земляку. Так расстрелянный и дополз до зоны — как раз возле фельдшерского домика. Пролез под колючую проволоку, достиг крылечка и долго, из последних сил принялся стучать. Дверь открыл старик, он помогал фельдшеру убирать трупы. Увидел и обомлел. Разбудил медика, тот узнал Колосова. Вдвоем они затащили его в дом.

А дальше?

За несколько часов до расстрела в лекпункте умер человек, он еще лежал там. С него сняли бирку, которая была у каждого на ноге, привязали ее на ногу Колосову, а его бирку на ногу мертвецу. И с этого часа Колосов стал жить уже под другой фамилией. Кажется, это продолжалось не долго, он опять стал Колосовым — кто там помнил одну фамилию в круговороте смертей!

Много лет провел Владимир Васильевич на приисках, на лесозаготовках, на строительстве, на дорожных работах, приладился к такой жизни, если вообще лагерное существование можно называть этим величественным словом — жизнь, означающим радость существования в мире, полном чудес и красоты. Но люди не раз за историю человечества ухитрялись превращать существование в некую форму рабства, подчинения одних другим и преуспели во всем этом еще со времен фараонов. Но такой жизни, которую придумала сталинская камарилья, на земле еще не видывали. А кто видел и прошел через тридцатые-сороковые годы, тот до конца дней уже не забудет.

Владимира Васильевича освободили после смерти «великого вождя». И вернули доброе имя. И восстановили в партии в 1957 году. И оценили его творческие способности, увы! — далеко не высказанные из-за скорой смерти, последовавшей 25 февраля 1966 года.

Похороны многострадального, нравственно чистого, душевного человека прошли торжественно и многолюдно. Взвод курсантов-летчиков при опускании гроба дал несколько залпов из автоматов. На могиле выросла гора цветов. Но безутешными остались не только жена Зоя Федоровна и дети. Вся Россия безвременно потеряла милого человека, хорошего писателя, так и не успевшего описать все с ним случившееся.

Но записи и архив остались. Как и разговоры с друзьями.

… Добавим, что тот, кто лежал в одной палате с Колосовым в Краснодарской спецбольнице и ездил в Кореновку на похороны, спустя много-много лет напишет эти печальные строки.

Чтобы не забылось…